



Б. Ю. Норман

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

ВВОДНЫЙ КУРС

Авторский курс лекций

Учебное пособие

Москва
Издательство «Флинта»
Издательство «Наука»
2003

УДК 81'22
ББК 81
Н83

Норман Б.Ю.

Теория языка. Вводный курс. Учебное пособие / Б.Ю. Норман — М.: Флинта: Наука, 2003. — 296 с.: ил.

ISBN 5-89349-498-9 (Флинта)
ISBN 5-02-002994-7 (Наука)

Учебное пособие написано на основе курса лекций о языке как средстве общения. Читатель познакомится с важнейшими принципами устройства языка, его происхождением, развитием и функционированием в современном обществе, а также противоречиями и загадками, составляющими предмет сегодняшней лингвистики, что поможет формированию методологических принципов и развитию лингвистической наблюдательности студентов-филологов. К каждой теме прилагаются оригинальные задачи и упражнения для самостоятельной работы; в книгу включены также биографические справки об ученых-филологах, чьи имена упомянуты в тексте.

Для студентов филологических факультетов университетов и пединститутов.

ISBN 5-89349-498-9 (Флинта)
ISBN 5-02-002994-7 (Наука)

© Издательство «Флинта», 2003



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ

1. Язык: «слово» и «дело»	7
2. Что такое знак? Примеры знаковых систем	10
3. Важнейшие свойства знаков	18
4. Культура как знаковая система	23
5. Искусство как знаковая система особого рода	29
6. Литература с точки зрения семиотики	34
7. Еще одна знаковая система: язык животных	41
8. Какие единицы человеческого языка являются знаками? ...	45
9. Развитие языкового знака	48
10. Общие правила поведения знака	55

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

11. Коммуникативная функция	64
12. Мыслительная функция	68
13. Познавательная функция	71
14. Номинативная функция	78
15. Регулятивная функция	83

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА

16. Язык и общество, язык и личность	92
17. Проблема происхождения человека и человеческого языка	100
18. Человек и его язык: стечение обстоятельств?	105

СИНТАКСИС

19. Формирование коммуникативных единиц	116
---	-----

20. Историческое развитие предложения	122
21. Предложение и высказывание	128
22. Человек овладевает грамматикой, грамматика овладевает человеком	136

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

23. Слово как элемент лексической системы	153
24. Слово, предмет, понятие	158
25. Лексическое значение как комбинация сем	166
26. Внутренняя форма, или мотивировка слова	173

МОРФОЛОГИЯ

27. Процессы словообразования	183
28. Морфема — значимая часть слова	189
29. Грамматические значения и грамматические категории	196
30. Типологическая классификация языков	204

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

31. План выражения языка: звуки речи	212
32. Фонема — основное понятие фонологии	220
33. Фонема и звук	227
34. Письмо	232

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ

35. Изменения в языке	248
36. Генеалогическая классификация языков	254
37. Эволюция и взаимодействие языков	260
38. Языковые антиномии и парадоксы	270

Краткие биографические справки о крупнейших ученых-филологах, упоминаемых в книге	284
--	-----

Рекомендуемая литература	291
--------------------------------	-----

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга построена на основе курса лекций, которые автор в течение ряда лет читал в Белорусском государственном университете (Минск) и других учебных заведениях Белоруссии. Пособие опирается главным образом на материал русского языка, но предполагает знакомство читателя, хотя бы поверхностное, с другими европейскими языками, включенными в школьную программу.

Особенности содержания и структуры книги обусловлены прежде всего характером самого изучаемого явления: язык — сложный, многокомпонентный и многоаспектный феномен. К тому же пособие не ограничивается традиционными лингвистическими темами («Фонетика», «Морфология», «Синтаксис» и т.п.), а включает и проблемы, лежащие на стыке языкознания с иными науками: семиотикой, психологией, поэтикой, палеоантропологией и др. Впрочем, еще в конце XIX в. И.А. Бодуэн де Куртенэ, один из основателей современной лингвистики, определял характер науки о языке как «психологично-социологический». Именно такой синтетический, «интердисциплинарный» подход к языку отвечает нуждам сегодняшнего дня. А избранный автором лекционный жанр изложения позволяет надеяться на то, что при всей трудности рассматриваемых проблем они будут в достаточной мере понятны читателю или, по крайней мере, пробудят у него интерес.

Книга, вышедшая первым изданием в 1996 г. под названием «Основы языкознания» в Минске, была существенно переработана: заострены некоторые социолингвистические проблемы, добавлены главы, посвященные классификациям

языков, дополнен справочно-библиографический аппарат, обновлен иллюстративный материал. Несколько изменилась и сама структура пособия. В настоящем виде оно включает в себя восемь блоков, к каждому из которых прилагается некоторое количество задач и упражнений. Ответы на них частично содержатся в тексте глав (разделов), частично же читатель должен будет найти их самостоятельно, опираясь на собственный опыт и только что полученные знания. Эти задания могут быть использованы не только для проверки усвоения учебного материала, но и для работы в аудитории и дома, а также при проведении различного рода лингвистических конкурсов, олимпиад и т.п.

В конце пособия помещены краткие справки о крупнейших филологах, имена которых упоминаются в книге.

Автор



ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ

1. Язык: «слово» и «дело»

Язык окружает человека в жизни, сопровождает его во всех его делах, хочет он того или не хочет, присутствует в его мыслях, участвует в его планах... Собственно, говоря о том, что язык сопутствует всей деятельности человека, задумаемся над устойчивым выражением «слово и дело»: а стоит ли их вообще противопоставлять?

Ведь граница между «делом» и «словом» условна, размыта. Недаром есть люди, для которых «слово» и есть де л о, их профессия: это писатели, журналисты, учителя, воспитатели, политики... «Слово есть поступок», — утверждал Л.Н. Толстой, имея в виду ответственность, которую берет на себя говорящий. Да и по собственному опыту мы знаем: успех того или иного начинания в значительной мере зависит от умения говорить, убеждать, формулировать свои мысли. Следовательно, «слово» — тоже своего рода «дело», речь входит в общую систему человеческой деятельности.

Правда, взрослый человек привыкает к языку настолько, что не обращает на него внимания — как говорится, в упор не видит. Владеть родным языком, пользоваться речью кажется нам настолько же естественным и безусловным, как, скажем, уметь хмурить брови или подниматься по лестнице. Между тем язык не возникает у человека сам по себе, это продукт подражания и обучения. Достаточно присмотреться к тому, как ребенок в возрасте двух-трех лет овладевает этой системой: каждую неделю, каждый месяц в его речи появля-

ются новые слова, новые конструкции — и все же до полного овладения языком ему еще далеко. А если бы вокруг не было взрослых, сознательно или неосознанно помогающих ребенку освоить этот новый для него мир, неужели он так и остался бы безъязыким? Увы, да. Тому есть немало документальных свидетельств: в случаях, когда ребенок из-за тех или иных трагических обстоятельств оказывался лишенным человеческого общества (скажем, заблудившись в лесу, попал в среду животных). При этом он мог выжить как биологическая особь, но безвозвратно терял право называться человеком: как разумное существо он уже не мог состояться. Так что история с Маугли или Тарзаном — красивая, но сказка. Еще более тяжелые обстоятельства возникают, когда на свет рождаются дети, лишенные зрения и слуха. А раз ребенок лишен слуха, то у него не может развиваться и звуковая речь, — следовательно, мы имеем дело в данном случае с существами слепоглухонемыми. И вот оказывается, что из такого ребенка можно-таки путем длительной и целенаправленной работы сформировать человеческую личность, однако при условии, что педагоги (а в России существует целая школа профессора И.А. Соколянского) научат этого ребенка я з ы к у. Какому языку? Практически на единственно возможной для него чувственной основе — на основе осязания. Интересующихся этой проблематикой я бы отослал к неоднократно издававшейся книге Ольги Скороходовой «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир» — захватывающему рассказу о том, как лишившаяся слуха и зрения девочка осваивала мир человеческих чувств и идей... Подобные свидетельства служат еще одним подтверждением мысли о том, что без общества не может возникнуть язык, а без языка, без общения не может сформироваться полноценная личность.

Современный человек как биологический вид называется по-латыни *homo sapiens*, т.е. человек разумный. Но *homo sapiens* есть одновременно *homo loquens* (*хóмо лóквенс*) — человек говорящий. Для нас это означает, что язык — не просто «удобство», придуманное для облегчения своей жизни

разумным существом, но обязательное условие его существования. Язык — составная часть внутреннего мира человека, его духовной культуры, это опора для умственных действий, одна из основ мыслительных связей (ассоциаций), подспорье для памяти и т.д. Трудно переоценить роль языка в истории цивилизации. Можно вспомнить по этому поводу известный афоризм немецкого философа-экзистенциалиста Мартина Хайдеггера: «Язык создает человека» или повторить вслед за российским ученым Михаилом Бахтиным: «Язык, слово — это почти все в человеческой жизни».

Естественно, к такому сложному и многогранному явлению, как язык, можно подходить с разных сторон, изучать его под разными углами зрения. Поэтому языковедение (синоним: лингвистика, от лат. *lingua* — ‘язык’) развивается не только «вглубь», но и «вширь», захватывая смежные территории, соприкасаясь с иными, соседними науками. От этих контактов рождаются новые, промежуточные и очень перспективные дисциплины, например: поэтика и текстология, социолингвистика и лингвистическая география, математическая лингвистика и нейролингвистика, психолингвистика и компьютерная лингвистика... Некоторые из этих дочерних наук (такие, как социо- и психолингвистика) уже нашли свое место в структуре человеческого знания, получили признание общества, другие (такие, как нейролингвистика) сохраняют привкус новизны и экзотики... В любом случае не следует думать, будто языковедение стоит на месте и уж тем более что оно занимается только изобретением все новых правил, усложняющих жизнь простому человеку: где, скажем, надо ставить запятую, а где тире, когда надо писать *не* с прилагательным вместе, а когда отдельно... Этим, признаюсь, языковедению тоже приходится заниматься, и всё же важнейшие его задачи иные — изучение языка в его взаимоотношениях с объективной действительностью и человеческим обществом.

И хотя феномен языка кажется очевидным, необходимо с самого начала как-то его определить. Из всего многообразия существующих определений я выберу для дальнейших рас-

суждений два, наиболее распространенных и всеобъемлющих: *язык есть средство человеческого общения* и *язык есть система знаков*. Данные определения не противоречат друг другу, скорее наоборот — друг друга дополняют. Первое из них говорит о том, *для чего служит язык*, второе — о том, *что он собою представляет*, как он устроен. Обратимся сначала именно ко второму аспекту — общим принципам устройства языка. А уже потом, ознакомившись с основными правилами организации данного феномена и его многообразными функциями в обществе, вернемся к вопросу о строении языка и функционировании его отдельных частей.

2. Что такое знак?

Примеры знаковых систем

Знак есть *материальный объект, используемый для передачи информации*. Проще говоря, всё, при помощи чего мы можем и хотим что-то сообщить друг другу, есть знак. Существует целая наука — семиотика (от греч. *sēmíon* — ‘знак’), изучающая всевозможные знаковые системы. Поскольку среди этих систем находится (более того: занимает центральное место) человеческий язык, постольку объект данной науки пересекается с объектом лингвистики. Скажем, слово можно изучать с позиций семиотики, а можно — с позиций языкознания.

В принципе человек может придать функцию знака любому предмету, любому «кусочку действительности». Возьмем три простых примера. На окне стоит цветок в горшке. Сидящий в кресле человек закурил и ослабил узел галстука. Из книги, лежащей на столе, торчит закладка. Все эти ситуации имеют, очевидно, свою причину и могут быть истолкованы как с и м п т о м ы, т.е. как проявления каких-то иных ситуаций (действий, состояний, побуждений и т.п.). Например, хозяйка квартиры решила, что ее цветок должен получать больше света. Служащему хотелось курить, а галстук давил шею. Читателю нужно было запомнить, на каком

месте он прервал чтение, и потому он заложил соответствующую страницу.

Но наряду с причиной эти ситуации могут иметь и специальную цель: сообщить кому-то что-то. В частности, в «шпионском» фильме цветок на окне — возможно, сигнал: явка провалена. Закурив и ослабив узел галстука, человек, может быть, хочет показать собеседнику, что официальная часть разговора закончена и теперь можно чувствовать себя свободнее. А может быть, он хочет продемонстрировать своим жестом, кто именно является здесь хозяином положения, — в таком случае ему дозволено то, что не позволено другим. Закладка, оставленная в книге, возможно, тоже должна сообщить прочим членам семьи, что книга занята, что она «в работе», не надо убирать ее на книжную полку... Теперь цветок, расслабленный узел галстука, закладка — это знаки. (Закладка, собственно, и перед тем была знаком, но — для себя, теперь же она стала знаком и для других.)

Для того чтобы предмет (или событие) получил функцию знака, стал нечто обозначать, человеку нужно предварительно договориться с другим человеком, получателем этого знака. Иначе адресат может просто не понять, что перед ним знак, не включится в ситуацию общения. Герой одного детективного рассказа Артура Конан Дойла замечает у себя в саду ряд нарисованных мелом человечков. Это кажется ему детской забавой и не более — так сказать, мальчишеской пробой пера. И только наткнувшись на подобный рисунок еще не раз и заметив странную реакцию своей жены, он начинает понимать, что перед ним — послания, зашифрованные тексты. И отправляется за помощью к Шерлоку Холмсу.

Это, вообще говоря, не только литературный сюжет, но вполне жизненная ситуация. Ученым давно были известны рисунки древнего латиноамериканского народа майя — сплошные полосы фантастических фигурок людей, животных, каких-то предметов... Однако не сразу стало ясно, что перед нами письма, настолько они были декоративны, орнаментальны! А разгадал эти письма в 50-е годы XX в. российский ученый Ю.В. Кнорозов: в свои тридцать с неболь-



Образец письменности майя

шим лет он был удостоен ученой степени доктора исторических наук за расшифровку письменности майя.

В обычной, повседневной жизни мы многих знаков просто не замечаем, не придаем им особого значения, хотя роль их в общении велика. Таковы, в частности, мимика и жесты. Долгое или решительное объяснение, отказ или согласие, просьбу или приказ можно заменить одним многозначительным взглядом или движением руки. Но эти знаки для нас — как бы само собой разумеющееся. Пожалуй, мы обращаем внимание на мимику или жесты только тогда, когда наблюдаем за иной культурой общения — скажем, за темпераментной жестикуляцией итальянцев или вообще жителей Средиземноморья. В шутку говорят, что если итальянцу связать руки, то он и разговаривать не сможет... А бывает, что один

и тот же жест или мимический знак у разных народов выражает разный смысл. Например, у европейцев высовывание языка — не вполне приличный знак, обозначающий презрение, поддразнивание, провоцирование. В индийской же культуре это символ стыда, раскаяния. Так что и жесты, и мимика требуют предварительной «договоренности» — иначе адресат может неправильно истолковать «послание».

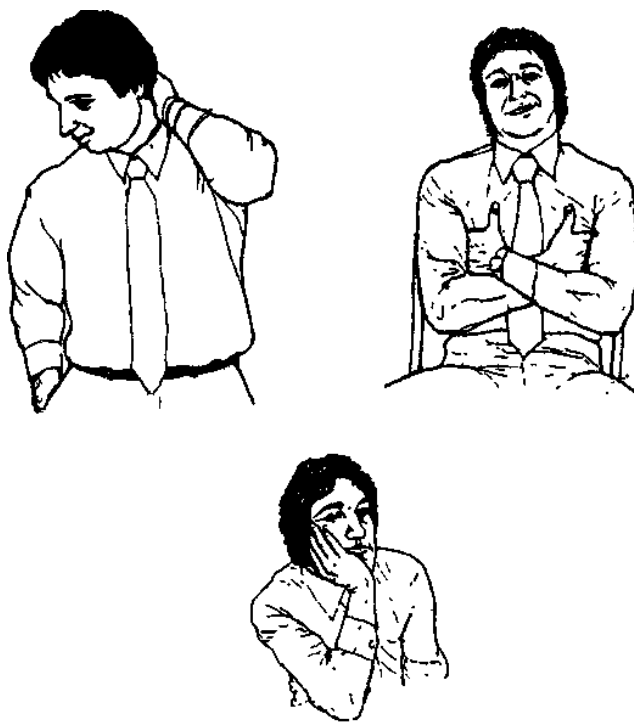
Собственно, что там итальянцы или индийцы! Можно показать, что даже в рамках одного языка, одного народа существуют особенности в использовании жестов, связанные с местом проживания человека или с его социальным статусом. Например, в повести Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура» городская тетушка, попавшая во время войны в деревню, узнает, что ее племянник ранен и лежит в госпитале. Тут же она «стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, то она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу».

Кроме национально обусловленных систем жестов, «привязанных» к конкретному языку, существуют также интернациональные, общечеловеческие основания поз собеседников, движений их рук, дистанции между ними и т.д. Они, в частности, описываются в книге австралийского исследователя Алана Пиза «Язык тела». Эта книга, переведенная на десятки языков, включая русский, за короткое время выдержала огромное количество изданий. И интерес к ней читателей не случаен. Оказалось, что слова могут обманывать, вводить в заблуждение, но «язык тела», мимика и жесты, выдают истинное отношение человека к тому, что он говорит и слушает. По тому, как вы сидите, слушая собеседника, что в это время делают ваши руки (и ноги!), что написано на вашем лице, можно определить, доверяете ли вы собеседнику, интересно ли для вас то, что он рассказывает, и т.п. Вот вы непроизвольно отклоняетесь назад и скрещиваете на груди руки — тем самым вы увеличиваете дистанцию между собой и собеседником, в вашей позе появляется оттенок высокомерия и недоверия к тому, о чем идет речь. Вы потираете рукой

шею — для собеседника это сигнал: вы в раздумье. Подперли ладонью подбородок — и опять-таки сделали это произвольно, бессознательно. Но со стороны, объективно оценивая, можно принять это за сигнал: разговор вам наскучил, можно было бы сменить тему.

Наряду с такими повседневными, привычными для нас средствами общения, существуют целые сложные системы знаков специфических, даже экзотических. Таков, например, язык цветов, в XIX в. средство светского флирта, налаживания отношений. Сегодня мы дарим цветы, исходя в основном из наших представлений о красоте, да еще из финан-

a



Некоторые жесты, имеющие знаковую природу:

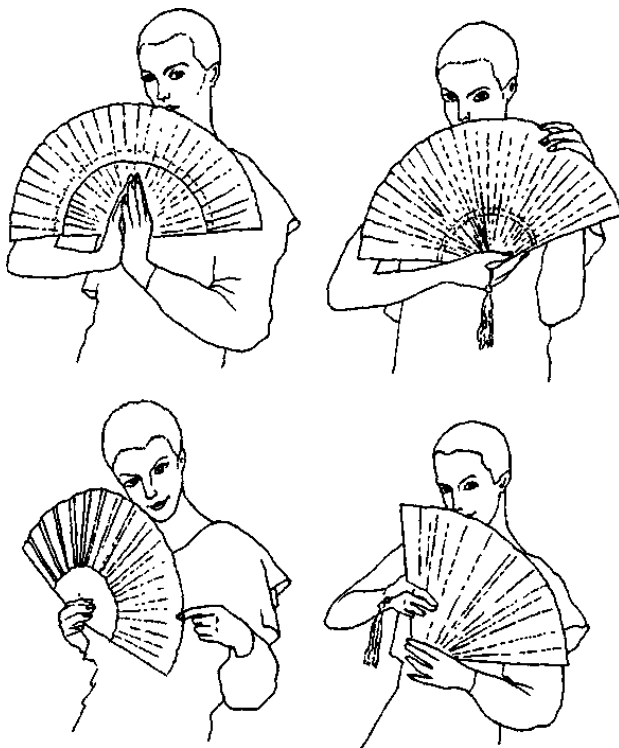
a — затруднение, растерянность: «Вот-те раз! Что же делать?»;

б — превосходство: «У меня на это своя точка зрения»;

в — скука: «Все это мне совершенно неинтересно».

совых возможностей (хотя при этом все же учитываем: должно ли количество цветов быть четным или нечетным; кроме того, существуют какие-то «ритуальные» цветы, наиболее подходящие для свадьбы или, скажем, для похорон...). Мы можем примерно с одинаковым успехом идти в гости, неся с собой (кстати: головками вверх или вниз? Во многих странах это не все равно!) букет красных гвоздик, чайных роз или сиреневых астр. Иное дело — правила этикета и общественные предписания XIX в. В культурной сфере за каждым цветком закреплялось свое символическое значение, что позволяло не только передавать весьма разнообразную информацию, но и рассчитывать на такой же содержательный ответ, т.е. на продолжение диалога. Скажем, в одной польской книге XIX в. описывались значения цветов, — да что там цветов! — разновидностей одного и того же цветка: роза белая — «к тебе склоняется мое сердце, к тебе стремится моя душа»; роза китайская — «я целиком принадлежу тебе»; роза чайная — «что за наслаждение быть с тобой!»; роза Королевы Ядвиги — «уважай прошлое: оно — мать будущего»; роза Борейко — «порадуй меня своей улыбкой»; роза полураскрывшаяся — «скрой наши чувства в глубине сердца»; роза желтая — «ты зря ревнуешь, к тому нет никаких оснований»; лепесток белой розы — «нет»; лепесток красной розы — «да» и т.д. В другой книге того же периода говорилось: «Буде же не окажется под рукой никаких цветков, можно воспользоваться цветами искусственными или нарисованными, а если и с этим возникнут трудности, достаточно просто употреблять их названия».

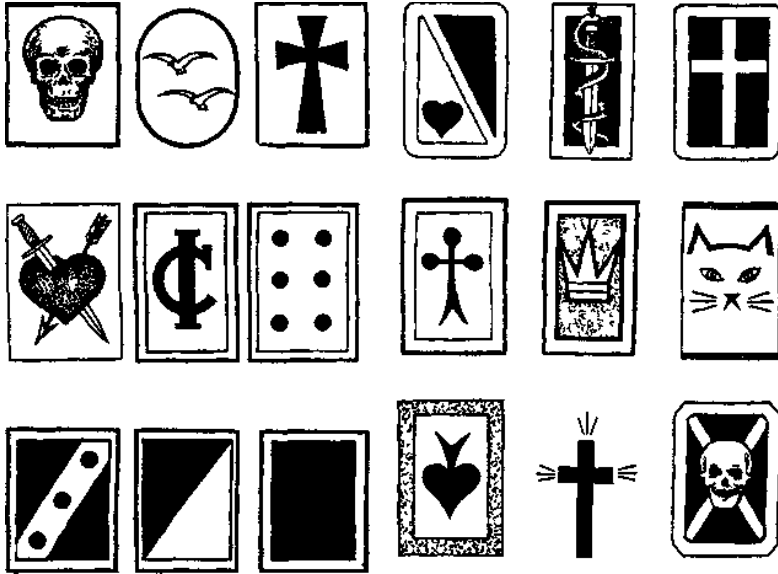
Не менее экзотичен язык веера. При помощи этого маленького опахала, неперемного атрибута светской жизни, дама могла, оказывается, назначить свидание (и даже договориться о его точном времени), упрекнуть кавалера за несдержанное обещание или попросить прощения... Для этого нужно было по-разному держать веер в руках, в разной степени его раскрывать или указывать пальцем на определенную его часть. Понятно, что передаваемая при этом информация носила в основном салонно-будуарный характер, но большего,



Язык веера: некоторые знаки

собственно говоря, и не требовалось. Вспомогательные, в каком-то смысле тайные, языки и были предназначены для определенной сферы жизни.

Еще одна чрезвычайно интересная в данном смысле знаковая система — язык татуировок. Речь идет, конечно, не о вошедших сегодня в моду цветных орнаментах, имеющих скорее эстетическую ценность (это древнее искусство пришло из Юго-Восточной Азии), а о татуировках в традиционном понимании. Это условные изображения, наносимые под кожу путем накалывания и втирания красящих веществ и распространенные главным образом в среде моряков и преступников. По содержанию «наколки» опытный человек (например, работник правоохранительных органов) может определить не



Некоторые виды татуировок (так называемые «перстни» — накладки на пальцах), распространенные в уголовной среде

только «профессию» преступника, его положение в уголовной иерархии, но и некоторые его пристрастия и идеалы. Крест, меч, цветок (роза), змея, череп, женщина, карта и т.п. — каждый из этих элементов имеет свое определенное значение, а сочетание их позволяет передавать довольно богатую информацию.

Язык цветов, язык татуировок, язык веера, язык духов, язык форменной одежды могут многое сказать посвященному человеку. Что уж говорить о таких распространенных системах, как дорожные знаки или бытовые пиктограммы*! В последнем случае имеются в виду символические рисунки, передающие разнообразные практические сведения. Стрелка или указующий перст означает ‘туда’ или ‘выход’, восклицательный знак — ‘внимание!’, ‘опасность!’ (а еще, в других

* Пиктограмма (от лат. *picto* «рисую» и греч. *gramma* «запись, буква») — рисунок, соответствующий слову или целому выражению.



Знаки, указывающие на способ обработки изделий из ткани

знаковых системах, — ‘интересно!’, ‘сильный ход!’), перечеркнутая сигарета — ‘не курить!’, перечеркнутый утюг (на этикетке к одежде) — ‘нельзя гладить’, рюмка на упаковочной коробке или ящике — ‘осторожно, стекло!’ (или ‘хрупкое содержимое, не бросать!’) и т.д.

А если вспомнить еще всевозможные фирменные эмблемы, товарные знаки, гербы и флаги, спортивные символы, обозначения химических элементов и т.п., то можно, не сильно преувеличивая, сказать: человек живет в мире знаков.

3. Важнейшие свойства знаков

Независимо от того, имеется ли в виду сфера специально-го, узкопрофессионального общения или же речь идет о пе-

редаче информации общедоступной, рассчитанной на самого широкого потребителя, знак, как видим, имеет преднамеренную, целенаправленную природу, он специально используется для передачи определенного смысла. *Преднамеренность* — первое из свойств знака, и отсюда же вытекает второе его важнейшее свойство: *двусторонность*. В самом деле, у знака обязательно должны быть две стороны: идеальная, внутренняя (то, что передается, — значение, смысл, или семантика*), и материальная, внешняя (то, чем передается, — форма). Эти две стороны знака называют *планом содержания* и *планом выражения*.

Материальная сторона знака (его план выражения) может быть самой разной — лишь бы она воспринималась органами чувств: слухом, зрением, осязанием... Подавляющую часть информации о мире человек получает с помощью зрения; и не случайно те примеры знаковых ситуаций, что приводились выше, имели визуальную, зрительную природу. Но если говорить о знаке языковом, о единицах человеческого языка, то его основная материя, конечно же, звук. Это важно подчеркнуть, так как сегодня, в эпоху поголовной грамотности, человек привыкает к письменной форме языка. Привыкает настолько, что зрительный образ слова теснит в нашем сознании образ слуховой. И все же не будем забывать о том, что основная материальная форма существования языка — это *звук*, колебания воздуха. На протяжении сотен тысяч лет человеческий язык существовал исключительно в звуковой форме (еще ему, конечно, помогали жесты), и только в последние три-четыре тысячелетия этому способу передачи информации сопутствует письменность. Не забудем также, что еще совсем недавно целые народы пользовались языком исключительно в его устной, звуковой форме: письменности они просто не знали.

А должен ли знак быть похожим на то, что он обозначает? Или хотя бы напоминать? Нет, это не обязательно. Скорее

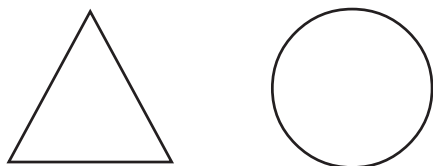
* *Семантика* (от греч. *sēmantikos* «обозначающий») — значение, смысловая сторона языковых единиц.

наоборот: знаки, подобные тому, что они обозначают (их называют иконическими), — довольно редкий случай. Вот над булочной висит крендель, над мастерской по ремонту обуви — сапог. Перед пешеходным переходом стоит треугольник с изображением шагающего человека. (Кстати, многие знаки дорожного движения — иконические.) Слово *кукушка* похоже на тот звук, который издает эта птица, как и другие звукоподражательные или звукоизобразительные слова — *скрипеть, булькать, чавкать, гром, писк, шипение*, — которые тоже можно считать иконическими знаками. Но в целом это, скорее, исключение, а нормально для знака как раз обратное: у с л о в н а я связь между планом выражения и планом содержания. Цветок на окне означает: «сюда нельзя, явка провалена». Но если мы договоримся о другом содержании знака, он может обозначать, например: «заходи, я жду». Кстати, и крендель, висящий над булочной, вовсе не означает, что здесь продаются крендели: может быть, их в этой булочной никогда и не было. А уж слова-то сплошь и рядом демонстрируют свою условность в качестве названий. Чем, скажите на милость, слово *кастрюля* похоже на сам предмет? А слово *зеленый* чем похоже на соответствующий цвет? Да ничем. Именно поэтому одни и те же предметы в разных языках называются по-разному. Получается, что в основе названия лежит договоренность, соглашение, к о н в е н ц и я. Мы, т.е. коллектив людей, как бы решили придать данной звуковой форме данное содержание; так появляется знак. К о н в е н ц и о н а л ь н о с т ь — третье основное свойство знака.

Но знак никогда не существует изолированно, сам по себе. Он всегда входит в целую систему, действует на фоне своих «собратьев». Поэтому подписать конвенцию, договориться о содержании знака на практике означает разделить сферы влияния знаков: вот э т о обозначает то-то, а вот э т о — другое...

Один мой знакомый, приехав за границу, поселился в недорогой гостинице. Ванной и туалета в номере не было. Поэтому вечером с полотенцем через плечо он отправился в конец коридора. Там он увидел дверь, на которой был изображен равносторонний треугольник — и все, никакой надписи.

Что должен был сделать мой знакомый? Потоптавшись, он пошел в другой конец коридора: там на двери оказалось изображение круга.



И, слегка посомневавшись, мой знакомый повернул обратно... Действительно, треугольник с вершиной, обращенной вверх, мог бы символизировать женский силуэт — скажем, если бы он был противопоставлен треугольнику, обращенно-му вершиной вниз: это бы условно обозначало «широкобедность» женской фигуры и «широкоплечность» мужской. Но в нашем случае треугольник оказался противопоставленным кругу, и это все меняет. Треугольник уже читается как символ «угловатости» мужской фигуры по сравнению с «округлостью» женской. Значение одного знака обретается в противопоставлении другому знаку.

Еще пример, тоже из «заграничной» практики. Русский турист в Болгарии собирается позвонить по телефону-автомату. Сняв трубку, он слышит «туу-туу-туу...» и с досадой вешает трубку на место. Однако и в соседнем автомате ситуация повторяется: то же самое «туу-туу-туу» в трубке, и в третьем, и в четвертом... «Ну, ни один автомат не работает!» — в сердцах чертыхается турист, и невдомек ему, что в этой стране прерывистое «туу-туу-туу» — нормальный телефонный «фон», эквивалентный нашему непрерывному гудку, т.е. знак: «набирайте номер». Но для того, чтобы понять это, надо знать, каковы другие знаки в данной системе? Какие есть еще гудки? И опять конвенциональность знака оборачивается его обусловленностью: каждый знак — член своей системы. Обусловленность системой — четвертое свойство знака.

Нетрудно показать это и на примере языковых единиц. Так, слова в целом образуют систему, а эта система склады-

вается из множества частных подсистем. Одна из них — привычные для нас названия цветов солнечного спектра: *красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый*. Но вот что любопытно: во многих языках русским названиям *голубой* и *синий* соответствует одно слово. Например, для немца цвет чистого неба, василька и полосы леса на горизонте будет все blau. Более того, нам кажется почти фантастическим предположение, чтобы кто-то увидел общее в цвете серебристой лисы и... черники. А по-немецки именно так: der Blaufuchs — голубой песец (букв. 'голубая лиса'), а die Blaubeere — черника (букв. 'синяя ягода'); первая часть в этих немецких словах одинакова... Нет, конечно, при необходимости по-немецки можно различить данные цветовые оттенки, скажем, при помощи определений himmelblau 'небесно-голубой' и dunkelblau 'темно-синий'. Однако в огромном большинстве случаев немец скажет просто blau, без всяких уточнений. Не получается ли тем самым, что значение слова *синий* в немалой степени зависит от того, есть ли в языке слово *голубой* или нет? Если есть (как в русском), то объем его семантики сужается, если нет (как в немецком), то соответственно возрастает... Французский лингвист А. Мартине заметил: цветов типа синий или зеленый «как таковых в спектре нет, ибо последний представляет собой непрерывный переход от фиолетового к красному. Эта непрерывность подвергается в разных языках различному членению. В той же Европе бретонцы и галлы обозначают одним словом glas участок спектра, примерно соответствующий синему и зеленому цветам француза». И вывод, к которому приходит ученый, таков: «Фактически каждому языку соответствует своя особая организация данных опыта».

Возьмем пример из области лексики. Допустим, вы читаете на пачке печенья: «Печенье изготовлено из муки первого сорта». Но что значит «первого сорта»? А какие еще сорта есть? Одно дело, если, положим, бывает мука 1-го, 2-го и 3-го сортов, и совсем другое — если она бывает всего-то высшего и первого сорта... Значение выражения «первого сорта» оказывается зависимым от плана содержания других вы-

ражений, других знаков. Как писал Велимир Хлебников, «каждое слово опирается на молчание своего противника».

Третий пример. В состав словаря входит подсистема названий частей тела. Мы все активно используем в своей речи слова *рука, плечо, локоть, колено, бедро, живот* и т.д. и абсолютно уверены в их значении. За каждой единицей — своя сфера действительности, свой обозначаемый предмет, свои отношения с другими словами. Что такое, например, плечо? Это часть тела, ограничиваемая с одной стороны грудью и шеей, а с другой стороны рукой. Так сказать, ‘то, что между рукой, шеей и грудью’. Точно так же бедро для нас — это ‘то, что между боком, пахом (или животом) и ногой’. Но возьмем медицинскую терминологию. Это в некотором смысле другой язык, отдельная лексическая подсистема. И оказывается, что здесь знакомые нам слова употребляются в несколько ином значении. Если в обыденной речи значение слова *плечо* определялось его отношениями со словами *грудь, шея, рука*, то в медицине это ‘кость от плечевого сустава до локтевого’. *Бедро* здесь ‘кость от тазобедренного сустава до коленного’. Как видим, значения данных слов определяются здесь уже иными «партнерами» — и, прежде всего, словом *сустав* (которого, прямо скажем, нет в обыденной речи). Опять получается: содержание знака обусловлено содержанием других знаков, всем устройством данной системы, лежащей в ее основе конвенцией. Можно сказать, что языковой знак есть производное от языка как целого.

4. Культура как знаковая система

Если со стороны понаблюдать за поведением человека, легко убедиться: многие его поступки имеют своей целью сообщить что-то окружающим. Здесь подразумевается, конечно, не речевая деятельность и не жесты и мимика, о которых уже шла речь, — с ними «все ясно», эти средства специализировались в коммуникативной функции. Речь идет об иных, самых разнообразных, действиях.

Вот человек хочет позвонить по телефону-автомату, а кабинка занята. Как он может поторопить разговаривающего по телефону? Может, конечно, попросить «открытым текстом»: «Не могли бы вы закончить разговор, а то мне нужно срочно позвонить» и т.п. Но может поступить и по-другому: будет молча, но демонстративно смотреть на часы, покашливать, обходить автомат с разных сторон, чтобы своим видом напомнить о себе, не исключено, даже постучит по стеклу...

Вся наша жизнь — дома, на работе, в общественных местах — включает в себя множество подобных знаковых ситуаций. Мы можем своими поступками выразить внимание или безразличие, радость или недовольство, уважение или презрение к другому человеку или к обществу в целом. Примеры: на домах перед праздниками вывешивают флаги; некто, выходя из комнаты, громко — так, чтобы слышали оставшиеся в помещении, — хлопает дверью; студенты встают, когда преподаватель входит в аудиторию; на руке у женщины — обручальное кольцо; в ресторане мужчина, прежде чем сесть самому, усаживает свою спутницу; выходя из метро, человек слегка поворачивает голову и придерживает за собой тяжелую дверь.

Конечно, все эти поступки — еще и дань традициям, общественным установлениям: так принято в данном обществе, такое воспитание получил данный человек. Поэтому не просто здесь отграничить знак от симптома (о симптомах см. в разделе 2). Возможно, придвигая стул своей спутнице, посетитель ресторана и не думает специально о том, чтобы оказать ей знак внимания, — просто он по-другому поступить не может, он так воспитан, это для него своего рода рефлекс. Однако со стороны это выглядит именно как знак. (Да и, замечу, в другом обществе, в другую эпоху такой поступок был бы просто невозможен или был бы истолкован превратно.)

Ясно также, что способы отношения человека к другим людям входят в общую систему его поведения, зависят от его понимания мироздания и своего места в нем. В частности, способы отношения к другому человеку оказываются связан-

ными с отношением к окружающей среде. (Можно ли, например, бросить на траву обертку от мороженого? Можно ли выгнать из дому кошку или собаку? Можно ли воспользоваться чужим полотенцем? И т.д.) Все эти вопросы человек решает для себя сам, в соответствии с полученным воспитанием и нормами окружающего его общества. И все вместе взятое это входит в сферу культуры в самом широком смысле слова. Однако значительная часть этой общей культуры имеет семиотическую природу, т.е. реализуется в поступках, предназначенных для восприятия другими людьми. Поскольку же данные поступки складываются в систему, обусловленную не только общественным строем, но и эпохой, национальным характером, темпераментом, вероисповеданием и т.п., имеет смысл выделить в рамках семиотики особую дисциплину, занимающуюся культурой, а точнее, поведением разных народов в разных ситуациях. Эта дисциплина называется этносемиотикой (от греч. *éthnos* 'народ, этнос, общественный класс').

Что интересует этносемиотику? Обряды, ритуалы, обычаи, семейные традиции, одежда, мода, прием гостей, обустройство и украшение жилища, разбивка парков и садов, использование цветовой гаммы, игры и танцы... Естественно, все эти чрезвычайно многообразные формы поведения человека (и общения его с себе подобными) формируются и подбираются на основе некоторых глобальных и глубинных психологических и нравственно-этических критериев. В качестве таких «точек отсчета», лежащих в основе национально-культурных знаковых систем, можно предложить следующие противопоставления:

человек — природа

мужчина — женщина

старший — младший

личность — государство

духовное (интеллектуальное) — телесное (физиологическое)

обыденное (профанное) — святое (сакральное) и т.д.

В зависимости от трактовки этих основополагающих оппозиций нравственные идеалы получают в конкретном обще-

стве (и в конкретную эпоху) то или иное воплощение. Обратимся к примерам.

Пример первый: одежда, мода. В каждом обществе имеется свое представление о том, как следует одеваться. Возникает противопоставление домашней и рабочей (служебной) одежды. Женская одежда то в какие-то годы сближается с мужской (утверждая идеи равенства полов), то, наоборот, отдаляется от нее. У многих народов национальный костюм отражает не только территориальные особенности, но и дает указания на возраст, социальное положение и другие качества его носителя. Так, у некоторых народов Кавказа обязательной принадлежностью мужского национального костюма является кинжал. В патриархальной России замужняя женщина, выходя из дому, обязана была повязывать голову платком; показаться на людях с непокрытой головой означало «опростоволоситься», т.е. ‘осрамиться’...

Вообще понятие «прилично — неприлично» в одежде оказывается условным. В одной недавней журнальной публикации рассказывалось о том, как в средние века испанская королева «гневно отказалась принять в дар от голландских купцов две дюжины чулок, — столь неприличен был намек на то, что у королевы есть ноги и (о, ужас!) место, откуда они растут!» Не слишком утрируя, можно сказать, что дама высшего света, обнажавшая лодыжку, бросала обществу XVII в. более сильный вызов, чем сегодняшняя молодая особа, появляющаяся на пляже топлес (от англ. topless ‘без верха’), т.е. в купальном костюме из одной только нижней части. Р. Якобсон приводит в качестве примера историю со священником-миссионером, проповедовавшим туземцам азы христианской морали. Когда он стал упрекать аборигенов в том, что они ходят нагишом, те указали на его голову: «У тебя тоже кое-что не прикрыто». «Да, — согласился священник, — но это лицо». «А у нас повсюду лицо», — ответили дикари.

Действительно, все зависит от конвенции. Удобство, красота, гигиеничность — все эти критерии отходят на второй план, а на первом плане прочно утверждается социальная норма: «так положено». Общество регламентирует возмож-

ности человека в выборе одежды. Что же сообщает индивид своим костюмом собратьям по обществу?

Прежде всего, одежда может сигнализировать, что человек принадлежит к определенной социальной группе, профессии или выполняет в данный момент определенную общественную функцию («находится на службе»). Такова форма милиционера, военнослужащего, железнодорожника, таможенника, лесника. Сходную роль выполняет халат медработника, оранжевый жилет дорожного рабочего, мантия судьи и т.д. Долгие годы у нас в стране неизменным признаком ученика при исполнении его «служебных обязанностей» была школьная форма. Когда-то в России особую форму носили и студенты. Далее, костюм может свидетельствовать о том, что человек принадлежит к определенному социальному слою и принимает «правила игры», нормы поведения в общественных местах. В дорогой ресторан не впустят посетителя в свитере или в джинсах. В приглашении на официальный прием может быть специально указано, в каком костюме должен появиться гость. Знаковые свойства костюма очень четко проявляются в конфессиональной (религиозной) сфере. Достаточно вспомнить одеяние священнослужителей или одежду прихожан, участвующих в церковных обрядах, например венчальном или похоронном. Определенные правила поведения, связанные с одеждой, касаются всех верующих. Православный, входя в церковь, снимает головной убор, а мусульманин оставляет за порогом мечети обувь. Даже, казалось бы, мелочь — галстук, жилет, шляпа, трость, зажим для галстука — все это может быть знаком своеобразного «конформизма», подчинения индивида общественным предписаниям. Зато уж если карнавал, то тут все наоборот: сюда как раз могут не впустить человека, нормально одетого, на нем должна быть, по крайней мере, маска, а лучше всего какое-нибудь немислимое облачение. Таковы правила игры.

Вместе с тем костюм может свидетельствовать, что его обладатель — «бунтарь», человек, в чем-то несогласный с общественными установлениями или в целом их отрицающий. Таков профессор, демонстративно приходящий на лекции в

свитере. В каком-то смысле и меховое манто на плечах дамы — вызов обществу, озабоченному проблемами нищеты, голода и сохранения живой природы. И нудист, максимально, по его мнению, сближающийся с этой природой, тоже по-своему протестует отсутствием одежды против общественной морали.

Со временем нравы общества, конечно, меняются. Нынче солнечные очки, сдвинутые на лоб, так же как кепка-бейсболка, надетая задом наперед, стали символом молодежного стиля поведения. А каких-нибудь 20—30 лет назад очки, сдвинутые на лоб, однозначно свидетельствовали о преклонном возрасте их владельца. Дошкольники наизусть знали когда-то стихотворение Юлиана Тувима (разумеется, его русский перевод), в котором некая тетя Валя с ног сбивается в поисках своих очков:

Ищет бедная старушка
На подушке, под подушкой...
А они на самом деле
У нее на лбу сидели!

Обтрепанные или застиранные джинсы хиппи (стóящие, кстати, иногда дороже, чем целые и новые), кожаные куртки и «адидасы» крутых парней — все это не просто элементы культуры, но з н а к и, рассчитанные на внимание окружающих, «этикетки», автоматически приписывающие человека к определенной социальной группе.

Пример второй: поцелуй. Как говорил один из героев Всеволода Иванова, поцелуй так же разнообразны, как способы ставить самовар. Действительно, поцелуй в щеку (однократный) или в щеки (двукратный, троекратный), поцелуй в губы (не менее разнообразный), поцелуй в лоб (например, ребенка или покойника), воздушный поцелуй неопределенному количеству адресатов (с трапа самолета и т.п.), целование руки — сколько перед нами разных семиотических ситуаций! И каждая из них опять-таки узаконивается, утверждается общественной моралью.

Многие восточные народы вообще не знали поцелуев. Японцев, в частности, глубоко шокировало поведение евро-

пейских супругов, которые публично целовались при встречах и расставаниях. Даже самого слова «поцелуй» в японском языке до XIX в. не было. Уже в XX в., когда для одной из экспозиций в Японию была привезена знаменитая скульптура Родена, изображавшая целующуюся пару, организаторы выставки вынуждены были скрыть ее за специальной ширмой: слишком уж неприличной могла она показаться массовому зрителю. В Польше женщина при знакомстве подает мужчине руку не совсем так, как в России: она протягивает ее тыльной стороной вверх, готовя для поцелуя. Мужчинам, как правило, руку не целуют, но если мы все-таки стали сегодня свидетелями такой ситуации, то перед нами знак: это священнослужитель...

Можно было бы также показать, что многообразные способы поведения человека в чужом доме (в гостях) тоже составляют семиотическую систему, окрашенную национально-культурным колоритом. В разных обществах мы получим разные ответы на такие вопросы, как, положим: можно ли здороваться или прощаться через порог? Надо ли в гостях снимать обувь? Следует ли при разговоре обязательно смотреть собеседнику в глаза? Уместно ли, заметив у него на костюме нитку, снять ее? Можно ли (и нужно ли) в конце обеда оставить на тарелке что-то из еды? Что делать, если какое-то блюдо не нравится? А если, наоборот, очень уж понравилось, прилично ли попросить добавку?

Все эти вопросы вхождения в микроколлектив, поддержания и регулирования отношений, обмена «дипломатической», «этикетной» и тому подобной информацией — суть элементы общей культуры. И в то же время все это з н а к и. Не забудем только, что в обычной ситуации они играют все же вторичную роль, сопровождая и дополняя словесное, речевое общение.

5. Искусство как знаковая система особого рода

Конечно, в жизни бывают случаи, когда человек колеблется в своем определении знаковой ситуации: он не может

решить, знак перед ним или не знак. Девушка обронила носовой платок. Случайно ли? Или она хотела проверить внимательность (и воспитанность) своего спутника? Или же хотела завязать знакомство? Входящий в зал человек (когда собрание уже началось) втягивает голову в плечи и слегка сутулится. То ли инстинктивно «прячется», не хочет привлекать к себе внимание, то ли это, наоборот, знак извинения: «простите, что опоздал».

Но есть сфера жизни, в которой каждый элемент, каждая единица стремится стать знаком. Это — искусство. Если заведомо известно, что перед нами произведение искусства, с особой — эстетической — функцией, то каждая его составная часть «хочет» получить свое содержание. Ничего случайного, незначимого здесь быть не должно. Если на сцене, по Чехову, в первом акте висит ружье, в последнем оно должно выстрелить, иначе нечего было его туда вешать. Если герой фильма по ходу действия достает из кармана пуговицу и смотрит на нее, зритель теряется в догадках: что бы это значило? Ведь з а ч е м-т о это показали. Один маленький мальчик, посмотрев фильм про войну (пример из книжки Н. Носова «Мой друг Игорь»), спросил: «А почему белогвардейцы не ели, и вообще никто ничего не ел?» Ответ, неведомый ребенку, для нас прост: потому что это ничего не значило бы. Прием пищи обыден и привычен для нас, он никак не характеризует героя. (А вот для маленького мальчика это, наверное, важная часть жизни, одно из основных его «дел».)

Произведение искусства наделяет знаковой функцией каждый свой элемент. Вот потому-то в художественном произведении может быть сказано намного больше, чем в таком же по объему нехудожественном тексте, здесь возникает как бы дополнительная глубина, «третье измерение». Попробуйте пересказать «своими словами» какое-нибудь классическое произведение литературы, скажем «Отелло», — получится довольно банальная история о любви и ревности, о верности и предательстве. А под пером Шекспира это стало одной из вершин мировой литературы!

Когда Льва Толстого спросили, что он хотел сказать своим романом «Анна Каренина», он ответил: «Если бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала».

Что же такое искусство? Для художника — это способ выразить себя, свое отношение к миру; для зрителя (слушателя, читателя) — источник эмоциональной, эстетической, нравственной информации, возможность приобщиться к истине в «концентрированной» форме, испытать то, что древние греки называли катарсисом (очищением). В целом же искусство — поиск гармонии, порядка в изначальном хаосе и случайности. В этом художник оказывается подобным Творцу.

Искусство можно рассматривать в общем ряду знаковых систем потому, что оно а) предполагает наличие отправителя и получателя, б) реализуется в материальных объектах, предназначенных для передачи информации, в) подчиняется общим законам функционирования знаковых систем. Вместе с тем, трактуя произведение искусства как сообщение (текст), надо иметь в виду, по крайней мере, две его важные особенности.

А. Сообщение в искусстве становится полноценным у ч а с т н и к о м (а не посредником) общения. Связь между творцом и получателем (зрителем, слушателем, читателем) прерывается. Произведение искусства как бы заслоняет собою его автора. Если я читаю роман Льва Толстого, то фактически общаюсь не с Толстым, а с его героями (и с рассказчиком, «вплетенным» в ткань повествования). И уж тем более нельзя предполагать, что Толстой именно для меня, м н е писал этот роман. Когда я смотрю на живописное полотно или слушаю музыкальное произведение, то очень часто понятия не имею о том, кто его написал, — какое уж тут может быть общение между отправителем и получателем! Нормальное речевое общение предполагает обратную связь между говорящим и слушающим, это практически всегда диалог. Автор произведения искусства не может рассчитывать на непосредственный

ответ, он посылает свою информацию неопределенному множеству получателей, вдобавок отдаленных от него неопределенным временем. Итак, трехчленная семиотическая цепочка: «отправитель — сообщение — получатель» разрывается тут на две двучленные: «отправитель (художник) — произведение искусства» и «произведение искусства — получатель (зритель и т.п.)».

Б. Для произведения искусства (в отличие от сообщения на естественном языке) принципиально важно *средство выражения*, это значит — сама материальная форма и ее возможности. Конечно, можно одну и ту же идею воплотить разными средствами. Скажем, одна и та же тема — «художник и его создание» (Пигмалион и Галатей)* — вдохновляла писателей и композиторов, скульпторов и живописцев, режиссеров и актеров... Но получавшиеся в результате произведения — пьеса, картина, скульптура, мюзикл, фильм и т.д. — оказывались разными, несводимыми друг к другу. И в значительной степени эти различия зависели от вида искусства и материала, в котором данная идея воплощалась. Итак, форма, материал произведения искусства влияет на его содержание, можно даже сказать — становится здесь *частью содержания*.

Возьмем, к примеру, широко известную картину К.С. Петрова-Водкина «Купание красного коня». Вряд ли нужно специально доказывать, что ее содержание не сводится к теме и сюжету: мальчики купают в озере коней.

Информация, которую несет это полотно, гораздо шире и глубже, и значительная часть ее (форма, композиция, цветовая гамма) обусловлена принадлежностью к данному виду искусства. Весь передний план картины занимает огромный и округлый силуэт красного коня, срезанный внизу. На коне (в правой части полотна) — золотисто-желтая фигура мальчика, удлинённая и угловатая. Фоном служит густо-синяя

* Древнегреческий миф о Пигмалионе и Галатее рассказывает о скульпторе, влюбившемся в свое творение; любовь оживила скульптуру.



К.С. Петров-Водкин. Купание красного коня

водная гладь с белыми барашками... Но и это еще не все, что видит зритель данной картины. За сюжетом, формой, цветом встает богатый культурный фон: совокупность исторических, психологических, фольклорных ассоциаций. Фантасмагоричность и «дикость» коня, античность и «интеллигентность» мальчика, столкновение красного, желтого и синего цветов вызывают в сознании зрителя различные другие образы и мотивы: «человек и стихия», «языческий Бог огня (солнца)», «противоборство добра и зла» (вспомним традиционный сюжет русской иконописи: «Георгий Победоносец убивает змея»), даже «предчувствие революции и крови» (картина, между прочим, написана в 1912 г.)...

Так что искусство — это знаковая система особого рода. Точнее сказать, это знаковые системы особого рода. Есть свои языки у живописи, у архитектуры, кино или балета... А существует ли отдельный язык художественной литературы, отличный от обычного «человеческого» языка — русского или английского, башкирского или литовского? Или

же здесь два языка — язык искусства и язык человеческий, естественный — совпадают в одном?

6. Литература с точки зрения семиотики

Разумеется, литературу с позиций семиотики следует рассматривать в общем ряду с другими видами искусств. В то же время закономерно встает вопрос: что именно в художественной прозе, поэзии, драматургии является знаком? Что составляет особый «код» литературы? Эта проблема непростая. С одной стороны, материальную базу для языка литературы как вида искусства образует естественный язык: его слова, грамматические формы и конструкции. Не зная языка, на котором написана повесть или, скажем, баллада, нельзя понять само это произведение. Но ведь, с другой стороны, можно в этом произведении увидеть только текст на естественном (русском, башкирском, английском...) языке и не прочувствовать его как творение искусства. От чего зависит такое разное понимание?

У литературы есть свои знаки, связанные с историей, материальной и духовной культурой описываемой эпохи. Они обусловлены правилами восприятия художественного текста в данном обществе, на данном этапе. Отсюда вытекает возможность разного прочтения одного и того же текста, разной глубины его интерпретации. Более того, один и тот же текст в разных условиях (в частности, в разных эпохах) может быть квалифицирован то как художественный, то как нехудожественный. По выражению писателя Юрия Трифонова, «время обладает странной силой: даром художественности. Дневники, письма, деловые записки, судебные протоколы и военные репортажи с ходом лет приобретают неожиданные свойства. В старых и немудреных словах, сказанных когда-то мимоходом, по делу, кристаллизуется поэзия» («Отблеск костра»).

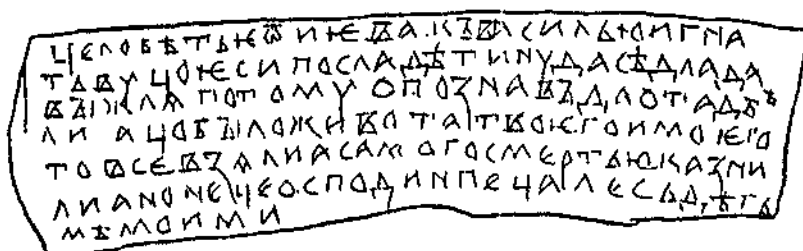
Так, некий житель Новгорода во второй половине XIV в. шлет нацарапанную на бересте записку своему знакомому.

Вот ее современный перевод: «От Савелия к Максиму. Как договаривались, пришли мне второго коня. Ну зачем ты во второй раз подверг меня такой опасности? Рать ударила под Копорьем. А я, не имея второго коня, имущество побросал, а часть его растерял. А теперь пришли... Очень плохо мне с одним конем — ни дома... ни дров привезти, ни матери послать не на чем...»

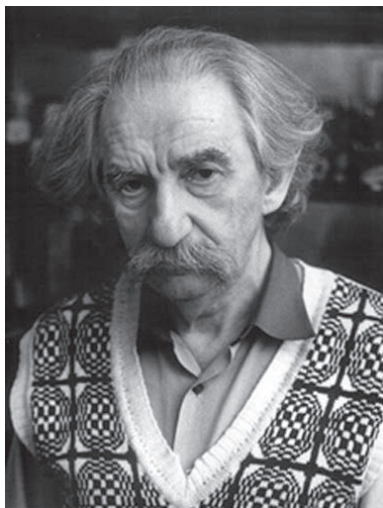
Другое берестяное послание из XV в.: «Челобитье от Иова к Василию Игнатьеву. Что ты послал — детину, да седла, да собаку, то, опознав, отбили, а что было имущества твоего и моего, то все взяли, а детину смертью казнили. А теперь, господин, печалься с детьми моими».

Множество подобных берестяных грамот было найдено при раскопках древнего Новгорода. Это договоры, духовные завещания, частная переписка. Когда мы читаем сегодня эти безыскусные строки, за ними встают драматические, а подчас и трагические судьбы людей, мы ощущаем аромат иной эпохи... Письма приобрели для нас свойства художественных текстов. С другой стороны, нельзя исключить того, что роман какого-нибудь нашего современника, писателя-графомана, будет представлять ценность для потомков или для представителей иной культуры только как собрание фактов, отражающее жизнь человека на рубеже XX и XXI вв., не более того...

Стало быть, одно и то же произведение можно прочитать как текст на естественном языке и как текст на языке искус-



Образец берестяной грамоты



Ю.М. Лотман

ства (литературы). Это вроде того, как в школе, на уроках литературы, говорили: «прочитать с выражением» или «без выражения». Например, у А.С. Пушкина остался в рукописях незаконченный «Роман в письмах» — произведение, не известное широкому читателю. В нем есть такие строки: «В то время (речь идет о 1818 г. — *Б.Н.*) строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг, — нам было неприлично танцевать и некогда заниматься дамами». Не снимали шпаг? Не танцевали с да-

мами? Торопились куда-то? Взгляд скользит по строкам, не очень-то задерживаясь на деталях... А задержаться как раз стоит: перед нами знак, только не языковой, а литературный (т.е. собственно культурный, но отраженный в литературе). Ю.М. Лотман, большой знаток русской культуры XIX в. и при этом крупнейший авторитет в области семиотики, показал, что за данной строкой кроется многое.

«Речь идет не просто об отсутствии интереса к танцам, а именно о выборе поведения, для которого отказ от танцев — лишь знак» (*Лотман Ю.М.* «Являлись на балы, не снимая шпаг...»). Мода на такое поведение была введена декабристами, членами тайных союзов. Декабристы видели свое предназначение, свое историческое предназначение в преобразовании общества. И эта их идейная сверхзадача предопределяла нравственно-этические принципы: они с неодобрением относились к танцам, картам, другим развлечениям. По правилам того времени, офицер, явившись на бал, обязан был сдавать шпагу в гардероб (хотя бы для того, чтобы она не мешала танцевать). Декабристы же ездили на балы, *чтобы там*

не танцевать. Стоя в стороне, они должны были служить молчаливым укором развлекающемуся свету. Вызов обществу! — вот что значило это «не снимая шпаг»!

Другой пример, пожалуй, более известен. У того же А.С. Пушкина в VII главе «Евгения Онегина» семейство Лариных отправляется в Москву, «на ярманку невест». Три кибитки набиты домашним скарбом и —

На кляче тощей и косматой
Сидит фореитор бородатый...

Казалось бы, ну и что с того, что кучер бородатый? А для современников Пушкина это был явный знак: свидетельство патриархального и провинциального образа жизни Лариных. Первым обратил внимание на эту деталь В.В. Вересаев: «Почему «бородатый»? Фореиторами ездили обыкновенно совсем молодые парни, чаще даже — мальчишки. Вот почему: Ларины безвыездно сидели в деревне и далеких путешествий не предпринимали. И вот вдруг — поездка в Москву. Где уж тут обучать нового фореитора! И взяли старого, который ездил еще лет пятнадцать-двадцать назад и с тех пор успел обрасти бородой. Этим «бородатым» фореитором Пушкин отмечает домоседство семьи Лариных». («Записи для себя».)

Еще один пример (приводимый исследовательницей Р.М. Кирсановой): в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» упоминается слуга — «парень лет 17, в красивой рубашке из розовой ксандрейки». Сегодняшний читатель, скорее всего, не придаст особого значения данному описанию, разве что незнакомое слово *ксандрейка* может вызвать некоторые сомнения: ну, название какой-то ткани... Оказывается же, что *ксандрейка* (искаженное в народе *александрийка*) — изготавливавшаяся в России XIX века хлопчатобумажная ткань яркого красного цвета, и Гоголь, как знаток народного быта, не мог этого не знать. Как же тогда понимать эпитет *розовая* в применении к *ксандрейке*? Не означает ли это, что ткань была выгоревшей или застиранной? Но в таком случае весь контекст («красивая рубашка...») приобретает иронический или даже сатирический характер: это слуга, видимо,

считал свою рубашку нарядной. Получается, что одним словом, одним штрихом писатель может сказать о своем герое очень многое, надо только уметь это прочесть!

В качестве знаков в литературном произведении могут выступать не только те или иные словесные детали, подробности поведения или костюма героев, но и целые композиционные фрагменты — «сюжетные ходы». Вот герой, движимый благородной целью, отправляется в странствие. По пути он неоднократно сталкивается с разными препятствиями: его пытаются соблазнить, утратить, убить, он теряет друзей и наживает врагов, порой даже испытывает сомнения в правильности избранного пути. Но в конце концов, в общем-то, побеждает, хотя и выходит из жизненных передрыг перерожденным... Что это за произведение? Конечно, по такой общей сюжетной канве определить это невозможно: сюда подойдет что угодно, начиная от «Одиссеи» или «Дон Кихота» и кончая «Тихим Доном» или даже «Семнадцатью мгновениями весны». И все же задумаемся: разве действительно нельзя обнаружить в этих совершенно разных произведениях каких-то общих композиционных фрагментов? Такие ситуации можно было бы обозначить как «уход из дому», «встреча с антагонистом (неприятелем)», «предупреждение», «трудная ситуация (испытание)», «возвращение» и т.д.

Глубокий исследователь русского фольклора В.Я. Пропп, проанализировав большое количество русских волшебных сказок, пришел к выводу, что все они представляют собой комбинации из весьма ограниченного числа ситуаций, подобных тем, о которых я только что говорил, — он называл их функциями. Композиция сказки есть, собственно, последовательность функций, и это величина устойчивая. Если читатель сталкивается в тексте, скажем, с функцией «бой (сражение)», то для него это сигнал того, что следующей функцией должна быть «победа», а затем наступит «вознаграждение»...

Таким образом, семиотика литературы имеет дело не только с обычными знаками естественного языка — словами, их формами и конструкциями, — но и со своего рода гиперзна-

ками: композиционными фрагментами, деталями сюжета. Вместе с тем план содержания литературного произведения складывается еще и из более мелких языковых элементов. В последнем случае имеются в виду те единицы естественного языка, которые вообще-то в обычной речи не имеют значения, но в художественном произведении «семантизируются», приобретают особый смысл. Это звуки, слоги, строки и т.п.

Каждому школьнику известно, в частности, что поэтический (стихотворный) текст насыщается, инструментруется определенными согласными и гласными («Как журавлиный клин в чужие рубежи...»; «Лодка колотится в сонной груди...»; «Где он, бронзы звон или гранита грань...»). Эти фонетические переключки наводят семантические мосты между словами, сближают их значения. Созвучия, аллитерации (от лат. *ad litteram* ‘к звуку’ — насыщение речи определенными согласными, используемое как стилистический прием) встречаются также в прозе, хотя там они и не столь очевидны. Среди значащих приемов в арсенале писателя используется и оживление так называемой внутренней формы слова (см. раздел 26), т.е. напоминание о его (слова) происхождении. Вспомним хотя бы «говорящие» фамилии в русской литературе: Молчалин и Скалозуб у Грибоедова; Манилов, Собакевич и Коробочка у Гоголя; Онегин и Ленский у Пушкина (а Лермонтов, как бы в продолжение, добавляет к этому «речному» ряду фамилию Печорин)... И каждое из этих имен — на своем месте, каждое выполняет свою функцию. Попробуйте представить, что лермонтовский «герой нашего времени» носил фамилию Собакевич — это совершенно невозможно!

Даже форма и величина букв, длина и расположение строк и т.п. — все это может нести определенную информацию для читателей художественного текста. Известны, в частности, образцы так называемой визуальной поэзии: когда стихотворение своими строками образует очертания, скажем, вазы или женской фигуры. (Большим мастером таких «поэтических картин» был французский поэт Гийом Аполлинер, а из наших современников к ним прибегает Андрей Вознесенский.)

Подытоживая, следует сказать, что литературное произведение представляет собой многослойный и многомерный феномен. И если мы хотим читать роман или поэму не только «вширь», но и «вглубь», если хотим за единицами естественного языка увидеть еще слой специальных литературных и культурных знаков, символов, намеков, то нужно специально учиться этому другому языку, языку словесного искусства. Нужно терпеливо вникать в иную культуру, в иные эпохи и, прежде всего, надо просто допускать, что в произведении сказано что-то помимо того, что прочитывается с первого взгляда. Этому, в сущности, и учит литературо-

LA COLOMBE POIGNARDÉE ET LE JET D'EAU

Douces figures poi^{gnardée} Chères lèvres fleuries
 MIA MAREYE
 YETTE LORIE
 ANNIE et toi MARIE
 où vous êtes
 jeunes filles
 M A T S
 près d'un
 jet d'eau qui
 pleure et qui prie
 cette colombe s'extasie

Tous les souvenirs de *eng-e-u-e* ? Où sont Reynal Billy Dalize
 O mes amis partis en guerre ? Où sont les noms se mélancoliseas
 Saillaient vers le firmament Comme des pas dans une église
 Et vos regards en l'eau dormait Où est Crémontiz qui s'engagea
 Meurent mélancoliquement Où est Crémontiz qui s'engagea
 Où sont-ils Braque et Max Jacob De souvenirs mon âme est pleins
 Dernier aux yeux gris comme l'aube le jet d'eau pleure sur ma peine

CEUX QUI SONT PARTIS A LA GUERRE AU NORD SE BATTENT MAINTENANT
 Le soir tombe sanglante mer
 Jardins où seigneur abondamment le laurier rose Deux guerrières

Я
 башня
 Сухарева
 бойрышья
 суриковская
 пессучинская
 текитски сукровина
 убиненная жазуриками
 с ромбами и кубиками
 На Сухаревой башне
 Иван Великий женится
 В Москве землетрясение
 как брачная кровать
 спайте яйца сооружению
 на белке хоромам
 сто лет стоять
 Иван Великий женится
 на Сухаревой башне
 я ее строитель Челюков
 красные дорожки застелить велите!
 почему ж повалены миллионы тонн?

Ух!
 рух
 С
 вера
 а-а

По Сухаревой башне рыдай, Иван Великий!
 Над Москвой белеет овдовевший стол.

Образцы визуальной поэзии:
 стихотворения Г. Аполлинера «Зарезанная голубка и фонтан»
 и А. Вознесенского «Я башня».

ведение. И не случайно в лучших своих образцах — работах Ю.Н. Тынянова, В.Б. Шкловского, Б.М. Эйхенбаума, Р.О. Якобсона, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана — оно само приближается к искусству: настолько увлекательным оказывается это введение в язык (код) литературы и одновременно открытие «второго дна» у конкретных и без того, казалось бы, понятных текстов. Неудивительно, что, скажем, комментарий того же Ю.М. Лотмана к «Евгению Онегину» составляет целый том, не уступающий по объему самому роману в стихах А.С. Пушкина.

7. Еще одна знаковая система: ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ

К традиционным объектам семиотики относятся сигнальные системы животных, так называемый язык животных. Конечно, речь идет не о способности каких-то животных подражать человеческому языку (хотя некоторые птицы — попугаи, скворцы и др. — могут имитировать человеческую речь, повторяя слова или целые фразы, иногда даже как будто бы к месту), а о системах сигнализации в животном мире, подчас довольно сложных по количеству знаков и разнообразных по материальному воплощению.

Одна из наиболее хорошо изученных сигнальных систем животных — так называемые танцы пчел. Пчела-разведчица, обнаружившая медоносные растения, возвращается с добычей (взятком) к улью и тут, на сотах, кружится в замысловатом танце, выписывает круги и полукружья. Ориентация этих движений по отношению к солнцу должна показать другим летным пчелам направление, в котором следует лететь, а темп танца указывает на расстояние до источника нектара.

«При стометровом расстоянии от места взятка танцовщица совершает около одиннадцати полукружных пробегов в четверть минуты, при полуторастометровом — около девяти, при двухсотметровом — восемь, при трехсотметровом —

семь с половиной и т.д. Чем больше расстояние, чем дальше от улья место добычи, тем медленнее ритм танца на сотах. Когда место взятка удалено на километр, число кружений падает до четырех с половиной, при полуторакилометровом расстоянии — до четырех, а при трехкилометровом — до двух... И одновременно, чем дальше полет, в который вызывает пчел танцовщица, тем чаще производит она во время танца виляние брюшком. При вызове в стометровый полет танцующая пчела при каждом пробеге делает не больше двух-трех виляний, при вызове в полет на двести метров — четыре, на триста — пять-шесть, на семьсот — уже девять-одиннадцать». (*Халифман И.* Пчелы. — М., 1963. — С. 190.)

Очень часто в среде животных используются звуковые сигналы: пение и крики у птиц, свист и визг у грызунов, визг, вой и рычание у хищников и т.п. В частности, исследования показали, что африканские слоны, кроме трубного рева, издают также с помощью своих голосовых связок инфразвуковые сигналы (частотой не более 20 герц). И с расстояния более километра слон способен различить около 150 таких «позывных» своих сородичей.

В целом же в качестве плана выражения языка животных выступают чрезвычайно разнообразные феномены — лишь бы их можно было воспринимать органами чувств. Это звуковые, инфразвуковые и ультразвуковые сигналы, телодвижения (в том числе танцы) и особые позы, окраска и ее изменение, специфические запахи и т.д. Многие животные «метят» своими выделениями облюбованную ими территорию; это знак для других особей: «не заходи, занято»...

Что же составляет план содержания языка животных? Выясняется, что ассортимент передаваемых «смыслов» здесь небогат. Это прежде всего «тревога» (опасность), «угроза» (отпугивание), «покорность» (подчинение), «обладание» (собственность), «свойскость» (принадлежность к тому же сообществу), «сбор» (созывание), «приглашение» (призыв к созданию семьи, к производству потомства)... В частности, в научной литературе подробно описана система звуковой сигнала-

лизации американского желтобрюхого сурка. Она включает в себя восемь различных сигналов — одиночных или комбинированных свистов, визгов, скрежетаний... Но содержание этих сигналов (отметим: разной силы, темпа и тембра) сводится фактически к четырем или пяти «смыслам». Это — «внимание!», «тревога!», «угроза» и «страх или удовольствие». Вот, собственно, и все: суркам просто нечего больше сказать друг другу...

Итак, двусторонность данных единиц не подлежит сомнению: как и у человеческого языка, у языка животных есть свой план выражения и план содержания. Пожалуй, выдерживается также второй важнейший признак знаковых систем — их условность. Хотя в среде животных иконические, изобразительные знаки встречаются чаще, чем в языке человека, все же можно в целом считать, что и здесь определенный план выражения связан со «своим» планом содержания в силу традиции. Так, тревога или готовность к подчинению никак не связана по своей природе с определенным цветом или звуком... О том же говорит и «национальный колорит» языка животных. Какие-нибудь чайки, живущие на Балтике, «не понимают» своих атлантических родичей...

Однако можно ли считать, что данным сигналам присуще и третье важнейшее свойство знаков: преднамеренность? Очевидно, нет. Преднамеренность — проявление разума. Человек, использующий знак, стремится сознательно передать другому человеку информацию. Животное же делает это в силу своих унаследованных инстинктов и приобретенных рефлексов. Поэтому знаковая система животных оказывается закрытой: новых знаков в ней не прибавляется. Человеческий же язык, как известно, постоянно пополняется новыми словами, а также, хотя и реже, новыми морфемами, синтаксическими конструкциями и т.д.

Правда, в последнее время появляются захватывающие публикации о необыкновенных способностях общения у дельфинов и обезьян. Так, знаменитостью стала горилла по имени Коко, с которой практически с грудного возраста занима-

лись американские психологи. В зрелом возрасте обезьяна владела языком жестов и геометрических фигур, с помощью которых могла выразить более 500 понятий. Газеты мира наперебой рассказывали историю о том, как Коко при помощи своих «слов» потребовала от людей подарить ей на день рождения котенка. А когда тот случайно погиб, обезьяна не успокоилась, пока не выпросила — знаками! — у своих воспитателей равноценную ему замену...

Однако сообщения о таких «гениальных» животных в принципе ничего не меняют. Природа животных не рассчитана на общение с человеком, да и между собой им особенно не о чем беседовать. То немногое, что эти существа «имеют сообщить друг другу, может быть выражено и без членораздельной речи» (Ф. Энгельс). Человеческий же язык, выражаясь словами лингвиста А. Мартине, — это «способность сказать все»: люди могут — и стремятся! — говорить на любые темы. Представим себе, что мы попробовали бы при помощи языка животных выразить простые сообщения, например: «Как красив этот лес!», «Завтра, судя по всему, похолодает», «В мясе много белка»... У нас, увы, ничего не получится. Данные системы просто не предназначены для передачи такого рода информации. Животные «говорят» только о себе, а точнее, о том, что с ними происходит в данный момент: ни на прошлое, ни на будущее их коммуникация не распространяется.

Далее, человеческий язык насквозь иерархичен: меньшие единицы служат здесь для организации больших, в конечном счете — текста. А сигналы животных — это готовые «предложения», знаки ситуации, не складывающиеся из элементов и не образующие текста как такового. Есть и иные отличия, позволяющие охарактеризовать язык животных как чрезвычайно своеобразную знаковую систему. Она составляет предмет биосемиотики.

8. Какие единицы человеческого языка являются знаками?

Зададимся вопросом, что в языке человека является знаком? Любая ли единица языка — знак? Нет. Коль скоро, по определению, знак двусторонен (т.е. должен быть доступным восприятию и одновременно содержать значение, смысл), то, скажем, звук — это не знак. И слог — это не знак. Что означает, к примеру, русский звук [ы]? Или слог [са]? Да и нечего они не значат. Эти единицы принадлежат только одной стороне языка: плану выражения. Но и единицы, принадлежащие только плану содержания, также не являются знаками: им для этого тоже не хватает второй стороны. В частности, для сегодняшней лингвистики уже привычен термин *сема* (от греч. *sēma* ‘знак’): это минимальный содержательный элемент, «атом» значения, сочетание которого с другими такими же компонентами образует целый смысл. К примеру, в состав значения слова *стол* входят семы ‘мебель’, ‘состоящий из ножек и горизонтальной плоскости’, ‘служащий для работы, приема пищи’, ‘изготавливаемый обычно из дерева’ и др. Так вот эти семы, равно как и в целом значение слова *стол*, не являются знаками — они представляют собой только фрагменты плана содержания.

Типичным, нормальным, основным знаком в языке является слово. У слова есть свой план выражения — это последовательность определенных звуков. У него есть и план содержания — это, как уже говорилось, совокупность сем (она обозначается термином — *семама*, от того же греческого корня, что и *сема*). Сразу же обратим внимание на то (далее об этом еще будет речь), что членения плана содержания и плана выражения слова не совпадают: они происходят, так сказать, в разных измерениях и независимо друг от друга. «Кусочки» смысла не соответствуют «кусочкам» формы. Например, звуковая последовательность [с] — [т] — [о] — [л] не соотносится с разложением значения ‘стол’ на отдельные семы (нельзя сказать, что элементу [с] соответствует элемент ‘мебель’ и т.п.). Кстати, план содержания вообще труднее

поддается членению, и это естественно: внутренняя структура знака не так очевидна, как устройство его внешней, формальной стороны.

Стол, пятнадцать, Пушкин, вышеупомянутый, отчебучить, клёво — все это знаки, с помощью которых один человек может передать другому разнообразную информацию. Но ведь ту же роль могут играть и целые сочетания слов. Особенно наглядна равноценность слова словосочетанию в тех случаях, когда последнее оказывается устойчивым, фразеологически связанным. Это значит, что какой-то компонент словосочетания или вообще не употребляется без своего привычного «партнера», или в его отсутствие получает иной смысл, ср.: с *бухты-барахты, ходить ходуном, железная дорога, привести в порядок, не подлежит сомнению...* Следовательно, фразеологизмы в плане содержания представляют собой единство, недаром многие из них мы можем заменить словом-синонимом. Например, с *бухты-барахты* означает ‘внезапно, неожиданно’, *не подлежит сомнению* — ‘несомненно’, *скатертью дорога* — ‘убирайся’. Да и со стороны внешней, формальной, они тоже заметно ограничены в своем функционировании. Нельзя, например, сказать «не ходи ходуном» или заменить название *железная дорога* оборотом *дорога из железа* (как можно сделать в случаях с так называемыми свободными сочетаниями: *железная труба* — *труба из железа*). Итак, устойчивые словосочетания — это конечно, тоже знаки.

А если словосочетания менее устойчивы как целое, т.е. их члены более свободны в своих комбинациях, — тогда как? Например, *двадцать пять, ходить в библиотеку, студенческая столовая, ткань в крупную клетку, Александр Сергеевич Пушкин...* Можно ли их считать знаками? Они ведь тоже несут смысл, передают информацию. Конечно, можно было бы считать их к о м б и н а ц и я м и знаков — составляющих их слов. Но, с другой стороны, всегда ли легко свести содержание данных сочетаний к значениям составляющих? Пожалуй, даже *ходить в библиотеку* — это не просто сумма значений глагола *ходить* и предложно-падежной формы в

библиотеку. (Глагол *ходить* ведь имеет и значение ‘функционировать’ (о часах) или ‘ухаживать’ (за больным, за животными) и т.д., которые сразу же «отсекаются» данным контекстом.) Значит, свободные словосочетания можно отнести к знакам особого рода.

Однако и целые предложения (высказывания) тоже обладают своим «неделимым» смыслом, не сводящимся к значениям их отдельных компонентов. Более того, иногда смысл высказывания довольно далеко отстоит от этих значений. Вот простой пример. В квартире раздается звонок, и один член семьи (положим, отец) говорит другому (положим, сыну): «Слышишь, звонок». Или: «Звонят». Что это — констатация факта: ‘кто-то, стоящий за дверью, нажимает на кнопку звонка’? Нет, скорее это просьба или побуждение к действию: ‘пойди, открой дверь!’ Точно так же восклицание: «Регламент!» на собрании или на конференции означает ‘хватит болтать’. Фраза «Вы выходите?» в автобусе или в троллейбусе означает ‘дайте, пожалуйста, пройти’. Возмущенный вопрос: «У тебя совесть есть?» вовсе не требует ответа: «Да, есть» или «Нет, нету», — это просто укор, выражение неодобрения, осуждения каких-то поступков собеседника. И таких примеров в речевой деятельности человека масса. Все это означает, что высказывание (предложение) — это тоже знак, и в каком-то смысле знак отдельный, самостоятельный, независимый от слова.

Некоторые ученые применительно к словосочетанию и предложению говорят о «суперзнаках», «надзнаках» в сравнении с типовым, нормальным знаком — словом. Такая точка зрения удобна тем, что позволяет определить в языке и «субзнаки» (или, если бы можно было так сказать, «недознаки», «подзнаки»). Это тоже двусторонние единицы, только не используемые самостоятельно в качестве названий: они употребляются лишь в составе нормальных знаков — слов. Речь идет о значимых частях слова — м о р ф е м а х: корнях, приставках (префиксах), суффиксах, окончаниях. Скажем, в составе русского существительного *перестройка* можно выделить такие части, как *пере-*, *-строй-*, *-к-*, *-а*, и все они бу-

дуг отвечать таким критериям знака, как двусторонность и конвенциональность. Вот только обладают ли они свойством преднамеренности? Ведь человек при помощи морфем не общается...

Таким образом, наряду с «типовыми», стандартными знаками — словами и фразеологизмами — мы выделяем в языке суперзнаки (словосочетания и предложения) и субзнаки (морфемы), участвующие в процессе передачи информации. В частном случае суперзнак или субзнак может принимать на себя функцию знака как такового. Так, предложение *Волга впадает в Каспийское море* воспринимается нами сегодня уже как целостное выражение со значением ‘банальность, трюизм’, а морфема *-вед-* может употребляться как слово со значением ‘специалист по какому-то предмету’ (ср.: *В зале собрались толстоведы, лермонтоведы и прочие веды*).

В любом случае знак — независимо от «величины» — существует благодаря единству двух своих сторон: плана содержания и плана выражения. Порознь значение и форма оказываются беспомощными и бесполезными, неспособными организовать общение.

9. Развитие языкового знака

Коль скоро общество «подписывает конвенцию», договаривается о форме и содержании каждого знака («как называется этот предмет?» или «что означает данное слово?»), то оно, конечно, не склонно это соглашение тотчас же менять. Конвенция о соответствии данной формы данному значению должна действовать по возможности дольше. И действительно, общество хранит верность традиции. «Мы говорим «человек» и «собака», потому что до нас говорили «человек» и «собака», — эти слова принадлежат великому швейцарскому лингвисту, основателю современной лингвистики Фердинанду де Соссюру.

Может быть, виною всему человеческая лень, инертность, нежелание лишних хлопот? Не только. Конечно, изменить

какую-то из сторон знака, его план содержания или план выражения, нелегко: для этого пришлось бы в какой-то части «переписать конвенцию», уговорить всех людей, общающихся на данном языке, употреблять известное им слово в новом значении или в новой форме. Но главное, — а зачем, собственно, это делать? Зачем, скажем, форме *стол* приписывать новое значение ‘стул’? Или, наоборот значение ‘стол’ выражать новой формой *стул*? Какой в этом смысл? Раз соотношение между двумя сторонами знака, формой и значением, все



Ф. де Соссюр

равно условно, конвенционально, то чем новое соглашение будет лучше старого? Оно ведь тоже будет таким же условным! Поэтому, можно сказать, знак в целом стремится к стабильности, он не просто воспроизводится в готовом виде, но и обладает относительной устойчивостью во времени. Назовем это очередное свойство (после уже рассмотренных в разделе 3 свойств двусторонности, преднамеренности, конвенциональности и обусловленности в системе) к о н с е р в а т и в н о с т ь ю з н а к а .

Но так уж устроен язык, такова его парадоксальная природа, что свойство консервативности знака соседствует со свойством и з м е н ч и в о с т и . Это значит, что, несмотря на все сказанное выше о стабильности языкового знака, соотношение двух его сторон со временем может меняться. Кстати, и только что приведенный пример со словом *стол* мог бы показаться искусственным, надуманным, если бы в языковой реальности такие изменения формы и значения в самом деле

не происходили. В некоторых славянских языках, действительно, звуковая форма [стол] со временем стала означать 'стул' — например, в болгарском. (Кстати, вспомним русское слово *престол*. Какой в нем корень? И что оно обозначает?) В других же славянских языках при неизменности содержания слово *стол* изменило свою форму: так, в польском языке оно стало звучать (в именительном падеже) как [стул]. Не удивительно ли?

Итак, оставаясь на протяжении длительного времени равным, тождественным самому себе как целому, языковой знак вместе с тем постоянно стремится расширить или свой план выражения, или план содержания. Если представить образно знак в виде двухслойного «пирога», то можно было бы сказать, что один слой, одна сторона знака то и дело «сползает» по отношению к другой. Эту закономерность открыл русский ученый С.О. Карцевский и назвал ее а с и м м е т р и е й я з ы к о в о г о з н а к а. В чем тут дело?

Если бы язык не развивался, а оставался во времени неизменным, то, очевидно, и знак сохранялся бы в своих изначально заданных границах. Но язык каждого нового поколения чуть-чуть не тот, что поколения предыдущего. В этом легко убедиться, наблюдая за речью наших дедушек и бабушек. Они употребляют не совсем те слова, что мы, не совсем те обороты речи. Говорят, например, не *расческа*, а *гребенка* или *гребешок*, не *рубашка*, а *сорочка*, не *продуктовый магазин*, а *бакалея*, не *сколько времени*, а *который час*, не *крыша поехала*, а *тронулся умом* или *не в себе* и т.п. Развитие языка, однако, заключается не только в том, что какие-то новые слова возникают, а какие-то старые исчезают, выходят из употребления. Развитие обнаруживается также внутри знака, в изменении соотношения двух его сторон.

Легче всего показать это на примере появления у слова переносных значений. В каждом языке полно таких случаев. Откроем толковый словарь и в объяснении многих слов увидим: «1. ... 2. ... » или « 1. ... 2. ... 3. ... » и т.п. (Кстати, любопытно: в английском словаре таких случаев будет намного больше, чем, скажем, в русском или украинском. Не гово-

рит ли это о том, что мера многозначности слов в разных языках различна?) Вот, к примеру, «Словарь русского языка» С. Ожегова дает: «**Кирпич** — 1. Брусек из обожженной глины, употр. для построек... 2. Изделие в форме такого бруска...». «**Стол** — 1. Предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на высоких опорах, ножках... 2. Питание, пища. *Снять комнату со столом. Диетический стол.* 3. Отделение в учреждении, ведающее каким-н. специальным кругом дел. *Справочный стол. Стол заказов*» и т.д. и т.п.

Но где гарантии, что словарь с исчерпывающей полнотой отражает все переносные значения слова? Скажем, у существительного *кирпич* он не замечает переносного значения ‘дорожный знак, запрещающий проезд’ (ср. в разговорной речи: *въехать под кирпич*), у существительного *стол* — каких-то оттенков, реализующихся в словосочетаниях: *писать в стол* — ‘сочинять без расчета на опубликование’ или *круглый стол* — ‘дискуссия на заранее объявленную тему (политическую, научную и т.п.)’... В сущности, никакой словарь не сможет учесть всех мыслимых случаев расширения плана содержания слова, потому что они происходят постоянно, каждый день, каждую минуту. Более того, говорящий может такого переноса значения не замечать, потому что в его сознании заложены, наряду с лексическими классами, также и общие модели их семантического развития. Скажем, если существительное обозначает исходный материал, то оно регулярно приобретает вторичное значение ‘изделие из этого материала’, ср.: *столовое серебро* (о посуде), *разменять рубль медью* (т.е. медными монетами), *мех всегда в моде* (меховая одежда), *знаменитый чешский хрусталь* (изделия из хрусталя) и т.п. Если существительное обозначает животное, то оно наверняка может использоваться для обозначения человека, напоминающего данное животное какими-то своими качествами, ср.: *медведь, петух, корова, баран, ласточка, орел*. Если существительное обозначает деятельность, процесс, то оно опять-таки регулярно может использоваться для обозначения предмета, связанного с этим процессом, — его объекта, результата, инструмента и т.п., ср.: *остановка* (дви-

гателя) — *остановка* (автобусная); *вязание* (крючком) — *вязание* (бабушкино); *соединение* (частей) — *соединение* (воинское); *пропуск* (посетителей) — *пропуск* (служебный) и т.п. Получается, что расширение плана содержания происходит вполне закономерно: оно протекает «по накатанным рельсам», по готовым образцам. На русском материале пути развития такой регулярной многозначности слова были описаны известным лексикологом Ю.Д. Апресяном. Но, конечно, учесть в словаре все конкретные случаи переноса значения очень трудно.

Итак, знак постоянно стремится стать многозначным, захватить себе новый «кусочек смысла». Вторая сторона знака, формальная, тоже развивается, тоже стремится реализовать свою относительную свободу, расширяться за счет новых вариантов. Изменения плана выражения знака многообразны. Прежде всего, это узаконенное грамматикой фонетическое и морфологическое варьирование слов и их форм, ср. например: *бáржа* — *баржа́*, *пóд ноги* — *под но́ги*, *мхом* — *мохом*, *галoши* — *калоши*, *рукой* — *рукою*, *гармоничный* — *гармонический*, *абхаз* — *абхазец* и т.п. Далее, это всевозможные звуковые чередования, происходящие в корне слова: *нога* — *ноги* ([г] — [г']*), *день* — *дня*, *щель* — *щёлка*, *сжечь* — *сожгу*, *мочь* — *могу* — *можешь*, *прочитать* — *прочеть*, *вести* — *вел* и т.п. Наконец, к вариантам плана выражения можно отнести и речевые искажения формы слова, вызванные разными причинами: действием аналогии, стремлением к сокращению, к экономии речевых усилий и т.п. Ср.: *проволка* вместо *провода*, *наверно* вместо *наверное*, *полувер* вместо *пуловер*, *махашь* вместо *машешь*, *вовнутрь* вместо *внутрь* и т.п.

Крайняя точка, к которой стремится семантическое развитие слова, — это *р а с щ е п л е н и е з н а к а*, появление на его месте двух новых, самостоятельных единиц. Если при этом форма двух новообразовавшихся знаков остается той же самой (одинаковой), а сдвиг в значении бросается в глаза, мы

* *Апостроф*, или надстрочная запятая ('), используется в фонетической транскрипции для обозначения мягкости согласного.

говорим: это о м о н и м ы. К примеру, можно утверждать, что сегодня в русском языке есть два слова *лисичка*: одно обозначает маленькую лису, другое — гриб. (Когда-то же это было единое слово: гриб прозвали так за цветное сходство с лисицей.) Кстати, и приводившееся уже слово *стол* в значении ‘учреждение’ фактически тоже представляет собой омоним по отношению к слову *стол* — ‘разновидность мебели’, их связывают только общие исторические корни. В столе за-казов, строго говоря, может не быть ни одного стола... Вообще, омонимия распространена значительно шире, чем мы думаем, и, конечно же, шире, чем это отражено в словарях. Просто действует определенная психологическая инерция — «гипноз формы»: кажется, что если два слова одинаково пишутся или звучат, то это вроде бы и одно слово — тем более если есть подозрения на их общее происхождение.

Омонимия — один «полюс» в развитии знака, к нему приводит изменение плана содержания, незаметные вначале семантические сдвиги. Другим «полюсом», другим ориентиром в эволюции знака является синонимия. К синонимии приводит изменение формальной стороны.

Очевидный сдвиг формы при сохранении содержания означает на практике переход к совершенно иной звуковой оболочке, т.е. опять-таки к другому слову. Так когда-то древнегерманское имя *Карл*, попадая в разные языки, получало различный вид: в английском — *Чарльз*, во французском — *Шарль*, в испанском — *Карлос*, в польском — *Кароль* и т.п. Сегодня это разные имена, но можно сказать — равнозначные, синонимичные. (Поляки, например, так и говорят о Карле Великом, короле франков, — «Кароль Вельки».) Однако подобное происходит и с именами нарицательными, и в рамках одного языка. Скажем, современные русские слова *сторож* и *страж*, *скользящий* и *склизкий*, *девушка* и *девица* и т.п. восходят к одному и тому же корню. Ныне это разные, хотя и синонимичные слова. От глагола *идти* сегодня образуются формы настоящего времени *иду*, *идешь*... и прошедшего времени *шел*, *шла*... — и мы по праву считаем их образованными от разных корней. Однако когда-то это был один

и тот же корень, просто он до такой степени разошелся в своем плане выражения...

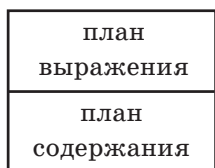
В том же ряду — формального расхождения, «расползания» знака — можно рассматривать и обычные синонимы, не связанные общим происхождением. К примеру, в русском языке XX в. слово *аэроплан* вытеснялись синонимом *самолет*: фактически (при неизменном содержании) на место одной формы пришла другая. Или слово *студень* получило в русском языке синоним *холодец*: опять-таки знак «расползся» в своем плане выражения, превратился в два знака. В белорусском рядом с заимствованным (латинского происхождения) существительным *экзамен* получает распространение родное слово *іспыт...*

М.В. Ломоносов предложил в свое время найти в русском языке замену латинскому по происхождению слову *объект*. Приставка *ob-* в латыни значит ‘перед, к, против, вследствие’, корень *jact(o)* — ‘бросать, метать’. Так получилось у Ломоносова *пред-мет*, а в русском языке, наряду со словом-заимствованием *объект*, появилось слово-калька *предмет* (которое, впрочем, сегодня уже трудно считать полным синонимом к *объекту*). Синонимия, таким образом, есть результат развития формы.

Конечно, общая картина получилась немного упрощенной. (Омонимы, в частности, возникают не только в результате расщепления значения слова, — иногда в одном звучании случайно совпадают ранее совершенно не зависимые друг от друга слова, вроде *брак* ‘дефект, некачественная работа’ и *брак* ‘супружество’*.) Важно однако, что синонимия и омонимия являются результатом развития знака как такового (см. схему). Получается, что знакомые нам со школьной скамьи понятия в глубине своей внутренне взаимосвязаны, и связь эта мотивирована самой природой языковых единиц.

* Первое из этих слов восходит к нем. *brechen* ‘ломать’; второе — исконно славянское, образованное от глагола *брати*.

Знак в статике



Знак в динамике



Теоретически обобщая данную проблему, можно прийти и к выводу о том, что знак сохраняет тождество самому себе, т.е. остается той же самой единицей, до тех пор, пока хотя бы одна его сторона остается неизменной. Если же изменились обе стороны — и план содержания, и план выражения, — то перед нами уже без сомнения иной знак, новая двусторонняя единица.

Таким образом, жизнь слова как типичного языкового знака заключается не просто в его употреблении, но в постоянном варьировании, в «колебании» вокруг некоторой средней величины (которую, собственно, и стремятся уловить составители словарей).

10. Общие правила поведения знака

Некоторых законов функционирования знака мы уже касались, так как они определяются самой природой этого общественного феномена. Упомянулось, в частности, важнейшее правило: знак не существует изолированно, он воспринимается только на фоне других знаков. *Не может быть системы, состоящей только из одного знака.*

Как же быть с теми случаями, когда знак вроде бы не входит ни в какие объединения? Например: свисток судьи вещает о том, что игра окончена. Ученик на уроке, желая ответить, поднимает руку. На асфальте нанесены знаки перехода (так называемая «зебра»). Это же знаки! Но что здесь



М.В. Панов

противостоит конкретным звукам, жестам, изображениям? Это отсутствие знака. Оказывается, что отсутствие знака, «пустое место» — тоже своего рода знак. Свистка нет — значит, можно продолжать игру; ученик не поднимает руку — значит, у него нет желания отвечать; на этом месте нет белых полос — значит, переходить улицу здесь не стоит, небезопасно.

Из данного правила вытекают, по крайней мере, два важных следствия. Первое: план выражения знака может быть никак не представлен материально. Неда-

ром в логических классификациях всегда участвует и «пустая клеточка», отрицание признака. Приведем, вслед за А.М. Пешковским, замечательным русским языковедом, простые примеры.

Классифицируя обезьян, мы можем разделить их на а) хвостатых и б) бесхвостых: отсутствие хвоста — тоже признак! Описывая собравшихся на улице людей по их головным уборам, мы скажем: «Там были люди в шапках, шляпах, кепках, беретах, платках, а еще — с непокрытой головой». Опять: отсутствие признака само есть полноценный классификационный признак. Так мы приходим к понятию минус-знака, или нулевого знака, активно используемому и в современной лингвистике.

Зададимся вопросом: чем выражено значение родительного падежа в форме существительного *стола*? Наверное, любой ученик ответит: окончанием *а*. Значение же именительного падежа в форме *стол* выражено отсутствием окон-

чания, а еще правильней: нулевым окончанием. Какая разница между этими двумя ответами? Одно дело, когда знака просто нет (скажем, в слове *столь* никакого окончания действительно нет, оно не изменяется), другое дело — когда знака нет в сравнении с какими-то другими ситуациями, в которых он присутствует (например: *стол-∅**, но *стола, столу, столом* и т.д.). Вот в таких случаях говорят о нулевом окончании, или нулевой флексии.

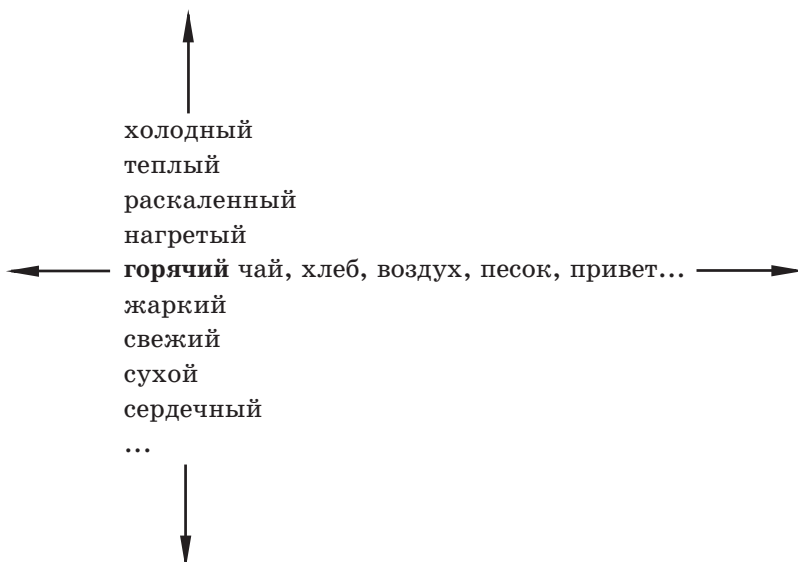
Вторым следствием из упоминавшегося правила является то, что знаки, образно выражаясь, должны беречь друг друга, они нуждаются во взаимной поддержке. Исчезновение одного знака приводит к перестройке («перекройке») всей системы. В частности, если в системе было всего два члена, то отмирание одного из них приведет к исчезновению второго, рухнет все противопоставление. Как выразился московский языковед М.В. Панов, семиотика — это та область, где действует уравнение $2 - 1 = 0$. Оставшийся в одиночестве знак — уже не знак. Пример: в древнерусском языке прилагательные во множественном числе имели категорию рода (мужской, женский, средний) и соответствующие формы. Затем женский род формально объединился со средним, но еще отличался от мужского. Система сократилась до двух членов. Потом и эти значения перестали различаться, но на письме противопоставление мужского и «женско-среднего» рода сохранялось довольно долго. Так, еще в XVIII в. про дома надо было писать: «новые, красивые», а про окна или двери — «новыя, красивыя»... Затем второе окончание (-ия, -ья) отмерло, забылось. В результате не осталось и мужского рода, исчезла (во множественном числе прилагательных) вообще категория рода: сегодня формы *новые, красивые* безразличны к роду!

Составляющие языковую систему знаки входят друг с другом в отношения двоякого рода: либо отношения смежности, следования друг за другом, сочетаемости, либо сход-

* Знак пустого множества (∅) используется в лингвистике для обозначения нулевой морфемы.

ства, взаимозаменяемости, конкуренции. В первом случае мы имеем дело с синтагматическими (от греч. *syntagma* ‘складывание’), во втором — с парадигматическими (от греч. *parádeigma* ‘образец’). Можно сказать, что в первый вид отношений вступают слова-партнеры, во второй — слова-дублиеры. К примеру, слово *горячий* в современном русском языке сочетается со словами *чай, хлеб, воздух, песок, привет, поцелуй* — это его партнеры. В то же время оно не сочетается (по разным причинам и «в разной степени») со словами *лед, сантиметр, ходить, смело* — это тоже синтагматическая характеристика. Дублиерами слова *горячий* (т.е. словами с ним сходными, которые могут находиться в той же самой позиции) можно считать, в частности, *теплый, холодный, раскаленный, нагретый, жаркий, свежий* (хлеб), *сухой* (ветер), *сердечный* (привет) и т.д., и т.п. — вообще говоря, все прилагательные и причастия русского языка...

Часто эти отношения изображают в виде двух пересекающихся осей: горизонтальной (сочетаемость) и вертикальной (взаимозаменяемость). Вот, например, как выглядели бы связи слова *горячий* в русском языке:



Синтагматические и парадигматические отношения (связи) — максимально широкие, всеобъемлющие категории языка. Можно было бы сказать, что кроме них в языке ничего нет: под них подводятся все остальные виды отношений между единицами языка. Так, синонимия и антонимия представляют собой частный случай парадигматических отношений, а, положим, глагольное управление есть реализация синтагматических связей...

Синтагматическими и парадигматическими отношениями связаны между собой не только слова, но и иные единицы языка, в том числе те, которые мы называли «субзнаками» и «суперзнаками». Можно, в частности, поразмышлять о том, в каких связях с себе подобными состоит значимая часть слова — морфема. Скажем, суффикс *-тель* со значением действующего лица (*читатель, строитель, проситель...*) находится в определенных «вертикальных» (т.е. ассоциативных, парадигматических) отношениях с синонимичными суффиксами *-ец* (*стрелец*), *-ок* (*ходок*), *-ун* (*бегун*), *-ист* (*буккинист*), *-арь* (*аптекарь*) и др., а также с другими суффиксами, обозначающими, положим, место или инструмент действия (ср.: *читалка, стрельбище; открывашка, разбрызгиватель...*). Вместе с тем данная морфема вступает в определенные «горизонтальные», линейные отношения с глагольными корнями (*чит-, строй-, прос-* и т.п.), и это уже типично синтагматические связи.

Если бы знаки вступали в какие-то отношения (парадигматические или синтагматические) только с себе подобными, т.е. единицами того же порядка, то мы бы имели дело со сравнительно простой знаковой системой. Но, как указывалось в разделе 7, человеческому языку присущи еще о т н о ш е н и я и е р а р х и и между разными видами знаков. Скажем, морфемы входят в состав слов, слова, в свою очередь, — в состав предложений и т.д. Перед нами, стало быть, система многоярусная. Язык оказывается похожим на слоеный пирог.

Основные составные части языка принято называть уровнями. И это не просто удачная метафора, облегчающая лингвистам описание языка, но и характеристика, отражающая

внутренние свойства самого объекта исследования. В языке выделяются уровни:

фонетики (это звуковой состав языка);

морфемики (совокупность морфем);

лексики вместе с фразеологией (запас слов и устойчивых словосочетаний);

синтаксиса (совокупность моделей и правил, по которым образуются высказывания).

Иногда выделяются и некоторые другие, дополнительные уровни. Так, к уже приведенным определениям языка добавляется еще одно, характеризующее его строение: **язык — это система уровней**. А поскольку каждый из этих уровней определенным образом организован, то можно сказать, что язык — это система систем.

Пока мы рассмотрели общие, универсальные правила функционирования этой «гиперсистемы», но наряду с ними существуют правила и закономерности, определяющие жизнь знаков только какого-то определенного уровня. Иными словами, лексика — не совсем такая же система, как морфемика; у синтаксиса свои особенности по сравнению с лексикой и т.д. И связаны эти различия с разными функциями знаков, «субзнаков» и «суперзнаков» в общей структуре языка. Поэтому мы вернемся к этим частным особенностям языковых подсистем после того, как рассмотрим язык во всем богатстве его функций в обществе.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Предположим, на двери магазина вы видите пять нарисованных в ряд квадратиков одного цвета и два — другого. Что бы это значило? Какие преимущества имеет такая символическая запись перед обычной, словесной? А какие недостатки? Какие свойства знака можно продемонстрировать на данном примере?



2. В антракте театрального спектакля на кресле лежит программка. Что это значит? Та же самая программка осталась лежать на кресле, и когда спектакль закончился, а зал опустел. Значит ли это что-либо? Опишите знаковую сущность данных ситуаций.
3. Когда человек разговаривает по телефону, то он смеется не совсем так, как при обычном (непосредственном) общении, — более громко и выразительно. Почему?
4. Давно замечено: близорукий человек, сняв очки, начинает хуже... слышать. Почему?
5. Среди лиц, пользующихся правом бесплатного проезда в общественном транспорте, фигурируют «военнослужащие в форме». К чему тут эта оговорка: «в форме»? Объясните знаковую сущность военной униформы: что, кому, зачем она сигнализирует?
6. Можно ли считать знаками следующие предметы: а) денежные купюры; б) номерок за сдаваемую в гардероб верхнюю одежду; в) серьгу в ухе; г) авторучку в нагрудном кармане пиджака? Проиллюстрируйте данными примерами основные свойства знака.
7. В русской аудитории студенты выражают свое одобрение и признательность лектору аплодисментами после прочитанной лекции; в немецкой — стуком по столу костяшками пальцев, сложенных в кулак. В чем сходство этих знаков?
8. Представьте себе ситуацию: вы едете в общественном транспорте. Подъезжая к своей остановке, спрашиваете впереди стоящего человека «Вы выходите?» — «Нет», — отвечает он и не двигается с места.
В чем неестественность, «неправильность» данной ситуации? Какова ее лингвистическая природа?
9. Ниже приводится (в несколько упрощенном и сокращенном виде) схема построения (по В.Я. Проппу) одной известной русской сказки. Попытайтесь угадать, что это за сказка.
 1. Начальная ситуация.
 2. Запрет, усиленный обещаниями.
 3. Отлучка старших.
 4. Нарушение запрета (вместе с мотивировкой нарушения).

5. Нанесение вреда через похищение.
 6. Сообщение беды.
 7. Выход из дома в поисках.
 8. Связка: кратковременное появление похитителя.
 9. Появление испытателя.
 10. Диалог с испытателем и испытание.
 11. Заносчивый ответ (невыдержанное испытание).
 12. Утроение: испытание повторяется еще два раза, оба раза реакция отрицательная, и награждения все три раза не происходит.
 13. Появление помощника.
 14. Беспомощное состояние помощника и пощада по отношению к нему.
 15. Связка: диалог.
 16. Благодарный помощник указывает путь.
 17. Жилище антагониста-вредителя.
 18. Облик антагониста.
 19. Появление искомого (похищенного) персонажа.
 20. Добыча с применением хитрости.
 21. Путь назад.
 22. Погоня, преследование.
 23. Вновь трехкратное испытание; реакция героя на сей раз положительная.
 24. Вознаграждение; спасение от погони.
 25. Благополучное возвращение домой.
10. Обычно слова — условные знаки предметов, они не похожи на сами вещи. Приведите примеры исключений — слова, которые п о х о ж и на обозначаемые ими явления.
 11. Слово *нога* в русском языке естественно делится на части так: *но-га*. В школе его делят еще так: *ног-а*. В чем разница между первым и вторым вариантом? А почему не принято деление *н-ога*?
 12. В тексте раздела 9 приводился пример со словом *лисичка*, которое семантически расщепилось на два слова-омонима, хотя формально осталось единым. И все же задумаемся: справедливо ли последнее утверждение? Нельзя ли найти какие-то формальные признаки, различающие существительные *лисичка* — ‘маленькая лиса’ и *лисичка* — ‘разновидность гриба’?

13. Ниже приводится ряд слов из современного молодежного жаргона. Проиллюстрируйте на их примере процессы «сползания» (изменения по отношению друг к другу) плана выражения и плана содержания слова. Какие языковые явления можно наблюдать в результате данных процессов?
- Ящик, колёса, крутой, фанера, тачка, комок, зелёные, торчать.
14. Выберите из следующего ряда примеров формы, в которых присутствует нулевое окончание.
- Опять, прочь, встань, впредь, беж, рожь, настезь, том, там, всем, совсем, рук, руках, рукав, встаньте, брысь, рысь, здесь.
15. Один герой в кинофильме «Осенний марафон» говорит другому: «Ключ!» — и протягивает ему руку ладонью вверх. Что он имеет в виду? Каково содержание этого знака-высказывания? А если бы при этом на ладони лежал ключ — что бы изменилось?
16. Приведите примеры языковых субзнаков. Что мешает им быть полноценными знаками? Приведите примеры суперзнаков. Почему они тоже не считаются нормальными знаками?
17. Покажите на примере русского слова *лоб*, что план содержания и план выражения знака могут изменяться. Независимы ли эти изменения по отношению друг к другу?
18. Английское слово *wash* переводится на русский язык как 1) мыть и 2) стирать. Русское слово *кормить* переводится на английский язык как 1) *feed* (например, кормить животных) и 2) *suckle* или *nurse* (например, кормить грудью). Покажите на этих примерах обусловленность знака другими знаками — членами той же системы.
19. Приведите примеры слов, с которыми вступает в парадигматические и синтагматические отношения русское слово *дом*.
20. Ф. де Соссюр, говоря о двусторонней природе языка, сравнивал его с листом бумаги: «Мысль — его лицевая сторона, а звук — оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную». Что имеется здесь в виду? Покажите на конкретных примерах, что план содержания и план выражения языкового знака членятся автономно, независимо друг от друга.

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

11. Коммуникативная функция

Важнейшей функцией языка является коммуникативная. Коммуникация — значит общение, обмен информацией. Иными словами, язык возник и существует прежде всего для того, чтобы люди могли общаться.

Вспомним два приводившихся выше определения языка: как системы знаков и как средства общения. Нет смысла противопоставлять их друг другу: это, можно сказать, две стороны одной медали. Язык и осуществляет свою коммуникативную функцию благодаря тому, что является системой знаков: по-другому просто нельзя общаться. А знаки, в свою очередь, и предназначены для того, чтобы передавать информацию от человека к человеку.

Собственно, а что значит — информация? Любой ли текст (напомним: это реализация языковой системы в виде последовательности знаков) несет в себе информацию? Очевидно, нет. Вот я, проходя мимо людей в белых халатах, случайно слышу: «Давление упало до трех атмосфер». Ну и что? Три атмосферы — это много или мало? Радоваться надо или, образно говоря, бежать куда подальше? Другой пример. Открыв книгу, мы наталкиваемся, положим, на следующий пассаж: «Деструкция гипоталамуса и верхней части стебля гипофиза в результате неопластической или гранулематозной инфильтрации может обусловить развитие клинической картины НД... При патологоанатомическом исследовании недостаточность развития супраоптических нейронов гипоталамуса

встречалась реже, чем паравентрикулярных; был выявлен также уменьшенный нейрогипофиз». Будто на иностранном языке, не правда ли? Пожалуй, единственное, что мы из данного текста вынесем, — это то, что сия книга не про нас, а для специалистов в соответствующей области знания. Для нас же она информации не несет.

Третий пример. Является ли информативным для меня, взрослого человека, высказывание: «Лошади кушают овес и сено»? Нет. Я это хорошо знаю, это всем хорошо известно, никто в этом не сомневается. Не случайно данное высказывание служит примером банальных, тривиальных, избитых истин: оно никому не интересно. Оно неинформативно.

Таким образом, **информация** — это сведения, доступные для понимания и важные для поведения того, кому они адресованы. Текст будет информативным для меня только тогда, когда я буду готов к его восприятию и когда содержащиеся в нем сведения каким-то образом подействуют на мое поведение. (Это не значит, конечно, что я немедленно куда-то побегу или начну перестраивать в корне свою жизнь. Но, может быть, скажу что-то в ответ или просто задумаюсь о чем-то, заинтересуюсь чем-то, захочу поделиться услышанным с другим человеком и т.д.).

Информация передается в пространстве и во времени. В пространстве — это значит от меня к вам, от человека к человеку, от одного народа к другому... Во времени — значит от вчерашнего дня к сегодняшнему, от сегодняшнего к завтрашнему... И «день» здесь надо понимать не буквально, а фигурально, обобщенно: информация сохраняется и передается из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. (Изобретение письма, книгопечатания, а теперь и компьютера совершило в этом деле революцию.) Благодаря языку осуществляется преемственность человеческой культуры, происходит накопление и усвоение опыта, выработанного предшествующими поколениями. Об этом еще пойдет речь ниже. А пока заметим: человек может общаться во времени и... с самим собой. В самом деле: зачем вам записная книжка — с именами, адресами, днями рождения? Это вы «вчерашний» направили себе «сегодняш-

нему» послание в завтра. А конспекты, дневники? Не надеясь на свою память, человек отдает информацию «на сохранение» языку, а точнее сказать, его представителю — тексту. Он общается с самим собой во времени. Подчеркну: для того чтобы сохранить себя как личность, человек обязательно должен общаться — это форма его самоутверждения. Вот как образно выражает эту мысль писательница Лидия Гинзбург: «Разговор — макет страстей и эмоций; любовь и тщеславие, надежда и злоба находят в нем призрачное осуществление. Разговор — исполнение желаний... В своем диалоге с ближним человек утверждает себя прямо и косвенно, лобовыми и обходными путями — от прямолинейного хвастовства и наивного разговора о себе и своих делах до тайного любования своими суждениями о науке, искусстве, политике, своим остроумием и красноречием, своей властью над вниманием слушателя».

Если же собеседника в наличии не имеется, то человек должен общаться хотя бы с самим собой. (Данная ситуация знакома людям, на долгое время оказавшимся оторванными от общества: заключенным, путешественникам, отшельникам, космонавтам.) Робинзон в известном романе Д. Дефо, пока не встречает Пятницу, начинает разговаривать с попугаем — это лучше, чем сойти с ума от одиночества. А у современного писателя Андрея Битова в повести «Жизнь в ветреную погоду» один персонаж всегда говорит «не из потребности, а для разговора», стремясь таким образом «за неимением общения сохранить хотя бы символ его»...

Мысль о том, что слово в каком-то смысле есть дело, можно теперь уточнить применительно к коммуникативной функции языка. Возьмем простейший случай — элементарный акт общения. Один человек что-то говорит другому: просит его, приказывает, советует, предостерегает... Чем продиктованы эти речевые действия? Заботой о благе ближнего? Не только. Или не всегда. Обычно говорящий имеет в виду какие-то собственные интересы, и это совершенно естественно, такова человеческая природа. Например, он просит собеседника сделать что-то, вместо того чтобы делать это самому. Для него тем самым дело как бы превращается в слово, в речь. Нейро-

психологи утверждают: говорящий человек должен прежде всего подавить, затормозить возбуждение каких-то центров в своем мозгу, отвечающих за движения, за поступки (Б.Ф. Поршнев). Речь оказывается заместителем действия. Ну а второму человеку — собеседнику (или, по-другому, слушающему, адресату), может быть, и не нужно то, что он будет делать по просьбе говорящего (или не вполне ясны причины и основания этого действия), и тем не менее просьбу он выполнит, воплотит слово в реальное дело. А ведь в этом можно увидеть зачатки разделения труда, первоосновы человеческого общества! Именно так характеризует использование языка крупнейший американский лингвист Леонард Блумфилд.



Л. Блумфилд

Он приводит в своей книге «Язык» следующий пример. Предположим, юноша и девушка идут по дороге и девушке хочется есть, она голодна. Взгляд ее падает на яблоню, растущую за забором. Она что-то говорит своему спутнику. Тот перелезает через ограду, срывает яблоко, приносит его девушке, и она утоляет голод. Что для нас интересно в этой немудреной ситуации? У девушки был стимул, потребность в совершении какого-то действия (поступка, реакции). Но она сама ничего не сделала, только с к а з а л а. Поступок же (перелезание через ограду и т.д.) совершил юноша, который (сам по себе) оснований, мотивации для него не имел. Речевой акт позволил перекинуть мост между двумя индивидами, между двумя нервными системами. И ученый приходит к выводу: «Язык позволяет одному человеку осуществить реакцию, когда другой человек имеет стимул».

Итак, стоит согласиться с мыслью: коммуникация, общение с помощью языка — один из важнейших факторов, «сотворивших» человечество.

12. Мыслительная функция

Однако человек говорящий — это человек думающий, и вторая функция языка, теснейшим образом связанная с коммуникативной, есть функция мыслительная (по-другому — когнитивная, от лат. *cognitio* — ‘познание’). Нередко спрашивают: а что важнее, что первичнее — общение или мышление? Наверное, так ставить вопрос нельзя: эти две функции языка обуславливают друг друга. Говорить — значит выражать свои мысли. Но, с другой стороны, сами эти мысли формируются у нас в голове с помощью языка. А если вспомнить о том, что в среде животных язык «уже» используется для коммуникации, а мышления как такового здесь «еще» нет, то можно прийти к выводу о первичности коммуникативной функции. Но точнее сформулировать данный тезис так: *коммуникативная функция воспитывает, «возвращает» мыслительную*. Как это следует понимать?

Одна маленькая девочка по сему поводу сказала: «Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу — тогда узнаю». Поистине, устами младенца глаголет истина. Мы соприкасаемся здесь с важнейшей проблемой формирования (и формулирования) мысли. Стоит еще раз повторить: мысль человека при своем рождении опирается не только на универсальные содержательные категории и модели (в частности, с точки зрения логики, каждое суждение состоит из субъекта и предиката), но и на категории и единицы конкретного языка. Конечно, это не значит, что, кроме словесного мышления, не существует иных форм разумной деятельности. Есть еще мышление образное, знакомое любому человеку, но особенно развитое у профессионалов: художников, музыкантов, артистов... Есть мышление техническое — профессиональное достоинство конструкторов, механиков, чертежников, и опять-таки в той или иной степени не чуждое всем нам. Существует, наконец, мышление предметное — им все мы руководствуемся в массе бытовых ситуаций, от завязывания шнурков на ботинках и до отпираания входной двери... Но основная форма мышления, объединяющая всех людей в подавляющем большинстве

жизненных ситуаций, — это, конечно же, мышление языковое, словесное, вербальное.

Иное дело, что слова и другие единицы языка выступают в ходе мыслительной деятельности в каком-то «не своем» виде, их трудно ухватить, выделить (еще бы: мы ведь думаем значительно быстрее, чем говорим!), и наша «внутренняя речь» (это термин, введенный в науку замечательным отечественным психологом Л.С. Выготским) фрагментарна и ассоциативна. Это значит, что слова здесь представлены какими-то своими «кусочками» и соединяются они между собой не так, как в обычной «внешней» речи, а плюс к тому в языковую ткань мысли вкрапливаются еще образы — зрительные, слуховые, осязательные и т.п. Получается, что структура «внутренней» речи намного сложнее, чем структура речи «внешней», доступной наблюдению. Но все же то, что она обусловлена категориями и единицами конкретного языка, не подлежит сомнению.

Подтверждение этому было получено в разнообразных экспериментах, особенно активно проводившихся в середине XX в. (исследования Н.И. Жинкина, А.Н. Соколова, К. Прибрама и др.). Испытуемого специально «озадачивали» и, пока он — про себя — размышлял над какой-то проблемой, его речевой аппарат исследовали с разных сторон. То просвечивали рентгеновским аппаратом его глотку и ротовую полость, то невесомыми датчиками снимали с губ и языка электрический потенциал... Результат был один: при умственной («немой!») деятельности речевой аппарат человека находился в состоянии активности. В нем происходили какие-то сдвиги, изменения, словом — шла работа!

Еще характернее в этом смысле свидетельства полиглотов, т.е. людей, свободно владеющих несколькими языками. Обычно они без труда определяют в каждый конкретный момент, на каком языке думают. (Причем выбор или смена языка, на который опирается мысль, зависит от обстановки, в которой полиглот находится, от самого предмета мысли и т.п.) Известный болгарский певец Борис Христов, долгие годы живший за границей, считал своим долгом петь арии

на языке оригинала. Он объяснял это так: «Когда я говорю по-итальянски, то и думаю по-итальянски. Когда говорю по-болгарски, то и думаю по-болгарски». Но однажды на представлении «Бориса Годунова» — Христов пел, естественно, по-русски — певцу пришла в голову какая-то мысль по-итальянски. И он неожиданно для себя продолжил арию... на итальянском языке. Дирижер окаменел. А публика (дело было в Лондоне), слава Богу, ничего не заметила...

Известен анекдот про Пушкина: некто поинтересовался его мнением о даме, с которой поэт проговорил весь вечер, — умна ли она? «Не знаю, — отвечал Пушкин, — я ведь с ней говорил по-французски». Такая реакция, конечно, заслуживала бы лингвистического комментария...

Любопытно, что среди писателей, владеющих несколькими языками, редко встречаются авторы, переводящие самих себя. Дело в том, что для настоящего творца перевести, скажем, роман на другой язык — значит не просто переписать его, но *передумать, почувствовать*, написать заново, в согласии с иной культурой, с иным «взглядом на мир». Ирландский драматург Сэмюэл Беккет, нобелевский лауреат, один из родоначальников театра абсурда, создавал каждую свою вещь дважды, сначала на французском, потом на английском. Но при этом настаивал, что речь должна идти о двух разных произведениях. Сходные рассуждения на эту тему можно найти также у Владимира Набокова, писавшего по-русски и по-английски, и у других «двуязычных» писателей. Ю.Н. Тынянов в свое время оправдывался по поводу тяжеловатого стиля некоторых своих статей в книге «Архаисты и новаторы»: «Язык не только передает понятия, но и является ходом их конструирования. Поэтому, например, пересказ чужих мыслей обыкновенно яснее, чем рассказ своих». И, следовательно, чем оригинальнее мысль, тем труднее ее выразить...

Тогда сам собой напрашивается вопрос: если мысль в своем формировании и развитии связана с материалом конкретного языка, то не теряет ли она специфики, глубины при передаче средствами иного языка? Возможен ли тогда вообще

перевод с языка на язык, общение между народами? Дело в том, что поведение и мышление людей при всех особенностях их национального колорита подчиняется некоторым универсальным, общечеловеческим законам. И языки, при всем их разнообразии, тоже базируются на некоторых общих принципах (часть из которых мы уже рассматривали в разделе, посвященном свойствам знака). Так что в целом перевод с языка на язык, конечно же, возможен и необходим, ну а какие-то потери при этом неизбежны. Так же как и приобретения. Шекспир в переводе Пастернака — это уже не только Шекспир, но и Пастернак. Перевод, согласно известному афоризму, есть искусство компромиссов.

Все сказанное приводит нас к выводу: язык — не просто форма, оболочка для мысли, это даже не с р е д с т в о мышления, а скорее его с п о с о б. Сам характер формирования мыслительных единиц и их функционирования в значительной мере зависит именно от языка.

13. Познавательная функция

Третья функция языка — п о з н а в а т е л ь н а я (другое ее название — аккумулятивная, т.е. накопительная). Большая часть того, что знает взрослый человек о мире, пришло к нему с языком, посредством языка. Он, возможно, никогда не был в Африке, но знает, что там есть пустыни и саванны, жирафы и носороги, река Нил и озеро Чад. Он никогда не был на металлургическом комбинате, но имеет понятие о том, как выплавляется железо, а возможно, и о том, как из железа получается сталь. Человек может мысленно путешествовать во времени, обращаться к тайнам звезд или микромира — и всем этим он обязан языку. Его собственный опыт, добытый при помощи органов чувств, составляет ничтожную часть его знаний.

Как же формируется внутренний мир человека? Какова роль языка в этом процессе?

Основной мыслительный «инструмент», с помощью которого человек познает мир, есть п о н я т и е. Понятие образу-

ется в ходе практической деятельности человека благодаря способности его разума к абстрагированию, обобщению. (Стоит подчеркнуть: такие низшие формы отражения действительности в сознании, как ощущение, восприятие, представление, есть и у животных. Собака, например, имеет представление о своем хозяине, о его голосе, запахе, привычках и т.д., но обобщенного понятия «хозяин», равно как и «запах», «привычка» и т.п., у собаки нет.) Понятие отрывается от наглядно-чувственного образа предмета. Это единица логического мышления, привилегия homo sapiens.

Как образуется понятие? Человек наблюдает множество явлений объективной действительности, сравнивает их, выделяет в них различные признаки. Признаки не важные, случайные он «отсекает», отвлекается от них, а признаки существенные складывает, суммирует — и получается понятие. К примеру, сравнивая различные деревья — высокие и низкие, молодые и старые, с прямым стволом и с искривленным, лиственные и хвойные, сбрасывающие листву и вечнозеленые и т.д., — он выделяет в качестве постоянных и существенных следующие признаки: а) это растения (родовой признак), б) многолетние, в) с твердым стеблем (стволом) и г) с ветвями, образующими крону. Так формируется в сознании человека понятие «дерево», под которое подводится все многообразие наблюдаемых конкретных деревьев; оно-то и закрепляется в соответствующем слове: *дерево*. Слово есть типичная, нормальная форма существования понятия. (У животных нет слов — и понятиям, даже если бы для их возникновения были основания, не на что там опереться, не в чем закрепиться...)

Конечно, необходимы некоторые умственные усилия и, наверное, немалое время для того, чтобы понять, что, скажем, каштан под окном и карликовая сосна в горшке, прутик-саженец яблоньки и тысячелетняя секвойя где-то в Америке — это всё д е р е в о. Но именно таков магистральный путь человеческого познания — от отдельного к общему, от конкретного к абстрактному.

Обратим внимание на следующий ряд русских слов: *печаль, огорчать, восхищаться, воспитание, увлечение, обжор-*

дение, отважный, понимать, открыто, сдержанно, ненавидеть, коварный, справедливость, обожать... Можно ли найти в их значениях что-либо общее? Трудно. Разве что все они обозначают некие отвлеченные понятия: психические состояния, чувства, отношения, признаки... Да, это так. Но еще у них в некотором смысле одинаковая история. Все они образованы от других слов с более конкретными, «материальными», значениями. И соответственно стоящие за ними понятия тоже опираются на понятия меньшего (более низкого) уровня обобщения. *Печаль* образовано от *печь* (ведь печаль — жжет!); *огорчать* — от *горький, горечь*; *воспитание* — от *питать, пища*; *увлечение* — от *влечь, волочить* (т.е. ‘тащить за собой’); *справедливость* — от *правый* (т.е. ‘находящийся по правую руку’) и т.д.

Таков в принципе путь семантической эволюции всех языков мира: значения обобщенные, отвлеченные вырастают в них на базе значений более конкретных, или, если так можно выразиться, приземленных. Однако у каждого народа какие-то участки действительности членятся подробнее, чем другие. Хорошо известен тот факт, что в языках народов, населяющих Крайний Север (лопарей, эскимосов), существуют десятки названий для разных видов снега и льда (хотя при этом может не быть обобщенного названия для снега вообще). У арабов-бедуинов различаются десятки наименований для разных видов верблюдов — в зависимости от их породы, возраста, предназначения и т.п. Понятно, что такое разнообразие названий вызвано условиями самой жизни. Например, о языках коренных жителей Африки и Америки известный французский этнограф Л. Леви-Брюль в книге «Первобытное мышление» писал: «Все представлено в виде образов-понятий, т.е. своего рода рисунками, где закреплены и обозначены мельчайшие особенности (а это верно не только в отношении всех предметов, каковы бы они ни были, но и в отношении всех движений, всех действий, всех состояний, всех свойств, выражаемых языком). Поэтому словарь этих «первобытных» языков должен отличаться таким богатством, о котором наши языки дают лишь весьма отдаленное представление».

Однако все это разнообразие не следует объяснять исключительно экзотическими условиями жизни или неодинаковым положением народов на лестнице человеческого прогресса. И в языках, принадлежащих к одной цивилизации, допустим европейской, можно найти сколько угодно примеров различной классификации окружающей действительности. Так, в ситуации, в которой русский скажет просто *нога* («Доктор, я ногу ушиб»), англичанин должен будет выбрать, употребить ли ему слово *leg* или слово *foot* в зависимости от того, о какой части ноги идет речь, от бедра до щиколотки или же о ступне. Аналогичное различие — *das Bein* и *der Fuß* — представлено в немецком языке. Далее, мы скажем по-русски *палец* безотносительно к тому, идет ли речь о пальце на ноге или пальце на руке. А для англичанина или немца это р а з н ы е пальцы, и для каждого из них есть свое наименование. Палец на ноге называется по-английски *toe*, палец на руке — *finger*, по-немецки соответственно *die Zehe* и *der Finger*, при этом, впрочем, большой палец имеет свое особое наименование *thumb* в английском и *der Daumen* в немецком. А действительно ли так важны эти различия между пальцами на руках и на ногах? Нам, славянам, кажется, что общего все-таки больше...

Зато в русском различаются синий и голубой цвета, а для немца или англичанина это различие выглядит столь же несущественным, второстепенным, как для нас, скажем, различие между красным и бордовым цветом: *blue* в английском и *blau* в немецком — это единое понятие «сине-голубой» (см. раздел 3). И бессмысленно ставить вопрос: а какой язык ближе к истине, к реальному положению вещей? Каждый язык прав, ибо имеет право на свое «видение мира».

Даже языки очень близкие, состоящие в тесном родстве, то и дело обнаруживают свою «самостийность». К примеру, русский и белорусский очень сходны между собой, это кровные братья. Однако в белорусском нет точных соответствий русским словам *общение* (его переводят как *адносіны*, т.е., строго говоря, ‘отношения’, или как *зносіны*, т.е. ‘сношения’) и *ценитель* (его переводят как *знаток*, или как *аматар*, т.е.

‘любитель’, а это не совсем одно и то же)... Зато с белорусского на русский трудно перевести *шчыры* (это и ‘искренний’, и ‘настоящий’, и ‘дружелюбный’) или *плён* (‘урожай’? ‘успех’? ‘результат’? ‘результативность’?)... И таких слов набирается немало.

Очевидно, что язык оказывается для человека готовым классификатором объективной действительности: он как бы прокладывает рельсы, по которым движется поезд человеческого знания. Но вместе с тем язык навязывает свою систему классификации всем участникам данной конвенции — с этим тоже трудно спорить.

По выражению американского лингвиста Эдварда Сепира, «слова не только ключи, они могут стать и оковами». Если бы нам с малых лет твердили, что палец на руке — это одно, а палец на ноге — совсем другое, то к зрелому возрасту мы, наверное, были бы уже убеждены в справедливости именно такого членения действительности. И добро бы речь шла только о пальцах или там о конечностях, — мы соглашаемся «не глядя» и с иными, более важными пунктами «конвенции», которую подписываем.

В конце 60-х годов на одном из островов Филиппинского архипелага (в Тихом океане) было обнаружено племя, жившее в условиях каменного века и в полной изоляции от остального мира. Представители этого племени (они называли себя *тасадаи*) даже не подозревали, что, кроме них, на Земле есть еще разумные существа. Когда ученые и журналисты вплотную занялись описанием мира тасадаев, их поразила одна особенность: в языке племени вообще не было слов типа «война», «враг», «ненавидеть»... Тасадаи, по выражению



Э. Сепир

одного из журналистов, «научились жить в гармонии и согласии не только с природой, но и между собой». Конечно, можно объяснить этот факт так: исконное дружелюбие и доброжелательность данного племени нашли свое естественное отражение в языке. Но ведь и язык не стоял в стороне от общественной жизни, он накладывал свой отпечаток на формирование моральных норм данного сообщества: откуда было узнать новоиспеченному тасадаю о войнах и убийствах? Мы же, с нашими языками, подписали иную информационную «конвенцию»...

Итак, язык воспитывает человека, формирует его внутренний мир — в этом суть познавательной функции языка. Причем проявляться данная функция может в самых что ни на есть неожиданных конкретных ситуациях. Американский лингвист Бенжамен Ли Уорф, ученик и коллега Э. Сепира, приводил примеры из своей практики (он работал когда-то инженером по технике противопожарной безопасности). На складе, где хранятся бензиновые цистерны, люди ведут себя осторожно: не разводят огня, не щелкают зажигалками... Однако те же самые люди ведут себя по-другому на складе, о котором известно, что здесь хранятся пустые (по-английски *empty*) бензиновые цистерны. Здесь они проявляют беспечность, могут закурить сигарету и т.п. А между тем пустые цистерны из-под бензина намного взрывоопаснее, чем полные: в них остаются пары бензина. Почему же люди ведут себя так неосторожно? — спрашивал себя Уорф. И отвечал: потому что их успокаивает, вводит в заблуждение слово *пустой*, имеющее несколько значений (например, такие: 1) «не содержащий в себе ничего (о вакууме)», 2) «не содержащий в себе чего-то»...). И люди неосознанно как бы подменяют одно значение другим. Из подобных фактов выросла целая лингвистическая концепция — теория лингвистической относительности, или гипотеза Сепира—Уорфа, утверждающая, что человек живет не столько в мире объективной действительности, сколько в мире языка...

Значит, язык может быть причиной недоразумений, ошибок, заблуждений? Да. Мы уже говорили о консерватизме как изначальном свойстве языкового знака. Человек, подписав-

ший «конвенцию», не очень-то склонен затем ее менять. И потому языковые классификации сплошь и рядом расходятся с классификациями научными (более поздними и более точными). Мы, например, делим весь живой мир на животных и растения, а систематологи говорят, что такое деление примитивно и неправильно, ибо существуют еще, по крайней мере, грибы и микроорганизмы, которых нельзя отнести ни к животным, ни к растениям. Не совпадает с научным наше «бытовое» понимание того, что такое минералы, насекомые, ягоды, — чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в энциклопедический словарь. Арахис — это, оказывается, не орешки, а бобы. Банановое дерево — не дерево, а трава (каждый лист растет самостоятельно из земли). Бамбук — злак, родственник овсу. Паук не относится к насекомым... Все это заставляет говорить о существовании наряду с научными понятиями также понятий бытовых, стихийных. Вот, скажем, вода. С точки зрения науки это природное соединение атомов водорода и кислорода, имеющее определенные физико-химические свойства. А обычный человек может об этом никакого понятия не иметь! Для него вода — это прозрачная жидкость, используемая для питья, мытья, приготовления пищи. Значения слов (как они даются в словарях) пытаются как бы совместить научные понятия с бытовыми, хотя удается это не всегда...

Это касается не только частных классификаций и определений. Так, Коперник еще в XVI в. доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а язык до сих пор сохраняет предыдущую точку зрения. Мы ведь говорим: «Солнце всходит, солнце заходит...» — и даже не замечаем этого анахронизма. Из этого, однако, не следует, что язык только тормозит прогресс человеческого знания. Он может, наоборот, активно способствовать его развитию. Один из крупнейших японских политиков современности, Дайсаку Икэда, считает, что именно японский язык был одним из основных факторов, содействовавших быстрому возрождению послевоенной Японии: «В освоении современных научно-технических достижений, которые длительный период шли к нам из стран Европы и

США, огромная роль принадлежит японскому языку, заключенному в нем гибкому механизму словообразования, позволяющему мгновенно создавать и легко овладевать тем поистине огромным количеством новых слов, которые понадобились нам для усвоения массы хлынувших извне понятий». О том же писал когда-то французский языковед Жозеф Вандриес: «Язык гибкий и подвижный, в котором грамматика сведена к минимуму, показывает мысль во всей ее ясности и разрешает ей двигаться свободно, язык негибкий и тяжеловесный стесняет мысль».

Оставив в стороне спорный вопрос о роли грамматики в процессах познания (что значит в приведенной цитате «грамматика сведена к минимуму»?), все же не стоит переживать за тот или иной конкретный язык или скептически оценивать его возможности. На практике каждое средство общения соответствует национальному «взгляду на мир» и с достаточной полнотой обеспечивает коммуникативные потребности данного народа.

14. Номинативная функция

К чрезвычайно важным относится *номинативная*, или назывная функция языка. Размышляя в разделе 13 о функции познавательной, мы фактически касались и функции номинативной. Дело в том, что *называние составляет неотъемлемую часть познания*. Человек, обобщая массу конкретных явлений, отвлекаясь от их случайных признаков и выделяя существенные, испытывает потребность закрепить полученное знание в слове. Так появляется название. Если бы не оно, понятие так и осталось бы бесплотной, умозрительной абстракцией. А при помощи слова человек может как бы «застолбить» обследованную часть окружающей действительности, сказать себе: «Это я уже знаю», повесить табличку-название и отправиться дальше.

Следовательно, вся та система понятий, которой обладает современный человек, покоится на системе названий. Лег-

че всего показать это на примере имен собственных. Попробуем-ка из курсов истории, географии, литературы выбросить все имена собственные — все антропонимы (это значит имена людей: *Александр Македонский, Колумб, Петр I, Мольер, Афанасий Никитин, Сент-Экзюпери, Дон Кихот, Том Сойер, дядя Ваня...*) и все топонимы (это названия местностей: *Галактика, Северный полюс, Троя, Город Солнца, Ватикан, Волга, Освенцим, Капитолийский холм, Черная речка...*). Что останется от этих наук? Очевидно, тексты обесмыслятся, читатель сразу же потеряет ориентацию в пространстве и во времени.

А ведь названия — это не только имена собственные, но также и имена нарицательные. Терминология всех наук — физики, химии, биологии и т.д. — это всё названия. Атомную бомбу и ту нельзя было бы создать, если бы на смену античному понятию «атом» (в древнегреческом *a-tomos* букв. 'неделимый') не пришли новые понятия: нейтрон, протон и другие элементарные частицы, расщепление ядра, цепная реакция и т.д. И все они закреплялись в словах!

Известно характерное признание американского ученого Норберта Винера о том, как научная деятельность его лаборатории тормозилась отсутствием соответствующего названия для данного направления поиска: неясно было, чем сотрудники этой лаборатории занимались. (Кто-то интересовался поведением животных, кто-то — функционированием сложных механизмов; кто-то занимался процессами, протекающими в человеческих коллективах, а кто-то подыскивал всему этому математическое обеспечение...) И только когда в 1947 г. вышла в свет книга Винера «Кибернетика» (ученый придумал это название, взяв за основу греческое слово со значением 'кормчий, рулевой'), новая наука семимильными шагами устремилась вперед.

Итак, номинативная функция языка служит не просто для ориентации человека в пространстве и времени, она идет рука об руку с функцией познавательной, участвуя в процессе познания мира. Но человек по своей природе прагматик, он ищет прежде всего практической пользы от своих дел. Это значит, что он не будет называть подряд все окружающие

предметы в расчете на то, что эти названия когда-нибудь да пригодятся. Нет, он пользуется номинативной функцией с умыслом, избирательно, называя в первую очередь то, что для него ближе и важнее всего.

Вспомним для примера названия грибов в русском языке: сколько их мы знаем? *Белый гриб (боровик), подберезовик* (его часто называют еще *бабкой*), *подосиновик (красноголовик), груздь, рыжик, масленок, лисичка, опенок, сыроежка, волнушка...* — не меньше десятка наберется. Но это все полезные, съедобные грибы. А несъедобные? Пожалуй, только два вида мы и различаем: *мухоморы* и *поганки* (ну, не считая еще некоторых ложных разновидностей: *ложные опята* и т.п.). А между тем биологи утверждают, что разновидностей несъедобных грибов значительно больше, чем съедобных! Просто они человеку не нужны, неинтересны (если не считать узких специалистов в этой области) — так зачем же впустую тратить время и забивать себе голову?

Отсюда вытекает одна закономерность. В любом языке обязательно есть л а к у н ы, т.е. дыры, пустые места в картине мира. Иными словами, что-то обязательно должно быть не названо — то, что человеку (пока еще) не важно, не нужно... Взглянем в зеркало на хорошо нам знакомое собственное лицо и спросим: это что такое? *Нос*. А это? *Губа*. А что между носом и губой? *Усы*. Ну, а если усов нет, — как это место называется? В ответ — пожимание плечами (или лукавое «Место между носом и губой»). Ну, хорошо, еще вопрос. Это что такое? *Лоб*. А это? *Затылок*. А что между лбом и затылком? В ответ: *голова*. Нет, голова — это все в целом, а как называется данная часть головы, между лбом и затылком? Мало кто вспомнит название *темя*, чаще всего ответом будет то же пожимание плечами. Еще задача. Растопырьте пальцы. Как они называются? Правильно: *большой, указательный, средний* и т.д. А как называются промежутки (выемки) между пальцами? Никак специально не называются... Да, что-то должно не иметь названия.

И еще одно следствие вытекает из сказанного. Для того чтобы предмет получил название, нужно, чтобы он вошел в обще-

ственный обиход, перешагнул через некоторый «порог значимости», выделился в самостоятельное понятие. До каких-то пор еще можно было обходиться случайным или описательным названием, а с этих пор уже нельзя — нужно отдельное имя.

Любопытно, например, с этой точки зрения, понаблюдать за развитием средств (орудий) письма. История слов *перо*, *ручка*, *авторучка*, *карандаш* и т.п. отражает развитие фрагмента человеческой культуры, формирования соответствующих понятий в сознании носителя русского языка. Помню, как в 60-е годы в СССР появились первые фломастеры. Тогда они были еще редкостью, их привозили из-за границы, и возможности их использования были еще не вполне ясны. Постепенно эти предметы стали обобщаться в особое понятие, но еще долго не имели четкого наименования. (Бытовали названия «плакар», «волоknистый карандаш», да и в написании наблюдались варианты: *фломастер* или *фламастер*?) Сегодня фломастер — уже «отстоявшееся» понятие, прочно закрепившееся в соответствующем названии. Но вот уже совсем недавно, в конце 80-х, появились новые, несколько отличные орудия письма. Это, в частности, автоматический карандаш со сверхтонким (0,5 мм) грифелем, выдвигающимся щелчками на определенную длину, затем шариковая ручка (опять-таки со сверхтонким наконечником), пишущая не пастой, а чернилами или цветным гелем, и т.п. Как они называются? Да пока что — в русском языке — никак. Их можно охарактеризовать только описательно: приблизительно так, как это сделано в данном тексте. Они еще не вошли широко в быт, не стали фактом массового сознания, а значит, можно пока еще обойтись без специального наименования.

Отношение человека к названию вообще непросто. С одной стороны, со временем название привязывается, «прикипает» к своему предмету, и в голове у носителя языка возникает иллюзия исконности, «природности» наименования. Имя становится представителем, даже заместителем предмета. (Еще древние люди верили, что имя человека внутренне связано с ним самим, составляет его часть. Если, скажем, нанести вред имени, то пострадает сам человек. Отсюда про-

истекал запрет, так называемое табу́, на употребление имен близких родственников или вождя племени.)

С другой стороны, участие имени в процессе познания порождает иллюзию: «если знаешь название — знаешь и предмет». Допустим, мне знакомо слово *суккулент* — следовательно, я знаю, что это такое. Или я слышал где-то слово *инкунабула* — стало быть, мне знаком и сам предмет. Об этой своеобразной магии термина хорошо писал Ж. Вандриес: «Знать имена вещей — значит иметь над ними власть... Знать название болезни — это уже наполовину вылечить ее. Нам не следует смеяться над этой первобытной верой. Она живет еще в наше время, раз мы придаем значение форме диагноза. «У меня очень голова болит, доктор». — «Это цефалалгия». «У меня плохо работает желудок». — «Это диспепсия». Этот мольеровский диалог повторяется каждый день в приемных врачей... Но ведь врач ограничивается, в сущности, тем, что подставляет таинственное слово на место обычного слова, понятного для всех больных. А больные чувствуют себя уже лучше только оттого, что представитель науки знает название их тайного врага». («Язык. Лингвистическое введение в историю».)

Действительно, нередко в научных дискуссиях споры по существу предмета подменяются войной названий, противоборством терминологий. Диалог идет по принципу: скажи мне, какие термины ты употребляешь, и я скажу тебе, к какой школе (научному направлению) ты принадлежишь...

Вообще вера в существование единственно правильного наименования распространена шире, чем мы это себе представляем. Вот как сказал поэт:

Когда мы уточним язык
И камень назовем как надо,
Он сам расскажет, как возник,
В чем цель его и где награда.
Когда звезде подыщем мы
Ее единственное имя —
Она, с планетами своими,
Шагнет из немоты и тьмы...

А. Аронов

Не правда ли, это напоминает слова старого чудака из анекдота: «Я все могу себе представить, все могу понять. Я даже понимаю, как люди открыли такие далекие от нас планеты. Я одного только не могу взять в толк: откуда они узнали их имена?»

Конечно, не стоит переоценивать силу имени, и тем более нельзя ставить знак равенства между вещью и ее названием. Так можно прийти к выводу, что все наши беды проистекают от неправильных наименований и стоит лишь поменять имена, как все тут же поправится. Такое заблуждение, увы, достаточно распространено. Стремление к повальному переименованию особенно заметно в периоды социальных потрясений. Переименовываются города и улицы, месяцы календаря, вместо одних воинских званий вводятся другие, милиция становится полицией (или, в других странах, наоборот!), техникумы и институты в мгновение ока переименовываются в колледжи и академии... Такова вера человека в название!

15. Регулятивная функция

Регулятивная функция объединяет те случаи использования языка, когда говорящий стремится непосредственно воздействовать на адресата: побудить его к какому-то действию или запретить ему что-либо делать, заставить ответить на вопрос и т.д. Ср. такие высказывания, как: *Который час? Хочешь молока? Позвоните мне, пожалуйста, завтра. Все на митинг! Чтoб я этого больше не слышал! Ты возьми с собой мою сумку. Не надо лишних слов...* Очевидно, в распоряжении регулятивной функции находятся многообразные лексические средства и морфологические формы (особую роль тут играет категория наклонения), а также интонация, порядок слов, синтаксические конструкции и т.п. Регулятивная функция тесно связана с коммуникативной; обе они имеют основанием противопоставление адресанта речи (говорящего) ее адресату (слушающему).

Интересно, что различного рода побуждения — просьба, приказ, предостережение, запрет, совет, убеждение и т.п. — не всегда оформляются как таковые, т.е. выражаются при помощи «собственных» языковых средств. Иногда они выступают в чужом обличье, с использованием языковых единиц, обслуживающих обычно иные цели. Так, обращенную к сыну просьбу не приходить домой поздно мать может выразить непосредственно, с использованием формы повелительного наклонения («Не приходи сегодня поздно, пожалуйста!»), а может замаскировать ее под вопрос («Во сколько ты собираешься вернуться?»), а также под упрек, предупреждение, констатацию факта и т.д.; сравним такие высказывания, как «Вчера ты опять поздно пришел...» (с особой интонацией), «Смотри, теперь рано темнеет», «Метро работает до часу, не забудь», «Я буду очень волноваться» и т.п.

В конечном счете регулятивная функция направлена на создание, поддержание и регулирование отношений в человеческих микроколлективах, т.е. в той реальной среде, в которой обитает носитель языка. Иногда вместе с регулятивной функцией рассматривают также функцию ф а т и ч е с к у ю (от греч. *phatos* ‘сказанный’), или контактоустанавливающую. Имеется в виду, что человеку всегда нужно определенным образом вступить в разговор (окликнуть собеседника, поприветствовать его, напомнить о себе и т.п.) и выйти из разговора (попрощаться, поблагодарить и т.п.). Но разве установление контакта сводится к обмену фразами типа «Здравствуй» — «До свидания»? Фатическая функция значительно шире по сфере применения, и поэтому ее сложно отграничить от функции регулятивной.

Попробуем вспомнить: о чем мы говорим в течение дня с окружающими? Что, это все информация жизненно важная для нашего благополучия или непосредственно влияющая на поведение собеседника? Да нет, большей частью это разговоры, казалось бы, «ни о чем», о пустяках, о том, что и без того известно собеседнику: о погоде и об общих знакомых, о политике и о футболе у мужчин, об одежде и детях у женщин; теперь к ним прибавились еще комментарии к телесериа-

лам... Не надо относиться к таким монологам и диалогам иронически и высокомерно. На самом деле это разговоры не о погоде и не о «тряпках», а друг о друге, о нас с вами, о людях. Для того чтобы занять, а затем поддерживать определенное место в микроколлективе (а таковым является семья, круг друзей, производственный коллектив, соседи по дому, даже спутники по купе и т.д.), человек обязательно должен разговаривать с другими членами данной группы.

Даже если вы случайно оказались вместе с кем-то в кабине движущегося лифта, то, возможно, почувствуете некоторую неловкость и повернетесь спиной: расстояние между вами и вашим спутником слишком мало, чтобы делать вид, что вы не замечаете друг друга, а завязывать разговор тоже, в общем-то, не имеет смысла — не о чем, да и ехать слишком недолго... Современный российский прозаик Валерий Попов сделал тонкое наблюдение: «По утрам мы все вместе поднимались в лифте... Лифт поскрипывал, шел вверх, и все в нем молчали. Все понимали, что нельзя так стоять, что надо что-то сказать, быстрее что-то сказать, чтобы разрядить это молчание. Но говорить о работе было еще рано, а о чем говорить, — никто не знал. И такая в этом лифте стояла тишина, хоть выпрыгивай на ходу».

В коллективах же относительно постоянных, долговременных, установление и поддержание речевых контактов — важнейшее средство регулирования отношений. Вот, к примеру, вы встречаете на лестничной площадке соседку Марию Ивановну и говорите ей: «Доброе утро, Марья Иванна, что-то вы сегодня рано...» У этой фразы — двойное дно. За ее «внешним» смыслом прочитывается: «Напоминаю, Мария Ивановна, я — ваш сосед и хотел бы по-прежнему оставаться с вами в добрых отношениях». Ничего лицемерного, лживого в подобных приветствиях нет, таковы правила общения. И все это очень важные, просто необходимые фразы. Образно можно сказать так: если вы сегодня не похвалите новые бусы своей подруги, а она, в свою очередь, завтра не поинтересуется, как развиваются ваши отношения с неким общим знакомым, то через пару дней между вами, возможно, пробежит легкий

холодок, а через месяц вы, может быть, и вовсе потеряете свою подругу... Не хотите поставить эксперимент? Поверьте на слово.

Причем в одних ситуациях нормы межличностного общения регламентируются более жестко, а в других — мягче; эти особенности иногда окрашены и национальной спецификой. Примером могут послужить правила разговора по телефону. Если в Германии звонит телефон, то первое, что делает снимающий трубку, — это называет себя по фамилии; нельзя начинать разговор со слов типа «Алло!» или «Да?». Если же разговор происходит в Японии, то, кроме того чтобы в первую очередь назвать себя, говорящий и слушающий обязаны соблюдать еще массу других правил. Например: позвонив, необходимо выяснить, может ли собеседник в данный момент разговаривать с вами; нельзя употреблять лишние слова и слова, которые могут привести к искаженному пониманию; нельзя употреблять, говоря о себе или своих начальниках, так называемые слова вежливости; первым закончить разговор может только звонивший и т.п.

Необходимо подчеркнуть: общение с родственниками, друзьями, соседями, спутниками, сослуживцами нужно не только для поддержания определенных отношений в микроколлективах, оно важно и для самого человека — для самоутверждения, для реализации его как личности. Дело в том, что индивид играет в обществе не только некоторую постоянную социальную роль (например: «домохозяйка», «школьник», «ученый», «шахтер» и т.п.), но и все время примеряет к себе разные социальные «маски», например: «гость», «пассажир», «больной», «советчик» и т.п. И весь этот «театр» существует главным образом благодаря языку: для каждой роли, для каждой маски есть свои речевые средства.

Разумеется, регулятивная и фатическая функции языка направлены не только на улучшение отношений между членами микроколлектива. Иногда человек, наоборот, прибегает к ним в «репрессивных» целях — для того, чтобы отдалить, оттолкнуть от себя собеседника. Иными словами, язык используется не только для взаимных «поглаживаний» (это

принятый в психологии термин), но также для «уколов» и «ударов». В последнем случае мы имеем дело с выражениями угрозы, оскорблениями, ругательствами, проклятиями и т.п. И опять-таки лишь общественная конвенция устанавливает, что считать грубым, оскорбительным, унижительным для собеседника. В русскоязычном уголовном мире одно из самых сильных, смертельных оскорблений — «козел!», а в аристократическом обществе XIX в. слова *подлец* было достаточно для того, чтобы вызвать обидчика на дуэль. Сегодня же языковая норма становится мягче и планка репрессивной функции поднимается достаточно высоко. Это значит, что человек воспринимает как оскорбительные только очень сильные средства. Впрочем, в одном из номеров «Комсомольской правды» некий читатель жаловался: «Мой городской сосед постоянно оскорбляет меня, деревенского жителя, похабным словом «абориген» и гнусно смеется при этом»...

Кроме рассмотренных выше языковых функций — коммуникативной, мыслительной, познавательной, номинативной и регулятивной (к которой мы приплюсовали фатическую), — можно выделять еще другие общественно значимые роли языка. В частности, э т н и ч е с к а я функция означает, что язык объединяет этнос (народ), она помогает сформироваться национальному самосознанию. К о р п о р а т и в н а я функция объединяет людей в классы и группы (по принципу «Он говорит, как мы, значит, он — один из нас»). Э с т е т и ч е с к а я функция превращает текст в произведение искусства, это сфера творчества, художественной литературы (см. раздел 6). Э м о ц и о н а л ь н о - э к с п р е с с и в н а я функция позволяет человеку выражать в языке свои чувства, ощущения, переживания... М а г и ч е с к а я (или заклинательная) функция реализуется в особых ситуациях, когда язык наделяется как бы надчеловеческой, «потусторонней» силой. Примерами могут служить заговоры, божбы, клятвы, проклятия и некоторые иные ритуальные виды текстов.

И все это — еще неполный «круг обязанностей» языка в человеческом обществе.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Определите, какие функции языка реализуются в следующих высказываниях.
 - а) Апрелька (*вывеска на здании железнодорожной станции*).
 - б) Переучет (*табличка на двери магазина*).
 - в) Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович (*учитель, входя в класс*).
 - г) Равносторонний прямоугольник называется квадратом (*из учебника*).
 - д) «Я в среду не приду на тренировку, не смогу». — «Надо, Федя, надо» (*из разговора на улице*).
 - е) Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! (*из квартирной перебранки*).
 - ж) Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных (*О. Мандельштам*).
2. В одном фильме «из заграничной жизни» герой спрашивает служанку:
— Миссис Майонз дома?
И получает ответ:
— Ваша мать в гостиной.
Почему спрашивающий называет свою мать так официально «миссис Майонз»? И почему служанка в своем ответе выбирает иное наименование? Какие функции языка реализуются в данном диалоге?
3. Какие языковые функции реализуются в следующем диалоге из повести В. Войновича «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина»?
Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на ясное небо и сказал:
— Сегодня, видать по всему, будет вёдро.
— Будет вёдро, если не будет дождя, — сказал Леша.
— Без туч дождя не бывает, — заметил Чонкин.
— А бывает так, что и тучи есть, а дождя все равно нету.
— Бывает и так, — согласился Леша.
На этом они и расстались.
4. Прокомментируйте следующий диалог двух персонажей романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна».

— ...А вот если подойдет к тебе человек и спросит: «Парле ву франсе?» — ты что подумаешь?

— Ничего не подумаю, возьму да и тресну его по башке...

Какие языковые функции «не срабатывают» в данном случае?

5. Очень часто человек начинает разговор со слов типа *послушай(те)*, *знаешь ли (знаете ли)* или с обращения к собеседнику по имени, хотя рядом с тем никого нет, так что это обращение тоже не имеет особого смысла. Для чего говорящий это делает?
6. Физика учит: основных цветов солнечного спектра с е м ь: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А между тем самые простые наборы красок или карандашей включают в себя ш е с т ь цветов, и это другие составляющие: черный, коричневый, красный, желтый, зеленый, синий. (При «расширении» набора появляются голубой, оранжевый, фиолетовый, лимонный и даже белый...) Которая из этих картин мира в большей степени отражена в языке — «физическая» или «бытовая»? Какими языковыми фактами это можно подтвердить?
7. Перечислите названия пальцев на руке. Все ли названия одинаково быстро приходят вам в голову? С чем это связано? А теперь перечислите названия пальцев на ноге. Какой отсюда следует вывод? Как это согласуется с номинативной функцией языка?
8. Покажите на себе, где находится у человека голень, щиколотка, лодыжка, запястье. Легким ли для вас оказалось это задание? Какой отсюда следует вывод о соотношении мира слов и мира вещей?
9. Перечислите названия дней недели в русском языке. А как называются н о ч и? Почему для них нет специальных (однословных и устойчивых) наименований?
10. Сравните следующие названия одного и того же предмета в современной русской речи: *сотовый телефон, мобильный телефон, сотовик, мобильник, мобил, мобила, труба, трубка*. Как вы считаете, о чем говорит множественность этих названий?

11. В языке действует закон: чем чаще слово употребляется в речи, тем в принципе шире его значение (или, по-другому, тем больше у него значений). Как можно обосновать это правило? Покажите его действие на примере следующих русских существительных, обозначающих части тела: *голова, лоб, пятка, плечо, запястье, щека, ключица, рука, ступня, нога, поясница, висок*.
12. Человека высокого и крупного по-русски могут назвать примерно такими словами: *исполин, великан, атлант, богатырь, гигант, колосс, Гулливер, Геракл, Антей, верзила, дылда, амбал, слон, шкаф...* Представьте себе, что вам поручено подобрать название для нового магазина готовой одежды больших размеров (от 54-го и выше). Какое (или какие) название вы выберете и почему?
13. Попробуйте определить, какие понятия лежат исторически в основе значений следующих русских слов: *поручительство, допотопный, буквально, возвещать, отвратительный, сдержанно, раскрепощенно, сличать, распределение, недоступный, покровительство, подтверждение*. Какую закономерность можно заметить в семантической эволюции данных слов?
14. Можете ли вы точно определить значение таких слов в русском языке, как *деверь, шурин, золовка, свояченица*? Если нет, то почему?
15. В книге «Дикорастущие полезные растения СССР» (М., 1976) можно найти немало примеров того, что классификация научная (ботаническая) не совпадает с классификацией бытовой («наивной»). Так, каштан и дуб относятся к семейству буковых. Черника и абрикос входят в одно семейство — розоцветных. Орех (лещина) относится к семейству березовых. Плоды груши, рябины, боярышника относятся к одному классу и называются яблоком. Как объяснить эти расхождения?
16. Почему у человека, кроме имени собственного, бывают еще разнообразные «вторые имена»: прозвища, клички, псевдонимы? Почему человек, уходя в монахи, отказывается от своего мирского имени и принимает новое — духовное? Какие функции языка реализуются во всех этих случаях?

17. Существует неписаное правило, которого придерживаются студенты при подготовке к экзаменам: «Не знаешь сам — объясни товарищу». Как можно объяснить действие этого правила применительно к основным функциям языка?
18. Какая функция языка реализуется в следующей диалектной (калужской) загадке:

*Сидит дендра
На пендре
И кричит на кондру:
«Не ходи, кондра,
В пендру:
В пендре рындра и мяндра»?*

19. Прочитайте цитату из «Записок старого петербуржца» Льва Успенского. О чем здесь идет речь? Продемонстрируйте на данном примере обусловленность значения слова предметом и понятием.

На Невском... был тогда открыт первый то ли «синематограф», то ли «иллюзион», а может быть даже и «биоскоп», — слово еще не утряслось, не кристаллизировалось. Имя ему было — «Мулен-Руж».

20. В одном из рассказов Виктории Токаревой («Все нормально, все хорошо») героиня спрашивает собеседника:

— А мама твоя как?
Тот отвечает:
— Спасибо.

И все. Что означают эти реплики? Какая функция языка реализуется в данном мини-диалоге?

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА

16. Язык и общество, язык и личность

Итак, мы установили, что язык представляет собой не природный, биологический феномен, а социальный, общественный. Это означает не только то, что язык «вырастает» у человека как продукт подражания и развития, но еще и то, что он существует в масштабе целого сообщества: не может быть языка «для одного человека». Можно сказать и так: язык — явление *надъиндивидуальное*, обслуживающее всех членов данного общества, независимо от их пола, возраста, образования, материального положения...

Какова же роль индивида, отдельного человека в этом процессе? Принимает ли он просто готовые правила игры, подписывая наряду с остальными членами общества «языковую конвенцию» и в дальнейшем исправно ее соблюдая? Нет, не совсем так: личность обладает по отношению к языку определенной свободой.

Дело прежде всего в том, что язык — очень сложная, объемная, многоэлементная система. В нем огромное количество слов, масса правил (и исключений из них), разнообразных вариантов. Большие толковые словари современных литературных языков — английского, немецкого, русского и т.д. — фиксируют сотни тысяч единиц. Отдельный человек просто не может овладеть таким богатством. Да оно ему и ни к чему. Скажем, для повседневной жизни человеку нужно каких-нибудь 3,5—4 тысячи слов. Ну, пусть еще столько же для каких-то особых ситуаций. А остальное? Поэтому че-

лове́к относится к языковым единицам избирательно: он выбирает себе какие-то слова, формирует свой собственный лексикон. Конечно, есть слова общеупотребительные, без которых никак не обойтись, к примеру: *кто, рука, знать, большой, сколько...* Но в других случаях существует возможность выбора. Например, можно сказать по-русски *сорочка*, а можно — *рубашка*. Можно сказать *туфли*, а можно — *полботинки*. Кто-то говорит *сначала*, а кто-то — *сперва*. Кто-то не употребляет слова *скверный*, он говорит *плохой* или *дрянной*, а кто-то, наоборот, никогда не пользуется словом *дрянной*, это «не его» слово... Таким образом, языковая свобода личности проявляется прежде всего в индивидуальных вариантах языка — и д и о л е к т а х. Можно, в частности, говорить о том, что существует идиолект Пушкина (во всех его произведениях, включая художественную прозу и письма, ученые насчитали около 20 тысяч разных слов). Существует идиолект Михаила Горбачева, идиолект ученика 2-го класса Пети Мышкина... Но идиолект — это не только лексика. Это также индивидуальные особенности произношения: кто-то шепелявит, а кто-то произносит звуки слегка в нос, кто-то на месте взрывного [г] произносит [γ] щелевое, свойственное южнорусским говорам, а кто-то не может избавиться от твердого («белорусского») [ч]. Одни говорят *твóрог*, другие — *творóг*, одни — *це́рковь*, другие — це[р']ковь, с мягким [р']... Расхождения обнаруживаются и на письме: кто-то пишет букву д с петелькой внизу: *ɟ*, а кто-то — с петелькой сверху: *ǰ*. А буква т, например, существует в вариантах *т, ш, т*.

Наряду с идиолектами, лингвистика изучает также социолекты — «групповые языки». Это промежуточная ступень абстракции между языком личности и языком целого общества. Сюда относятся профессиональные языки (например, моряков, врачей, железнодорожников и т.п.) и жаргоны (условные языки, сознательно противопоставляемые литературной речи). Получается, что, скажем, бухгалтеры говорят немного не так, как сантехники, сантехники — не так, как парикмахеры, парикмахеры — не так, как студенты

(в этом реализуется уже знакомая нам корпоративная функция языка)... Можно вычленять социолект и меньшей социальной группы: допустим, язык учащихся суворовского училища может чуть-чуть отличаться от языка учащихся ПТУ. Интересным частным случаем социолектов считаются ф а м и л и о л е к т ы: это разновидности языка, принятые в конкретных семьях. Действительно, ведь в каждой семье есть свои особые названия (для соседей и знакомых, для предметов утвари или одежды), свои излюбленные словечки и выражения.

Конечно, своеобразие идиолектов и социолектов обнаруживается главным образом в сфере лексики, словарного запаса. Что касается грамматики, ее законы, казалось бы, для всех едины. Ни один носитель русского языка не скажет: «Купил зимний куртка на искусственное мех» (если только при этом не преследует какой-то особой цели: развлечь собеседника, изобразить речь иностранца или еще что-то; вспомним известную пародию А. Иванова на стихотворение В. Сидорова: «Веселый птичек, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотворень...»). И так, можно ли тут говорить о какой-то свободе выбора?

Однако если внимательно изучать окружающую нас речь, то можно убедиться: и к грамматическим правилам человек относится по-разному. Одни из них он безоговорочно признает, а другие позволяет себе нарушать или даже делает вид, что их вовсе не существует. Это как с правилами дорожного движения. Ни один нормальный водитель не поедет по тротуару или поперек проезжей части. А вот что касается соблюдения установленных ограничений скорости движения, то тут, как пишется в казенных отчетах, «имеют место быть» многочисленные нарушения. Так и говорящий человек: он «ранжирует» правила, делит их на незыблемые (обязательные) и неважные (факультативные).

К примеру, в «Былом и думах» А.И. Герцена судья разговаривает с крестьянином. Первый говорит: «Полно, полно, брат, сегодня от святых отцов нет запрета на вино и елей». Второй отвечает: «Оно точно, запрету нет, но вино-то и доводит человека до всех бед». *Запрета* или *запрету* — как ска-

зать? И так, и так можно, это варианты, различающиеся только стилистически, и говорящий обладает тут определенной свободой выбора.

Другой пример. Учебники русского языка в один голос твердят, что формы косвенных падежей от местоимения *оба* будут *обоих*, *обоим*, *обоими*, а от местоимения *обе* — *обеих*, *обеим*, *обеими*... А в реальной жизни мы то и дело слышим: «обоими руками», «с обеих сторон». Носитель языка никак не хочет различать во множественном числе род этих местоимений (подобно тому как давно уже не различается во множественном числе род имен прилагательных — см. примеры в разделе 10 вроде *новые дома* или *новые двери*). Или еще такой случай: в школе нас старательно учат разграничивать частицы *не* и *ни* в «усилительно-отрицательном» значении. Так, положено говорить: *Где я только не был!*, но: *Где бы я ни был, я всегда помнил о Родине*. Или: *Кто только вам не звонил!* Но: *Кто бы вам ни звонил, не снимайте трубку*... Для массового же носителя русского языка это противопоставление выглядит, очевидно, искусственным, ненужным, и в речи эти частицы регулярно смешиваются.

Можно вообще утверждать, что наряду с грамматикой научной и грамматикой школьной существует также грамматика *н а и в н а я*. Это грамматика обыкновенного человека, так сказать, массового пользователя языка, и она имеет право на существование подобно тому, как существует наивная (бытовая) химия, наивная физика, наивная медицина и т.д. (Вспомним: нас ведь в быту вода интересует не как вещество, в молекуле которого соединяются два атома одного газа и один — другого, а как жидкость без запаха и вкуса, служащая для питья, умывания и стирки...) Конечно, наивная грамматика *ф р а г м е н т а р н а* (т.е. неполна, выборочна) и *и н т у и т и в н а* (здесь нет терминов и четких определений). Вместе с тем это тот реальный минимум правил, без которого не обойтись носителю языка, если он хочет, чтобы его понимали; это основа его идиолекта. И при всей индивидуальности идиолекта грамматическая его часть варьируется все же меньше, чем все остальные части.



Л.В. Щерба

В конце концов, однако, свобода личности по отношению к языку проявляется не только в возможности выбора языковых единиц, формирования своего идиолекта. Она еще — в возможности оценки языковых единиц: это мне нравится, а то не нравится. Отсюда вытекает естественное стремление исправить, устранить то, что не нравится, и, наоборот, закрепить, узаконить то, что кажется удачным, — вообще каким-то образом п о в л и я т ь на я з ы к.

В самом деле, мы уже привыкли к тому, что поддается регулированию сфера права: изда-

ются новые законы и отменяются старые. Мы знаем, что можно реформировать систему образования, можно стимулировать или направлять в определенную сторону развитие культуры и литературы... Если так, то почему бы не регулировать язык? Не упорядочивать его, не лечить его от «болезней», которые наверняка существуют? Или почему хотя бы в мелочах не вносить в него необходимые коррективы?

Большинство лингвистов, в том числе крупнейшие авторитеты в данной области, скептически относятся к попыткам «вмешательства во внутренние дела» языка. Академик Л.В. Щерба, например, прямо писал: «Человек не властен ничего изменить в системе языка».

Оппоненты могут указать на конкретные случаи воздействия личности на язык, в частности, на известные неологизмы, введенные в тот или иной язык конкретным человеком: писателем или общественным деятелем... Да, такие примеры существуют. Известны слова, созданные М.В. Ломоносовым и Н.М. Карамзиным, М.Е. Салтыковым-Щедриным и Ф.М. Достоевским, но это — капля в море. Показательно, что

Федор Михайлович Достоевский, великий русский писатель, создатель романов «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», с удовлетворением и гордостью сообщает в своем «Дневнике писателя», что это он ввел в литературный обиход глагол *стушеваться*. Соизмеримо ли: одна из вершин мировой эстетической и философской мысли и — авторство по отношению к какому-то одному слову, даже, в общем-то, не слишком и необходимому...

Конечно, бывают особые эпохи — формирования нации, становления литературного языка, пробуждения общественного сознания, когда роль личности (незаурядной или даже гениальной, созвучной эпохе и соразмерной языку), может оказаться значительной. В истории многих литературных языков можно обнаружить такую конкретную фигуру. Для русского языка это, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. И дело вовсе не в том, что Пушкин «придумал» какие-то слова, а в том, что он сломал границы стилей, соединил высокое с низким, заложил основы сегодняшней системы словоупотребления. Подобную роль для английского языка сыграли Джеффри Чосер и Вильям Шекспир, для немецкого — реформатор церкви Мартин Лютер, для лезгинского — Сулейман Стальский и т.д.

Но все это уникальные ситуации, исключительные случаи. В целом же язык чрезвычайно устойчив по отношению к индивидуальному вмешательству, к попыткам сознательно «улучшить» и отрегулировать его. И причину такой устойчивости мы уже знаем: она кроется в надындивидуальном характере средства общения. Ведь для того, чтобы внести в язык какое-то изменение — положим, запретить какую-то неправильную форму или, наоборот, закрепить кажущийся нам удачным неологизм, — нам надо «уговорить» всех людей, пользующихся данным языком, изменить в каком-то пункте «конвенцию». А людей этих, возможно, миллионы и миллионы... Более того, носители языка консервативны, они интуитивно чувствуют условность языкового знака, так зачем что-то менять?

Итак, язык развивается стихийно: если в нем и совершаются какие-то изменения, то чаще всего они анонимного про-

исхождения: кто-то сказал, а кто-то подхватил, а еще кто-то добавил... Все мы были и постоянно бываем свидетелями того, как в речи возникает внезапно и расходится, подобно кругам на воде, м о д а на то или иное слово или выражение. Вчера его еще не было, сегодня уже можно с уверенностью сказать — есть. Но откуда оно пришло, кто был его создателем? Чаще всего неизвестно. В лучшем случае мы можем очертить сферу, область, в которой оно зародилось. Это может быть, скажем, молодежный жаргон (оттуда к нам пришли слова *балдеть*, *заколебать*, *бакс* и др.) или та или иная профессиональная терминология (*борт* в значении ‘вертолет’ — из речи военных, *безнал* ‘безналичный расчет’ — из речи финансистов, *альбом* ‘цикл музыкальных записей’ — из терминологии музыкантов и т.п.), аппаратно-бюрократический жаргон (*наработка*, *отслеживать*, *задействовать* и т.п.). Анонимность — нормальное условие языковых инноваций. Каждый человек чувствует здесь себя в равной степени и потребителем, и создателем, потому что он — представитель языкового сообщества. А.М. Пешковскому принадлежит удачное сравнение языка с рынком:

«На рынке, как известно, каждый приноравливается к так называемой рыночной цене, стараясь купить не дороже, а продать не дешевле этой цены. Цену эту он воспринимает как нечто объективно данное: «сегодня пуд картофеля стоит столько-то». Но в то же время известно, что это «стоит» складывается из соотношения спроса и предложения, в которых участвует каждый посетитель рынка. Совершенно то же и в языке. Все мы, чтобы нас понимали, д о л ж н ы равняться в нашей языковой деятельности по окружающим, должны говорить, к а к в с е... Это «как все» создается сложением миллионов индивидуальных языков, в том числе и моим. Всякий говорящий одновременно и п о д р а ж а е т, и в ы з ы в а е т п о д р а ж а н и е, и говорит «как все», и создает это «как все». Как нет на рынке ни одного покупателя (даже из приценивающихся или осведомляющихся только) и ни одного продавца, которые бы не участвовали в создании рыночной цены, так нет в языке ни одного говорящего, который бы не

участвовал в создании самого языка. Разница между обывателем и литератором здесь только количественная, как между крупными покупателями-продавцами и мелкими, но не качественная...» (Пешковский А.М. Избранные труды. — М., 1959. — С. 61—62.)

Особая роль здесь у литераторов. Дело в том, что многие сферы общественной жизни — школа, органы управления, средства массовой информации, армия и т.д. — требуют у н и ф и к а ц и и и м и н и м а л и з а ц и и языка. Это значит: для того чтобы общество успешно функционировало, чтобы люди лучше понимали друг друга, быстрее обучались языку, не испытывали трудностей с чтением литературы и т.д., надо определить какой-то образец, какую-то языковую норму. Эта норма должна обобщать наши представления о том, что в языке «хорошо», правильно, а что — «плохо», неправильно (а с другой стороны, она сама в нас эти представления и воспитывает). *Свёкла* в русском языке — правильно, а *свекла́* (а тем более *бурак*) — неправильно. *Мест нет* — правильно, а *местов нет* — неправильно, *это не играет роли* (или *не имеет значения*) — правильно, а *это не играет значения* — неправильно и т.д. Норму как раз и определяют «литераторы», т.е. писатели, журналисты, редакторы, языковеды, вообще филологи.

Отсюда, конечно, не следует, что человеку запрещается говорить, как ему хочется, как ему в голову придет. (Необразованный человек, по выражению А.М. Пешковского, «говорит, как птица поет».) Но это значит, что в определенных ситуациях — таких, как общение с государством, общение с массой народа, общение с представителями иных возрастов, профессий, местностей и т.д. — он должен переходить со своего идиолекта на л и т е р а т у р н ы й я з ы к. Литературный язык — это язык нормированный и пропагандируемый, это язык, которому учат и на котором учат (см. раздел 35).

Для языкознания отсюда вытекают два возможных подхода к предмету данной науки. Один из них объективно и, так сказать, безучастно фиксирует все, что встречается в речи: это подход о п и с а т е л ь н ы й. Для описательного языкозна-

ния все факты языка равноправны, все одинаково интересно. То, от чего подчас страдает ухо образованного человека (какое-нибудь «местов» или «победю»), для описательного языкознания может представлять особую ценность. Другой подход основан на разграничении «правильного» и «неправильного» в языке, это подход н о р м а т и в н ы й. У него, конечно, особенно сильные корни в практике школьного преподавания, но не только там. Основная масса словарей и грамматик, с которыми мы в своей жизни имеем дело, — это словари и грамматики нормативные. Такой подход реализуется в виде особого направления в языкознании, называемого культурой речи, а также в виде целой идеологии — «языковой пропаганды», «языкового строительства» и т.п. Не стоит задаваться вопросом, с какой точки зрения лучше подходит к языку: изучать, «как говорят» вокруг нас, или же рекомендовать, «как следует говорить», потому что у каждого из подходов свои преимущества, основания и цели. Не следует только забывать, что возможности регулирования языка, воздействия на него весьма ограничены. Язык в каком-то смысле — «вещь в себе».

17. Проблема происхождения человека и человеческого языка

Вопрос о том, как возник язык, интересовал людей испокон веков, потому что он теснейшим образом связан с проблемой происхождения самого человека, вообще разумной жизни на Земле.

Первый и, может быть, самый категоричный ответ на сей вопрос дает религия, церковь: это Всевышний создал человека и все сущее на Земле. Бог же, очевидно, создал и язык. Первоначально этот язык был единым для всех, но потом, как рассказывает Библия, Бог разгневался на людей, вознамерившихся построить в Вавилоне башню (столп) до самого неба, и смешал все языки. (Кстати, задумаемся: как это — смешал? Правильнее бы сказать наоборот: разделил. Но почему-то

принято именно такое выражение.) В любом случае при данной точке зрения вопрос о происхождении языка обсуждению не подлежит: достаточно в е р и т ь, что язык — творение Бога. Эта гипотеза получила название к р е а ц и о н н о й (от лат. *creo* — ‘творю, создаю’).

В каком-то смысле данный ответ — самый простой. И вместе с тем он не так прост, как может показаться в кратком изложении. Церковники, теологи, философы видят здесь важнейшую проблему, исток всех противоречий: что первично — дух или материя? Что от чего произошло? В Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог...» Эти слова допускают различное толкование и служат отправной точкой бесконечных дискуссий. Но среди возможных их трактовок находится место и для «филологической», близкой лингвистам. Это значит: мир человека оказывается порожденным словом. Язык — вот что создало человека и его окружение, вот истинное начало начал! Разве не говорилось ранее, что индивидуум живет в мире языка? Пусть даже он вынужден постоянно соотносить этот мир с миром предметов, с объективной реальностью, — все равно язык ему ближе, роднее, «первичнее»... Язык при такой интерпретации становится предметом божественным.

В последние десятилетия становится довольно популярной гипотеза о внеземном происхождении человечества. Согласно ей, человек — дитя иных, более высоких цивилизаций, решивших в порядке эксперимента, что ли, заселить Землю разумными роботами. Отсюда и объяснение всяческих чудес древних культур: от египетских пирамид до рисунков в пустыне Наска... Кто не знаком с этой гипотезой по научно-популярным книгам или фильмам («Воспоминание о будущем» Э. Деникена и т.п.), тот наверняка встречал ее в виде сюжетов научно-фантастических романов. Однако в целом вопрос о происхождении языка решается здесь с тех же «креационистских» позиций: кто-то (внеземная цивилизация — тоже своего рода божество) создал в готовом виде человека и его язык. Так что «инопланетная» теория, будем считать, принципиально не отличается от библейской.

В противовес «креационистам» многие ученые утверждают, что человек — дитя эволюции, в каком-то смысле он создал себя сам. И разум вместе с языком возник постепенно, в ходе развития живой материи от одних форм к другим... Но разве, возражают «креационисты», сознание может возникнуть «по кусочкам»? Разум или есть, или его нет, это всегда революция, резкий переход от «тьмы», от хаоса, к «свету», к порядку! Как в истории человеческой культуры не могло возникнуть «по частям» колесо — это принципиальный скачок! — так и разум не мог вырасти постепенно у немыслящей материи.

«Эволюционисты» в ответ указывают на множество примеров переходных форм в природе, свидетельствующих о возможности постепенного формирования сознания. У тех же животных, о которых уже шла речь, — у обезьян, дельфинов, собак — мы видим зачатки разума, его низшие формы. И какое-то подобие языка тоже есть уже у животных! Кстати, ведь и человек как вид обладает разумом, а в конкретных случаях демонстрирует целую шкалу переходов — от гениев до безумцев...

Основанная Чарльзом Дарвином и его единомышленником Томасом Гексли теория происхождения видов объясняет эволюцию всего живого борьбой за существование, необходимостью приспосабливаться к условиям вечно меняющейся среды. Это значит, что в ходе исторического развития одни признаки живого организма наследовались и усиливались, другие, наоборот, редуцировались (от лат. *reductiō* ‘возвращение’) ослабевали и исчезали. Все это определялось многообразными изменениями условий жизни: климатических, биологических, позже — социальных. Природа не имела перед собой заранее поставленной цели, она шла, так сказать, «методом тыка», экспериментируя наугад. У одних существ удлинялся хвост, у других плавники заменялись на конечности (лапы), у третьих увеличивался объем черепа (а у четвертых, возможно, уменьшался) и т.д. И все эти эволюционные изменения сочетались между собой в самых разнообразных комбинациях.

Но несомненно, что среди факторов, обуславливавших данные преобразования, были такие, которые имели особое значение для возникновения языка. В частности, среди биологических предпосылок огромную роль сыграло наличие у предков человека органов слуха. Древний человек слышал вокруг себя в природе различные звуки: скрип, шелест, грохот, журчанье, рычание и т.п. и учился им подражать. Это значит, что он как бы тренировал свою гортань, губы, язык, приспособлял их к произнесению подобных звуков. (Напомню: первоначально все эти органы предназначались для других функций, они были созданы природой для дыхания и пищеварения. Но сегодня мы уже можем говорить о наличии у человека специального речевого аппарата.) Не случайно в разных языках слова, означающие шорох, скрип, гул, бульканье и т.п., напоминают сами обозначаемые явления. Они отражают способность человека пользоваться «готовым» звуковым материалом. А в науке они послужили основанием для возникновения особой — звукоподражательной — теории происхождения языка.

Среди социальных предпосылок немаловажным было то, что предки человека жили группами, вели стадный образ жизни, участвовали в совместных трудовых действиях — например, охоте, обороне и т.п. А коллективный труд — это всегда разделение труда. Распределение же «обязанностей», как мы помним, подразумевает участие в данном процессе языка. Конечно, первоначально это могли быть жесты или простейшие выкрики — сигналы, служащие для побуждения к трудовым действиям, а также их синхронизации. Но постепенно разделение труда начинает охватывать различные сферы деятельности: наряду с охотой и рыболовством появляется земледелие, скотоводство, отсюда один шаг до изготовления домашней утвари, одежды и т.п. И формирующиеся в сознании первобытного человека понятия должны были находить свое закрепление в языковых знаках, в словах.

Фридрих Энгельс в специальной работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (она вошла в его

«Диалектику природы») обобщил опыт, накопленный в данной области естествознанием к середине XIX в. Среди эволюционных факторов, способствовавших становлению человека разумного, ученый называл, в частности, изменение климатических и геоботанических условий, переход к прямохождению (к вертикальной осанке), освобождение верхних конечностей и развитие руки как орудия труда, создание орудий (а древнейшие орудия — это орудия охоты!), коллективность трудовых действий, развитие головного мозга, приручение животных, применение огня и т.д. Особое место в этом ряду занимает использование языка как средства общения. Данная «т р у д о в а я» теория происхождения человека и языка пользуется заслуженной известностью: она учитывает взаимодействие разных факторов в эволюции человека.

Однако за XX столетие наука обогатилась огромным количеством новых сведений, касающихся происхождения человека и его языка. Фактически возникла новая научная дисциплина — палеоантропология (от греч. корней *palaiós* ‘древний’ и *ánthrōpos* ‘человек’), занимающаяся изучением ископаемых останков древнего человека. Точнейшие физические и химические методики (в частности, так называемый калий-аргоновый метод) позволяют с высокой точностью датировать ископаемые находки. Причем если на заре своего существования палеоантропология вынуждена была довольствоваться отдельными костными фрагментами древних существ (например, черепом или всего лишь зубом), восстанавливая по ним целое, то теперь в распоряжении ученых имеется богатый материал. В частности, огромное значение имеют находки, сделанные в последние десятилетия в Восточной Африке. Обнаруженные в 1974 г. в Эфиопии останки австралопитека — существа, жившего примерно три миллиона лет назад, позволяют утверждать, что эта «праматерь человечества» (скелет принадлежал женской особи, и ей дали имя Люси) уже передвигалась на нижних конечностях и могла использовать руки, скажем, для сбора плодов. В 1984 г. в Кении, на берегу озера Туркан, был найден практически полный скелет мальчика, жившего более полутора миллионов

лет назад. В том же регионе находят обработанные камни — первые орудия! — продукт деятельности нашего предка двух-миллионнолетней давности. Но с Африкой как с колыбелью человечества может поспорить Азия, в которой также находят как останки хомо эректус, «человека прямоходящего», так и следы деятельности хомо хабилис, «человека умелого».

Главных выводов из всего этого можно сделать три. *Первый*: начало истории человечества отодвинулось (по сравнению с представлениями XIX в.) на несколько миллионов лет. Человек начал свой «путь к разуму» примерно пять-семь миллионов лет назад. *Второй* вывод: эта эволюционная дорога была не прямой и последовательной. На ней были повороты и тупики, и в результате человек на разных стадиях данного процесса терял немало своих «родственников», с которыми ему оказалось не по пути. В конце концов, даже то обилие ископаемых останков, которым наука сегодня располагает, не позволяет восстановить всю эволюцию человека: скорее всего перед нами останки не каких-то прямых предков, а боковых, пусть довольно близких, ветвей... *Третий* вывод: одна из важнейших составляющих в истории человечества — это язык. И даже если допускать, что собственно звуковой язык (похожий на наше сегодняшнее средство общения) активно «подключился» к данному процессу лишь на последнем этапе (скажем, каких-нибудь 200 тысяч лет назад — а до тех пор человек обходился в основном жестикующей и мимикой), это не меняет общего заключения: без языка хомо сапиенс не возник бы.

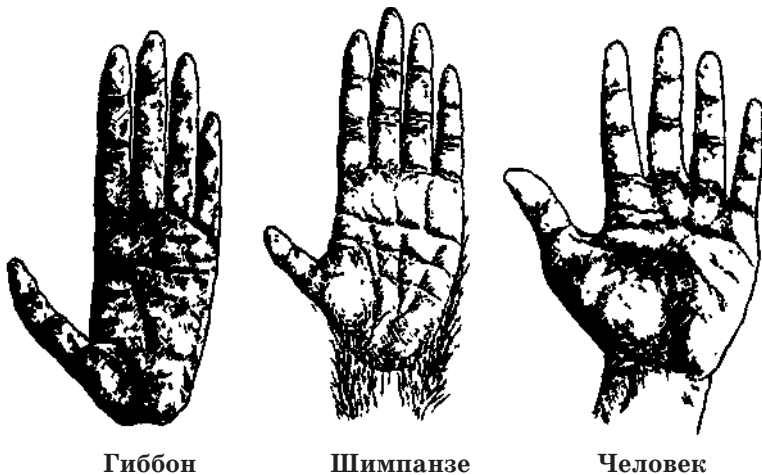
18. Человек и его язык: стечение обстоятельств?

И все-таки решить проблему происхождения человека и человеческого языка — значит ответить еще на два вопроса, которые обычно остаются в тени, может быть, из-за их трудности. Это, во-первых: почему именно человек стал разумным существом, а иные представители животного мира предпочли влачить неразумное существование? Почему, к при-

меру, сегодняшние человекоподобные обезьяны так и остались обезьянами, что помешало им ступить на стезю разума? И второй, еще более больной вопрос: а что, сегодняшние животные — те же обезьяны или дельфины — уже безвозвратно прошли развилку эволюции? Для них дорога к разуму уже навсегда закрыта? Или же они еще могут когда-нибудь «догнать» по этому признаку человека?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, попробуем еще раз систематизировать факторы, обуславливавшие становление человека разумного. Важнейшие из них — это, говоря кратко, прямохождение, развитие руки и увеличение мозга; к этим трем предпосылкам вплотную примыкает формирование языка. Тенденция к прямохождению, к вертикальной осанке, — самый древний из перечисленных факторов. Уже пять миллионов лет назад человеческие предки пытались встать на задние лапы (что неоспоримо доказывается по состоянию ископаемых останков — костей позвоночника, бедра и т.п.). Это привело со временем к другим морфологическим изменениям в организме: большая нагрузка легла на позвоночник, стал массивнее и уже таз, укоротились верхние конечности... И, заметим, одновременно «выпрямился» дыхательный аппарат, улучшились условия для артикуляции, для произнесения членораздельных звуков! (Попробуйте-ка говорить, встав на четвереньки, — это требует дополнительных усилий...) Немецкий философ И.Г. Гердер, ученик Иммануила Канта, вообще считал, что, выпрямившись, поднявшись над землей, человек не только в буквальном смысле расширил свой кругозор, но и стал «живым воплощением искусства»!

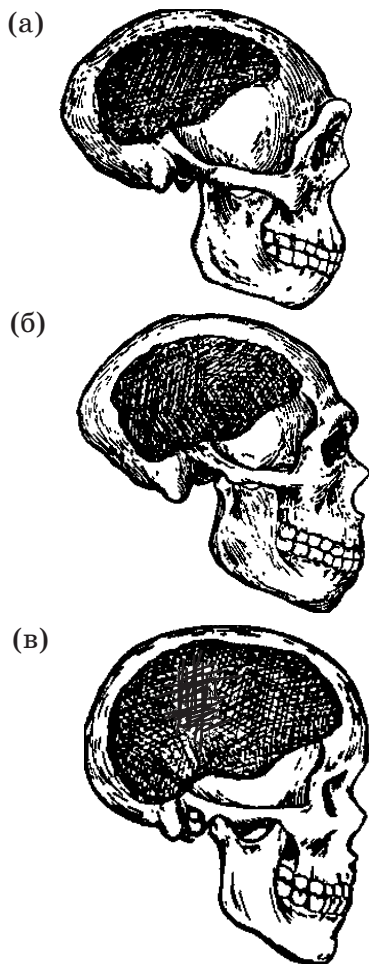
Действительно, вертикальная осанка приводила к высвобождению и развитию руки. Рука, освободившись от функций передвижения, становится первым орудием труда и специализируется на все более многообразных и точных операциях. В том числе она принимает на себя часть функций, которые ранее закреплялись за челюстями (разрывание, дробление пищи). Получается, что данная тенденция также объективно способствовала возникновению языка: нижняя



Внешний вид верхней конечности
человекообразных обезьян
(гиббона, шимпанзе) в сравнении с рукой человека

челюсть человека стала в результате менее массивной (по сравнению с челюстью обезьяны), более удобной для артикуляции. Кроме того, освободившиеся руки можно было использовать для жестикуляции, что на древнейшем этапе развития людей было, возможно, важнейшим способом общения. Итак, разные, независимые друг от друга тенденции где-то совпадали в своей направленности, совместно «работали» на формирование будущего человека.

Тенденция к постепенному увеличению объема головного мозга легко подтверждается точными измерениями. Объем черепа австралопитека (переходной формы от обезьяны к человеку, существовавшей несколько миллионов лет назад) колеблется в границах 430—600 куб. см. Объем черепа древнейших людей, архантропов, живших менее миллиона лет назад, равен 600—1000 куб. см. Объем головного мозга современного человека, появившегося 40—50 тыс. лет назад, — 1200—1500 куб. см. Соответственно объему возрастает вес и сложность структуры мозга.



Эволюция черепа и головного мозга по данным палеоантропологии:

- а* — человек прямоходящий (1,5 млн лет назад — 200 тыс. лет назад);
б — неандерталец (200—50 тыс. лет назад);
в — хомо сапиенс (50 тыс. лет назад).

Биологи вывели специальный показатель умственного развития живых существ, хорошо применимый к млекопитающим, — коэффициент цефализации (от греч. *kephalé* — ‘голова’). Это отношение веса мозга, возведенного в квадрат, к весу всего тела. И по этому показателю человек как вид далеко превосходит все иные существа, — даже ближайшие к нему дельфины отстают примерно в два раза.

Но эволюция проявлялась не только в увеличении объема головного мозга, но и в усложнении и его строения. Что здесь имеется в виду? Увеличение мозга происходит главным образом за счет лобных долей, которые не только управляют интеллектуальной деятельностью человека, но и отвечают за определенные социальные, гуманистические функции. (Недаром больные с нарушениями функций лобных долей, как правило, эгоистичны и агрессивны.) В мозгу происходит разделение функций между левым и правым полушариями. Правое полушарие доминирует в формировании и осмыслении чувственных образов, левое же отвечает за абстрактное мышление, за язык. И снова удивительное совпаде-

ние. Специализация полушарий головного мозга происходила параллельно с развитием (а практически опять-таки со специализацией!) естественных орудий труда — рук человека. Дело в том, что из двух верхних конечностей, освободившихся от «передвигательных» функций, одна постепенно становится функционально более развитой, более точной в движениях, более умелой. Для большинства людей такой основной, «рабочей» рукой является правая. Управляющий ею нервный центр находится в левом полушарии головного мозга. И там же, неподалеку от центра «рабочей» руки, формируется специальный центр речи! (Кстати, у левшей этот центр, вместе с центром основной руки, перемещается в правое полушарие.)

Трудно переоценить и роль языка на историческом этапе становления человека. Увеличивавшийся словарный запас давал простор для совершенствования мозговой деятельности: в языковых знаках закреплялись мыслительные единицы (понятия) и целые структуры (суждения, умозаключения). В то же время накапливавшаяся в языке и его продуктах (текстах) информация непосредственно помогала человеку приспособляться к изменяющимся условиям внешней среды; хомо сапиенс как вид получал дополнительный шанс выжить...

Если вдуматься в эволюционную роль перечисленных факторов (переход к прямохождению, увеличение головного мозга и функциональное его усложнение, совершенствование руки, развитие языка), то трудно не заметить между ними какой-то внутренней переклички. Каждый фактор определенным образом взаимодействовал с другими, и это приводило к новым, столь же важным последствиям. В частности, развитие мозга вместе с совершенствованием руки вело к созданию орудий труда, к появлению материальной культуры. Это — еще один существенный фактор в истории человечества. Высокоразвитые животные, к примеру те же дельфины, практически не изменяют своей деятельностью окружающей среды. А каждое новое поколение людей приходит не только в мир природных явлений, но и в мир созданной человеком материальной культуры: жилищ, одежды, механиз-

мов, украшений... Тем самым накопленный человечеством познавательный опыт закреплялся в конкретных, предметных формах и участвовал в воспитании последующих поколений.

Однако эволюционные факторы не всегда поддерживают, подкрепляют друг друга. Они могут и не совпадать по своей направленности. Так, тенденция к прямохождению и тенденция к «большеголовости», можно сказать, столкнулись на заре человечества. Древние женщины не могли рожать все более большоголовых детенышей: этому мешал их сузившийся из-за прямохождения таз. И как же природа выходит из этого противоречия? Дети начинают рождаться с большим, но непрочным черепом, срастающимся только спустя некоторое время. Да и передвигаться самостоятельно человеческий ребенок еще долгое время после рождения не умеет (в отличие, скажем, от дельфиненка или детеныша обезьяны, быстро становящегося на собственные «ноги»)... Короче говоря, взаимодействие данных тенденций имело своим следствием формирование очень важной отличительной черты человека как вида: ее можно обозначить как долгое детство.

Удлинение же детства, в свою очередь, способствовало формированию в древнем обществе определенных социальных, гуманистических норм: покровительственного отношения к маленьким, беззащитным, близким... Можно предположить, что те сообщества (племена, родовые общины и т.п.), для которых было характерно более гуманное и внимательное отношение к детям, получали более здоровое, более жизнеспособное молодое поколение. Так признак заботы о ближнем, в конечном счете любви к людям, получал генетическое закрепление, передавался по наследству. Возможно, еще одно его проявление следует искать в отношении к старшей части древних человеческих сообществ. Неспособные сами себя прокормить старики (а человеческий век тогда был очень короток!) были бы для общества явной обузой, если бы в ту бесписьменную эпоху они не являлись хранителями бесценного жизненного опыта! И, следовательно, стоило отдавать им часть прибавочного продукта, с тем что-

бы общество в целом лучше могло приспособиться и выжить в тех трудных условиях. Альтруизм, т.е. любовь к ближнему (от лат. alter 'другой'), в противоположность эгоизму (от лат. ego 'я') оказывался генетически выгодным.

Следует упомянуть и о таком эволюционном факторе, как переход к употреблению мясной пищи. Характерно, что обезьяны по своей природе вегетарианцы: они употребляют в пищу плоды, корни, стебли растений... Человек же начал питаться и мясом, что не только резко улучшило снабжение организма (прежде всего мозга!) ценными минеральными и органическими веществами, но и содействовало введению множества иных новшеств и преобразований — таких, как приручение животных, использование огня, изготовление одежды и расселение по новым, необжитым территориям...

Но при этом получается, что природа как бы знала, куда «идет дело», и сознательно комбинировала, сочетала между собой нужные эволюционные признаки, «помогающие» друг другу и «подтверждающие» друг друга. Не приходим ли мы к тому же креационизму, к телеологии (от греч. telos 'цель' и logos 'слово, наука' — учение, приписывающее любому развитию заранее заданную цель)? Нет, согласно эволюционной теории, все должно быть наоборот: природа шла наугад, «вслепую», сочетая друг с другом самые разные признаки. Просто при иных, чем в случае с хомо сапиенс, комбинациях чего-то, возможно, «не хватало», а что-то, возможно, оказывалось «излишним». В результате путь эволюционного развития заходил в тупик: ветвь или в буквальном смысле вымирала, или отклонялась в сторону от направления, ведущего к разуму. Таких «двоюродных братьев» человек растерял массу за миллионы лет своей истории, его генеалогическое древо изобилует боковыми отростками.

В частности, многие ученые считают, что один из эволюционных тупиков представлен неандертальцем. Живший от 200 до 50 тыс. лет назад, он в чем-то обгонял своих соседей по времени, а в чем-то им явно уступал. Так, объем головного мозга у него был даже большим, чем у современного человека. Но неразвитые лобные доли, а также некоторое эволюци-

онное «ухудшение» руки привели к тому, что он не смог приспособиться к окружающим условиям и постепенно вымер, был вытеснен иными, конкурирующими формами. Вообще следует подчеркнуть, что в одно и то же время на Земле, очевидно, существовало несколько параллельно развивавшихся ветвей древнего человека.

Но тут в дискуссию вмешиваются представители иных наук. Биологи и математики утверждают, что простым «перебором» вариантов, т.е. путем естественной эволюции, нельзя было получить столь сложно организованную материю. А астрономы и физики заявляют, что появление разума, цивилизации было предопределено всей логикой развития Вселенной: она как бы запрограммирована именно таким образом...

Так что же, все-таки креационизм? Внешняя, божественная сила как толчок к развитию жизни и разума на Земле? На сегодняшний день наука не может дать однозначного ответа. Для нас ясно одно: язык составлял важнейшее условие на пути становления человека как разумного существа.

А возвращаясь к вопросам, поставленным в начале раздела, можно сказать, что человек во многом — результат счастливого стечения обстоятельств. Он, собственно, и возник на фоне огромного количества неудачных попыток, ошибок, эволюционных тупиков. Слишком уж много условий должно было совпасть для того, чтобы неразумные существа превратились в вид хомо сапиенс. (Одно из этих условий и есть язык как средство общения.) Возможно ли еще повторение подобного стечения обстоятельств — применительно к другим существам на Земле? Думается, что в том же самом месте и в столь краткое историческое время, каким являются для природы миллионы лет, это практически невероятно. Ученые подсчитали: общий возраст жизни на Земле — не менее 3 миллиардов 600 миллионов лет. Если условно представить себе этот период в виде суток, то половину его (от 0 часов до обеда) занимает появление в атмосфере древних микроорганизмов. Около 2 часов дня в клетках появились ядра, возникло половое размножение. К 8 часам вечера в морях появи-

лись мягкотелые, еще без скелета, животные. К половине одиннадцатого вместо папоротников и хвощей разрослись хвойные леса, в них появились рептилии. В 23.30 появились и вымерли динозавры, а их место заняли звери и птицы. И лишь четверть секунды до полуночи — это время существования всей человеческой цивилизации, вместе с ее языком!

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Ниже приводятся ряды слов, синонимичных в современном русском языке. Какие из этих слов вы используете активно, а какие только пассивно (т.е. понимаете, но сами не употребляете)? Продемонстрируйте на этих примерах особенности своего идиолекта.

Градусник — термометр; поварешка — половник — черпак; варежка — рукавица; опять — снова — вдругорядь; зарплата — получка; резинка — стирка — стёрка — ластик; передник — фартук; книголюб — библиофил; гладить — утюжить; ватник — стеганка — телогрейка; прекрасный — превосходный; исключительный — экстраординарный — эксклюзивный; бумажник — портмоне; дипломат — кейс.

2. Сравните следующие варианты морфологических форм и синтаксических конструкций в современном русском языке и выберите из них те, которые характерны для вашего идиолекта.

Учители — учителя, мохом — мхом, дверьми — дверями, обуславливать — обуславливать, прочитал — прочел, соскучился по вам — соскучился по вас, идти за грибами — идти по грибы, согласно документам — согласно документов, отзыв о статье — отзыв на статью.

3. Певица Алла Пугачева отчетливо поет в одной из своих песен:

Жизнь невозможно повернуть назад,
И время НЕ на миг не остановишь...

Какие собственно языковые оправдания можно было бы привести в защиту такого неправильного произношения?

4. В чем проявляется общественный (надиндивидуальный) характер языка? Какой отпечаток накладывает это свойство на речь человека и отдельных социальных групп? Покажите это на примере студенческого жаргона.
5. Как сказать по-русски, образуя форму родительного надежа множественного числа: *носков* или *носок*? *чулок* или *чулков*? Покажите возможность различной интерпретации и оценки таких фактов с позиций нормативного и описательного языкознания.
6. Почему мы так редко знаем авторов новых слов и выражений, приходящих в наш язык?
7. Приведите примеры ситуаций, в которых человек дает свою оценку языковым фактам и пытается в той или иной степени регулировать использование языка.
8. Когда-то в русском языке слово *опять* было близко по своему значению наречию *вспять* ‘назад’ — недаром исторически в обоих словах просматривается корень со значением ‘пята, пятка’. Затем оно приобрело свое нынешнее значение ‘снова’. Есть признаки того, что его исторический синоним, наречие *обратно*, пытается повторить ту же семантическую эволюцию, хотя литературная норма сегодня этому противится. Какие факты речи имеются в виду?
9. Нас с детства учат: показывать пальцем нехорошо, неприлично, невежливо. А как указать на предмет без помощи пальца? Приведите примеры слов, специализирующихся в указательной функции. Покажите на этих примерах взаимосвязь жеста и слова.
10. В чем заключается связь между эволюционным развитием руки у человека и появлением языка как средства общения?
11. Какое место в исторической эволюции человека занимает уменьшение нижней челюсти? С чем это было связано и к каким последствиям приводило?
12. Почему тенденция к увеличению объема головного мозга в эволюции человека объективно противоречила (шла вразрез) тенденции к прямохождению, переходу к вертикальной осанке?

13. Древние обезьяны с одинаковым успехом пользовались обеими верхними конечностями. Среди наших предков, живших полтора-два миллиона лет назад, по данным палеоантропологии, было уже более половины «правшей». Сегодня левши рождаются всего лишь в 10—15% случаев. О чем говорят эти факты применительно ко всей эволюции человека и какое они имеют значение для исторического формирования языка?
14. Какие органы человеческого организма (из числа перечисленных ниже) со временем приобрели вторичные функции, образовав в совокупности речевой аппарат?
Губы, зубы, легкие, диафрагма, нос, рука, язык, гортань.
15. Данные каких наук, по вашему мнению, могут пролить свет на проблему происхождения человека и его языка: археологии, палеоантропологии, физиологии, детской психологии, социологии, экспериментальной фонетики?
16. Давно известна рекомендация медиков: если у ребенка наблюдаются задержки в развитии речи, следует давать ему больше игрушек, побуждающих его к движениям... рук. Как филолог может объяснить такую рекомендацию?

СИНТАКСИС

19. Формирование коммуникативных единиц

Сегодня язык выполняет в обществе целый ряд функций (см. разделы 11—15). Но если обратиться к древнейшей истории человечества, когда язык как таковой еще только складывался, формировался, то можно быть уверенным: человек напрягал свою гортань и двигал неповоротливой еще челюстью не для того, чтобы воскликнуть что-то вроде: «Как красив этот лес в пору заката!» Выражение восхищения окружающей природой, размышления вслух или даже «раздавание» предметам названий — все это было бы непозволительной роскошью для первобытного человека: ему надо было прежде всего выжить.

Язык возникает, конечно же, для воздействия на других людей. Его основная роль на этом этапе — побудить другого человека к действию: сообщить ему какую-то важную информацию, привлечь к себе, заставить работать на себя, позвать на помощь или, наоборот, прогнать, отпугнуть и т.п. Поэтому можно сказать, что *н а ч и н а л с я* язык с коммуникативной и регулятивной функций: среди прочих общественных ролей языка исторически они самые важные.

Иерархия функций предопределяет иерархию языковых единиц. Это значит, что в соответствии со своей важностью, со своим рангом единицы языка являют определенную последовательность. Во главу угла становится *т е к с т* как продукт речевой деятельности человека и, можно сказать, ее смысл. Именно текст несет информацию и служит достиже-

нию коммуникативной цели. (В частных случаях она, напомню, может быть различной: убедить, попросить, выразить сочувствие, посоветовать, проинформировать, утратить и т.п.) Текст включает в себя некоторое количество **высказываний** — это единицы следующего уровня членения (в простейшем случае текст оказывается **равным** высказыванию, ср.: *Магазин закрыт на переулет. Пожар!* и т.п.). Высказывание, очевидно, состоит из **слов** в их формах (*магазин, закрыт* и т.д.). Слова, в свою очередь, распадаются на **морфемы** (обо всех этих единицах будет сказано позже). Получается, что в наших определениях языковых составляющих мы идем как бы сверху вниз, от целого к части: высказывание — это элемент текста, слово — элемент высказывания, морфема — часть слова...

Такой путь «сверху вниз» обоснован, хотя и не вполне привычен. Чаще ведь мы занимаемся в языкознании складыванием, составлением **бóльших** единиц из **меньших**: предложение складывается из слов, слова строятся из морфем — подобно тому, как дом строится из кирпичей или детские кубики образуют в итоге картинку. Если же мы утверждаем, что слово с его номинативной функцией возникает только как элемент высказывания, а морфема как строевая единица выделяется далее, в составе слова, то не получается ли у нас, что «целое» существует в сознании говорящего раньше части? Высказывание раньше, чем слово? Дом раньше, чем кирпич для него?

Да, в каком-то смысле именно так. И ничего удивительного тут нет, ибо речь идет о психической, умственной деятельности. Если взять дом как идею, если угодно — как цель или мечту, как побуждение к действию (предположим: человек собирается обзавестись своим домом), то ведь он тоже возникает в нашем сознании задолго до того, как мы начнем подбирать для него конкретный строительный материал. (Если, скажем, дом будет щитовой, то кирпич для него и вообще не понадобится...) В случае с речевой деятельностью та общая идея («идея дома») и есть побуждение, общий смысл, который человек собирается передать своему собрату. И вопло-

щается он в тексте и его единицах — высказываниях. А слова — это «вассалы» высказывания, послушные исполнители его воли. Действительно, слово само по себе неинформативно и «бессмысленно» для носителя языка. Его значение мы либо и так хорошо знаем, либо, наоборот, оно нам ничего не говорит. А вот если слово включено в состав высказывания, там оно уже несет полагающуюся ему часть общей информативной нагрузки. Смысл высказывания как бы определяет значение каждого конкретного элемента...

Возьмем такой пример. Предположим, мы встречаем в некоторой книге высказывание: *Зеленые реалисты держались особняком*. Речь в нем идет о неопытных еще учащихя реального училища (были когда-то такие!), и особой трудности у нас его понимание не вызывает. И все же спросим себя: а как это мы узнали, что слово *зеленый* употреблено здесь в значении ‘неопытный’, а не в значении ‘цвета травы, листы’? Слово *держаться* — в значении ‘вести себя’, а не ‘хвататься за что-либо’? Слово *особняком* — в значении ‘отдельно, в стороне от других’, а не как творительный падеж от существительного *особняк*? Представим себе иностранца, переводящего данную фразу пословно, с помощью словаря. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова дает при слове *зеленый* пять значений, при слове *реалист* — два и, отдельно, еще одно; при слове *держаться* — девять, словоформа *особняком* тоже допускает двоякое толкование — мы о нем уже говорили... И если бы мы пошли по пути перебора всех данных значений и их возможных комбинаций, сочетаний друг с другом, то получили бы в результате огромное количество смысловых вариантов (подсчитаем: $5 \times 3 \times 9 \times 2 = 270$), в которых бы, наверное, и погрязли. Но мы с самого начала отбрасывали все ненужные нам, лишние в данном контексте значения. На основании чего? Потому что мы сразу догадались, что речь идет о людях, а, следовательно, значения типа ‘цвета травы’ и т.п. сюда не относятся. Получается, что в каком-то отношении смысл целого высказывания предшествовал значениям отдельных слов...

Мы можем даже стать обладателями искомого смысла «в обход» значения конкретного слова. В самом деле, это не такая уж редкая ситуация: какое-то слово в тексте оказывается нам незнакомым, и тем не менее общий смысл высказывания мы улавливаем. Тысячи школьников (и не только школьников) читают у Пушкина фразу «И на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень» и, хотя они не понимают, что такое *стогны**, догадываются: речь идет о том, что на город опускаются сумерки... А в любимой народом песне «Славное море, священный Байкал» (на стихи Д. Давыдова) есть такие слова:

Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко...

Спросим себя: кто такой *баргузин*? Воображение рисует нам крупного мужика, сидящего на корме, что ли... И невдомек большинству поющих, что *баргузин* — это северо-восточный ветер на Байкале, а под *валом* имеется в виду волна (вся строка вообще-то имеет смысл ‘ветер, подгоняй волну’). Кстати, в том же тексте есть еще немало загадочных слов (*карга*, *дресва*, *норы Акатуя* и др.) — ну и что? Кто бы стал петь песню непонятного содержания? Значит, все понятно...

Подобным образом мы поступаем со всеми архаизмами, диалектизмами, узкоспециальными терминами и прочими малопонятными, незнакомыми нам словами. Высказывание (и более широкий контекст) позволяет нам их «семантизировать», т.е. очертить, хотя бы приблизительно, возможное значение. Как выразился немецкий лингвист Х. Вайнрих, «мы не рабы слов, потому что мы хозяева текста»!

Не надо думать, будто сказанное относится только к деятельности слушающего и читающего — иными словами, к стратегии восприятия и понимания текста. В равной, если не большей степени мы можем сказать это об отправителе текста, о говорящем: общий смысл высказывания предшествует в его деятельности выбору отдельных слов с их кон-

* Это слово в древнерусском языке означало ‘площади’.

кретными значениями. Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог и философ, писал: «Речь течет непрерывным потоком, и говорящий, прежде чем задуматься над языком, имеет дело только с совокупностью подлежащих выражению мыслей. Нельзя себе представить, чтобы создание языка начиналось с обозначения словами предметов, а затем уже происходило соединение слов. В действительности речь строится не из предшествующих ей слов, а, наоборот, слова возникают из речи». Но тут мы незаметно переходим от проблем речевой деятельности («как человек говорит и понимает?») к проблемам эволюционным («созданию языка», по Гумбольдту). В самом деле, а как было в истории человечества, что возникало раньше — «курица» или «яйцо»? То есть слово или высказывание?

Сразу же нужно определиться: дискуссия эта чисто теоретическая. Потому что первые (древнейшие) высказывания были, скорее всего, однословными. Следовательно, дело не в количественном аспекте, не в длине и сложности языковой единицы, а в ее сущности: ради чего она возникает? Ответ нам уже известен: ради коммуникации, ради передачи информации, ради воздействия на собеседника, а уж номинативная функция — спутник и условие коммуникации. Именно в этом смысле слово существует ради высказывания, слово есть часть высказывания... Итак, содержанием древнейших коммуникативных единиц («слов-высказываний») на заре развития человеческого языка было побуждение к действию. «Первичные слова — это цельные слова-высказывания, цельные выражения зародышевой мысли, не только обозначения, но и побуждения к действию» (С.Д. Кацнельсон). Что можно сказать об их плане выражения, о формальной стороне речи? По-видимому, эти слова-высказывания состояли первоначально из одного слога, а слог имел структуру: «согласный + гласный» или же «согласный + гласный + согласный». К такому выводу приводит нас анализ и сопоставление фонетического материала самых разнообразных языков, в том числе древних (мертвых). Все остальные виды слогов, например «гласный + согласный», «согласный + согласный + глас-

ный», «гласный + согласный + согласный» и т.п., распространены значительно меньше. Существуют языки, в которых вообще невозможны слоги типа русского *он, альт, карп*. Очевидно, эти фонетические структуры — более поздние и более сложные. По-видимому, именно слоги (а не отдельные звуки) были в древнейшую эпоху минимальными единицами плана выражения, за которыми закреплялось пусть диффузное, размытое, но такое важное для древнего человека содержание. Впрочем, некоторые ученые полагают, что в качестве минимальных единиц плана выражения выступали не слоги, а комбинации согласных — у них ярче выражена способность к смыслоразличению.

Определенную помощь в описании плана выражения языка на его древнейшем этапе оказывает уже упоминавшаяся палеоантропология. В частности, этому служат данные о строении речевого аппарата первобытного человека. Оказалось, что если сведения о форме и взаимном расположении костей черепа, реконструируемой системе мышц заложить в компьютер, то можно построить модель артикуляции (произносительных движений) архантропа. Проанализировав ископаемые останки так называемого тотавельского человека (жившего на юге Франции около 450 тыс. лет назад), ученые пришли к выводу, что ему уже были доступны многообразные «сегодняшние» гласные и согласные, включая довольно сложные шипящие.

В целом же если искать какие-то аналогии в материале современных языков, то можно сказать, что первообразные слова-высказывания более всего напоминали сегодняшние междометия вроде *На!* или *Фу!* Но это, конечно, только самый древний и «нечленораздельный» этап речевой деятельности человека. По мере усложнения своей структуры коммуникативные единицы все более приближались к тому, что мы сегодня называем предложением: они становились ч л е н и м ы м и. Это дальнейшее развитие было связано с расширением понятийной и функциональной сфер языка и с начинающейся специализацией слов.

20. Историческое развитие предложения

Итак, довольно рано слова становятся неоднородными в семантическом отношении. Первое, самое общее их деление, как можно предположить, — это деление на названия действий и названия предметов. А точнее, на названия процессов, или признаков, существующих во времени, и названия субстанций (от лат. *substantia* ‘сущность’ — фрагмент объективной реальности; нечто, что существует само по себе). Конечно, никакими морфологическими показателями эти классы еще не обладали, и до нынешних глаголов и существительных им было далеко! Вместе с тем бессмысленно задавать себе вопрос, что появилось раньше: имена или глаголы? Одно не могло появиться вне противопоставления другому. Поэтому, скажем, в японской лингвистической традиции, очень древней и богатой (и весьма отличной от европейской), деление на названия предметов (тайгены) и названия процессов (ёгены) — основополагающее. Китайские языковеды даже связывают его с исходным для китайской философии противопоставлением светлого, мужского, активного начала («ян») и темного, женского, пассивного («инь»)..

Процессы с самого начала подразделялись на активные (или трудовые) действия, с одной стороны, и состояния, с другой. Активные действия (бить, рубить, строить, ломать, варить, шить, кормить и т.п.) были направлены на какой-то объект и приводили к преобразованию этого объекта. Состояния были связаны с субъектом (носителем данного признака) и не требовали наличия еще какого-либо существа или предмета: голодать, умирать, ходить, падать, лежать, кричать, замерзать...

Все эти предпосылки обусловили появление двух древнейших типов двучленных высказываний — прообразов современных синтаксических единиц. Один тип включал в себя название активного действия в сочетании с объектом этого действия: ‘убивать + олень’, ‘валить + дерево’. Второй — название состояния в сочетании с субъектом этого состояния: ‘олень + умирать’, ‘дерево + падать’ (А.А. Леонтьев). Соб-

ственно, учитывая то, что морфологии как таковой еще к этому времени не было, справедливей было бы изобразить эти структуры примерно как ‘убив + олень’ и ‘олень + умер’...

На каком же основании ученые предполагают возникновение именно таких двух прототипов двучленного предложения и почему вообще столь важная роль отводится противопоставлению «активное действие — состояние»? Данная гипотеза опирается на сопоставительный анализ синтаксического строя разносистемных языков. Дело в том, что привычная для нас в русском языке категория подлежащего, выражаемого обычно именем в именительном падеже (номинативе), оказывается совершенно неизвестной многим другим языкам, несомненно самобытным и архаичным. Зато там четко выделяется в предложении субъект активного действия, он выражается специальным эргативным падежом, или просто э р г а т и в о м (от греч. *ergon* ‘действие’). (Активность действия обозначается очень просто: ее признаком служит наличие при глаголе объекта-дополнения.) Субъект же всех остальных глаголов (непереходных) морфологически не отличается от объекта: он стоит в так называемом абсолютном падеже (практически это чистая основа имени). К примеру, если перевести на чукотский язык фразы *Человек ходит, Олень ходит, Человек оленя убивает*, то мы получим разные соответствия русским формам именительного падежа, а именно: *Клявол чейвыркын, Кора чейвыркын, Кляволя кора нмыркынен*. В этих примерах слово *клявол* ‘человек’ стоит первый раз в абсолютном падеже, а второй (*кляволя*) — в эргативном. В то же время слово *кора* ‘олень’ дважды стоит в одной и той же форме абсолютива — все не так, как в русском! Получается, что здесь, в чукотском языке, глагол через свою семантику управляет выбором формы подлежащего, т.е. подлежащее зависит от глагола! (Это еще заметнее в других языках, в которых таких «падежей подлежащего» может быть не два, а больше: выбор одного из них действительно зависит от того, что означает глагол — состояние, восприятие, отношение...) Все это — проявление так называемого э р г а т и в н о

с т р о я, к которому принадлежат многие кавказские языки, языки индейцев Северной Америки и др.

Противопоставление эргативного строя номинативному (привычному для нас устройству фразы, при котором единовластным «хозяином» является именительный падеж) — важное звено в реконструкции древнейшего этапа в развитии синтаксиса.

От двучленных высказываний — один шаг к формированию трехчленных. В частности, первый из указанных выше прототипов — с глаголом, обозначающим активное действие, — легко мог распространяться указанием на того, кто производит это действие (типа ‘охотник + убив + олень’). Второй же прототип, обозначающий состояние субъекта, возможно, обнаруживал склонность к обстоятельственной конкретизации этого состояния, например: ‘олень + умер + где/когда/почему’ и т.п. А далее трехчленные образцы, вступая между собой в разнообразные комбинации, создавали основу для нового ветвления синтаксических конструкций...

Параллельно и одновременно с процессом развертывания и усложнения высказывания продолжалась, несомненно, функциональная специализация слов. Это значит, что те или иные слова со своими лексическими значениями закреплялись за определенными, становящимися для них привычными, синтаксическими ролями. Данный процесс приводил к появлению а р х а и ч н ы х членов предложения (хотя бы подобных тем, о которых мы только что говорили и которые можно было бы определить как «субъект», «объект», «предикат»). По мере того как эти слова, объединяясь в классы, получали и свои формальные признаки (морфологические и др.), складываются и первые ч а с т и р е ч и. Так, во многих языках имя со временем подразделяется на названия предметов (существительные) и названия признаков предметов (прилагательные), далее, могут выделяться еще названия количественного признака (числительные) и названия процессуального признака (причастия) и т.д.

Долгое время, однако, высказывание остается довольно

примитивным по своей внутренней организации. Его структура на историческом этапе лишена многомерности: связи между элементами в основной своей массе выражаются линейно и однообразно. Известно, что самые простые и древние способы выразить связь между словами это а) примыкание, когда одно слово (или корень, основа) буквально «прилепляется» к другому, и б) уподобление, когда одно слово повторяет форму другого. По-видимому, на каком-то этапе развития человеческого языка эти способы вполне соответствовали идее связности как таковой, но со временем развитие мысли, усложнение структуры плана содержания потребовало и более точной дифференциации способов, выражающих отношения между словами.

Например, в древних памятниках, написанных на санскрите*, мы находим фразы, синтаксическая структура которых кажется нам примитивной, одномерной. Если перевести их на русский язык, то получится буквально следующее: *убит ногами слонами, схвачен хоботом слоном* и т.п. Сегодня мы бы сказали «убит ногами — кого? (или чьими?) — слонов» и т.п. Точно так же в старославянских и древнерусских текстах, отдаленных от нас многими сотнями лет, встречается немало оборотов, в которых сегодняшней взгляд хочет увидеть более сложные и разнообразные отношения, чем те, которые зафиксированы представленными формами. Примеры из древнерусских былин и летописей: *Облил ведром водою, Постави Ярослав Лариона митрополита, Твоя ли та грамота рука? Шуба сукно малиново...* и т.п. На современном языке мы бы сказали: *Облил ведром воды (или водой из ведра), Ярослав поставил Лариона митрополитом, Твоей ли та грамота руки? Шуба малинового сукна...* А.А. Потембня, крупнейший авторитет в области исторического синтаксиса, отмечал: «Раздавлены ногами слонами» не бессмысленно: действительно «слонами (т.е. их) ногами». Только здесь

* *Санскрит* — древний литературный язык Индии; относится к индоиранской группе индоевропейской семьи языков, письменные памятники — с V в. до н. э.

отношение между двумя вещами никак не выражено, и они изображены, так сказать, на одной плоскости, без перспективы... Гораздо легче и потому первообразнее поставить два одинаковых падежа для выражения одинаковой самостоятельности вещей, чем падеж с родительным или два падежа с различными предлогами для выражения определенных отношений между этими вещами». Таким образом, историческое развитие синтаксиса проявлялось и в совершенствовании внутренней организации высказывания: на место линейного примыкания или уподобления форм приходила иерархия последовательного подчинения с ее разнообразными формами.

Далее, уже в таких древних письменных языках, как латинский или старославянский, высказывание-предложение начинает выражать сложную мысль. Прежде всего такая перестройка связывалась с причастием — промежуточной глагольно-именной формой. Причастие вместе с зависимыми словами образует причастный оборот, который мог обособляться и приобретать в древних языках довольно большую самостоятельность. Эти обороты так и называли: *genetivus absolutus* (родительный самостоятельный), *dativus absolutus* (дательный самостоятельный) и т.п. По форме предложение еще остается простым, а по своему содержанию объемлет уже несколько мыслей, соответствуя современным сложноподчиненным предложениям. Вот примеры с дательным самостоятельным из древнерусских летописей: *Древляном же пришедшим повеле Ольга мовь створити* (перевод: «Когда же древляне пришли, то Ольга велела приготовить баню»); *И бывшу молчанию и рече Владимир* («Когда наступило молчание, Владимир сказал»).

Причастные «очаги» — это только один путь постепенного формирования сложных предложений. Другой путь состоял в объединении простых предложений. Сначала это объединение носит бессоюзный, «примыкательный» характер. (Такую связь лингвисты называют паратаксисом, от греч. *paratáksis* ‘соположение’.) При этом два предложения, поставленные рядом, обнаруживают внутреннюю смысловую связь. Примеры из древнерусских летописей: *Не беше льзе*

коня напоити — на Лыбеди печенези («Нельзя было напоить коней, потому что на реке Лебедь стояли печенеги»); *Княже, поеди проче, не хотим тебе* («Князь, поезжай прочь, потому что мы тебя не хотим»). Но это «потому что», которое оказывается так на месте в современных переводах, было еще неизвестным (и ненужным!) нашим предкам: для них связь между предложениями с достаточностью выражалась простым соположением.

Аналогичные явления характерны для исторического синтаксиса и других, неславянских языков: там тоже почву для сложного предложения готовят причастные обороты и соположение в тексте простых предложений. Например, в древненемецком эпосе «Песнь о Нибелунгах» встречается фраза *ergezet si der leide und ir habet getan*, которую мы сегодня перевели бы как «Вознаградите ее за те страдания, которые вы ей причинили», хотя в буквальном переводе последняя часть цитаты значит «...и вы ей причинили».

Однако «настоящие» сложные предложения появляются только одновременно с развитием гипотаксиса (от греч. *hypotáksis* ‘подчинение’). Связь между частями сложного предложения становится в ы р а ж е н н о й, и прежде всего союзами. Причем опять-таки вначале развиваются союзы сочинительные, — вспомним фольклорные примеры вроде следующего, из былины про Алешу Поповича и Илью Муромца:

И не просил их князь на почестен стол,
И садились тут добры молодцы на добрых коней,
И поехали они во чисто поле...

И лишь затем из слов знаменательных, полнозначных, формируется класс подчинительных союзов и союзных слов — таких, как русские *если, потому что, чтобы, хотя, когда, который, несмотря на* и т.п.

Развитие сложного предложения сводится не только к возникновению специализированных средств связи — союзов. Это еще и осознание, усвоение внутренней синтаксической структуры простого предложения. Не случайно система придаточных частей сложноподчиненного предложения так

напоминает систему второстепенных членов простого предложения. Человек как бы повторял на новом витке уже освоенную модель. Фактически сложноподчиненное предложение и «выросло» из развертывания обычного члена предложения — обстоятельства, дополнения или определения — в целое (придаточное) предложение. Однако со временем это сложное целое подвергалось определенной перестройке и интеграции. Можно показать это на примере придаточных определительных в русском языке, которые первоначально включали в себя повторение определяемого слова из главного предложения, а затем преобразовались в более простую структуру. В тех же древнерусских текстах читаем: *За реку броду не спрашивает, котора река шириною пятнадцать верст; Вздень на себя шубу соболиную, да котора шуба в три тысячи.* Мы бы сейчас сказали: *Не спрашивает (кто-то) брода через реку, которая шириной пятнадцать верст; Надень на себя шубу соболиную, которая (стоит) три тысячи...* Дифференциация синтаксических отношений, появление специфических типов придаточных (которым нет точного эквивалента в системе членов предложения) и т.п. постепенно привело к формированию в современных языках сложного предложения как качественно новой единицы, которую нельзя свести к механической сумме составляющих ее простых предложений. Это один из итогов развития коммуникативных единиц.

21. Предложение и высказывание

Уточним различие между использованными в предыдущих разделах терминами «предложение» и «высказывание». Это понятия очень близкие и одновременно принципиально различные. В основе различия лежит общее противопоставление языка и речи. Язык — средство общения, существующее в сознании целого народа, в этом смысле он — абстракция, его нельзя услышать или увидеть (и даже самое подробное его описание никогда не будет полным). Речь, воп-

лощающаяся в текстах, — реализация языка, она материальна и конкретна. Ее можно произнести, услышать, описать с исчерпывающей полнотой.

Каждая единица языка имеет свое соответствие, своего «представителя» в речи. В частности, предложение как языковая единица синтаксического уровня реализуется в высказывании как речевой единице. Но разница между ними состоит не только в абстрактности/конкретности. Предложения обладают готовой, заданной в нашем сознании внутренней структурой. Они, говоря словами Э. Сепира, «могут служить основой для любых построений, потребных говорящему или пишущему, но сами в застывшем виде «даны» традицией». Высказывания же — это продукт речетворчества. Они определяются конкретной обстановкой речевого акта и каждый раз создаются заново. Никакого противоречия тут нет.

Жизнь вокруг нас бесконечно многообразна, но в этом многообразии мы постоянно находим сходство, повторяемость. Предположим, мы наблюдаем различные жизненные случаи, которые можно обозначить так:

Отец достает из портфеля апельсины.
Котенок выкатил клубок из-под дивана.
Кто-то вынул газеты из ящика.
Хозяйка выметает мусор из комнаты.

То общее, что объединяет между собой все эти разные примеры, можно назвать «ситуацией извлечения». Определим ее так: «кто-то (субъект) извлекает, перемещает наружу (предикат) — какой-то предмет (объект) из какого-то замкнутого пространства (место)». Обобщающая сила языка позволяет нам «увидеть» все эти случаи одинаково, подвести их под только что описанную типовую ситуацию, выразить в подобных по своему строению высказываниях. Вот этот языковой образец, модель, по которой строятся реальные высказывания, и есть предложение. В каком-то смысле можно утверждать, что «Отец (котенок, кто-то, хозяйка) достает (выкатывает, вынимает, выметает) апельсины (клубок, газеты, му-

сор) из портфеля (из-под дивана, из ящика, из комнаты)» — это все одно предложение! Только каждый раз, в соответствии с реальной ситуацией и потребностями общения, данная языковая единица выступает в виде того или иного высказывания...

Заметим при этом: каждый из описанных нами жизненных случаев можно было бы представить по-другому, подведя его под иной образец (или иные образцы) — и в результате мы имели бы дело с другими предложениями. Например, вместо: *Кто-то вынул газеты из ящика* можно было бы сказать: *Кто-то освободил (опорожнил, разгрузил) ящик от газет*, или *Газеты были в ящике, а теперь их там нет*, или еще: *Кому-то понадобились газеты (из ящика)* и т.п. Теперь уже перед нами не просто разные высказывания, это — разные модели, разные предложения.

Итак, содержание предложения как языковой модели составляет типовая (обобщенная) ситуация. В нашем примере это была ситуация извлечения. В других случаях это могут быть ситуации, скажем, движения, состояния, восприятия, преобразования, отождествления и т.п. Не случайно мы обозначаем ситуации, как правило, отглагольными словами: их основу составляют предикаты, т.е. виды отношений, которые наше сознание устанавливает между сущностями. Каждый предикат предопределяет свой состав «участников» ситуации (по-другому, аргументов, или актантов). Предикатам движения свойствен свой состав аргументов, предикатам состояния — свой... Субъект, объект, адресат, инструмент, место и т.д. — это всё «участники» ситуаций. Что же касается внутренней структуры типовой ситуации, то в самом общем виде она сводится к подчинению: «участники» ситуации подчиняются предикату, предикат определяет количество аргументов и их важность (своего рода внутренний порядок, последовательность их появления в сознании).

Предложение как модель, как синтаксический образец минимально: оно включает набор только самых необходимых «участников», но зато уж обойтись без них (если мы хотим точно передать смысл ситуации и при этом построить пра-

вильное высказывание) совершенно невозможно. К примеру, «ситуация извлечения» подразумевает наличие трех «участников» (не считая, разумеется, предиката): кто извлекает, что и откуда. Если бы мы попытались сузить круг этих обязательных элементов, то получили бы в речи или неправильное, неграмотное высказывание, или реализацию другой модели, с другим значением. Попробуем «сокращать» приведенный ранее пример: *Отец достает из портфеля* (так и хочется спросить: что?), *Достает из портфеля* (кто? что?), *Отец достает* (что? откуда?), *Отец достает апельсины* (из чего?)...

Говорящий, конечно, может специально, сознательно не выполнить каких-то синтаксических «обязательств», но тогда это не более чем игра с читателем, своего рода языковое озорство. Например, одно из стихотворений Даниила Хармса, родоначальника отечественной литературы абсурда, начинается так:

Как-то бабушка махнула,
И тотчас же паровоз
Детям подал и сказал:
Пейте кашу и сундук.
Утром дети шли назад,
Сели дети на забор
И сказали: вороной,
Поработай, я не буду...

Вся прелесть этого текста, его поэтическая диковинность в значительной мере основывается на лингвистическом «штучкарстве», на опущении обязательных членов предложения. Если бы было сказано: «Как-то бабушка махнула р у к о й, и тотчас же паровоз детям подал с и г н а л и сказал: пейте ч а й, е ш ь т е кашу и н е т р о г а й т е сундук...» — то все стало бы ясным и правильным, только стихотворение исчезло бы, весь художественный эффект пропал бы...

Но вот допустим, *Отец достает из портфеля апельсины* образовано по одной модели, *Петя пишет письмо другу* — по другой, *Пенсионер получает пенсию* — по третьей, *Солнце светит* — по четвертой и т.д. Можно ли составить список таких моделей, их полный перечень? Да, такие списки су-

пеществуют, они, в частности, помогают преподавать язык, особенно иностранцам. Что же касается обычного носителя языка, то у него такой список, можно сказать, содержится в голове, он им пользуется постоянно. Если человек встречается в газете фразу с незнакомыми ему словами, вроде *Промоутеры лоббируют хайринг*, то для того, чтобы понять ее, ему необходимо не только узнать значения соответствующих слов, но и соотнести фразу с известными ему образцами, вплоть до букварного *Мама мыла раму* и т.п.

Каждую модель говорящий и слушающий используют в своей речи неограниченное количество раз — данное свойство соответствует свойству воспроизводимости языковых единиц. Естественно, каждый раз предложение заполняется новыми словами, в соответствующих грамматических формах и т.п. — это зависит от отражаемой ситуации. Однако такая свобода лексического, морфологического и иного варьирования предложения создает некоторые проблемы. Обратим внимание на то, что человеку удобно иметь дело с типичными, стандартными представителями явлений (в том числе языковых). Такие образцовые примеры называют прототипами. Наша грамматика, можно сказать, насквозь прототипична. Попросите собеседника назвать любое существительное — и он с легкостью ответит: *стол, рука, дом...* Но вряд ли он скажет: *увлечение, краснота, старт*: это не столь типичные существительные, как *стол* или *рука*. Так и в синтаксисе. Иногда высказывание так далеко отходит от исходного образца, что не сразу определишь: это еще та же самая модель или уже другая?

Возьмем, к примеру, уже знакомую нам «ситуацию извлечения» (*Отец достает из портфеля апельсина*). А можно ли сказать, что по той же самой модели образовано высказывание: *Буря выгнала медведя из берлоги?* Вроде бы да. Но ведь эта фраза означает не ‘Непогода переместила медведя из берлоги наружу’, а ‘Непогода заставила медведя выйти из берлоги’ или даже ‘Из-за непогоды медведь вылез из берлоги’. Точно так же высказывание *Грузовики вывозят людей из города* означает не просто ‘Грузовики перемещают людей

из города', а 'Люди на грузовиках выезжают из города' (а может быть, даже 'Кто-то вывозит людей из города на грузовиках')... Получается, что значения слов, «подставляемых» в предложение, должны соответствовать некоторым семантическим условиям — например, обозначать предмет или, наоборот, живое существо и т.д. А они не всегда этим ограничениям следуют. Это приводит к расширению значения модели, а возможно, и к смешению, пересечению ее с другими моделями.

В целом же для предложения как языковой единицы в противоположность высказыванию как единице речевой характерны следующие признаки: а) обобщенность значения, б) минимальность структуры и в) воспроизводимость в речевой деятельности.

Обратившись к высказыванию, следует указать, во-первых, что оно представляет собой реализацию предложения — лексическое, морфологическое и фонетическое его воплощение. Это значит, что предложение заполняется конкретными словами в конкретных грамматических формах, в частности, при этом появляются значения числа, лица, времени, вида и других грамматических категорий. Сравним следующие примеры: *Я читаю книгу* — *Я читаю книги* — *Он читал книги* — *Он читал бы книги* — *Он просмотрел бы газеты* и т.д. Это всё разные высказывания, построенные по одной и той же синтаксической модели. Заметим, что в грамматических значениях лица и времени содержатся своего рода координаты отражаемой ситуации, ее место в мире говорящего. А именно: указывается в р е м я, когда данная ситуация происходит — в момент речи (это настоящее время), раньше момента речи (прошедшее время) или позже (будущее время). «Привязка» события ко времени может быть и более сложной, например: раньше момента речи, но позже какого-то другого момента... В высказывании обозначается также м е с т о ситуации в пространстве: где она происходит, с кем — с самим говорящим (1-е лицо), с его собеседником (2-е лицо) или с кем-то (чем-то), не участвующим в речевом акте (3-е лицо). Данное свойство высказывания — способ-

ность отражать место и время описываемой ситуации — называется в лингвистике *п р е д и к а т и в н о с т ь ю* .

Во-вторых, в высказывании воплощается определенное коммуникативное задание: указывается то, ради чего, собственно, говорящий и «затекает» свою деятельность. Это может быть в конкретных случаях просьба, приказание, утверждение, отрицание, предположение, сомнение, вопрос, сожаление и т.д. Одно дело — сказать: *Петя вынул руки из карманов*, а другое — *Петя не вынул рук из карманов*. Или: *Петя, вынь, пожалуйста, руки из карманов*, или: *Вроде бы Петя вынул руки из карманов*, или: *Если бы только Петя вынул руки из карманов...*

В-третьих, в высказывании могут происходить разнообразные преобразования по сравнению с исходной моделью (предложением). В частности, в нем могут появиться новые члены — распространители. Сравним возможности развертывания следующих фраз:

Я купил книгу — вчера, интересную, о дельфинах, в букинистическом магазине, в подарок сестре...

Петя пишет письмо другу — заболевший ангиной, подробно, в деревню, о своих городских впечатлениях...

Солнце светит — июльское, немилосердно, прямо в глаза, уже который день...

Это значит, что к отражению типовой, обобщенной ситуации добавляются какие-то детали, подробности, составляющие специфику конкретного речевого акта. При этом отношения подчинения, связывающие между собой элементы предложения (предикат и аргументы, о которых уже шла речь), в высказывании становятся более разнообразными: возникают разные виды связи между словами (согласование, управление, примыкание...). В целом же синтаксическая структура высказывания образует сложную, часто многоуровневую иерархию. И изображать, представлять ее можно разными способами. Например, часто изображают высказывание в виде «корневой системы» дерева: от главного члена предложения вниз отходят цепочки последовательного подчинения и вилки соподчинительных отношений, а наряду с

ними во фразе формируются еще и сочинительные связи... Так, русское высказывание *Заболевший ангиной Петя пишет другу в деревню подробное письмо о своих городских впечатлениях* — имеет примерно следующую внутреннюю структуру:

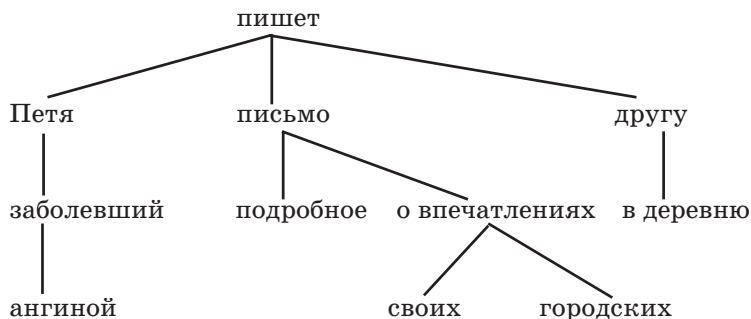


Схема эта примерна, потому что в расстановке подчинительных связей могут допускаться некоторые варианты. (Это касается, в частности, словоформы *в деревню*: то ли она зависит от словоформы *пишет*, то ли — как у нас на схеме — от словоформы *другу*. В принципе синтаксис допускает обе эти возможности.) Кроме того, надо было бы еще специально объяснить, почему мы в вершину «дерева» поместили глагольное сказуемое (а не подлежащее?), сделали его единовластным «распорядителем» высказывания — но об этом в следующем разделе.

Наконец, в-четвертых, в высказывании сигнализируется, что именно в сообщении является наиболее важным, перво-степенным, а что, скорее всего, и без того известно собеседнику. Так, в высказывании *Я вчера купил интересную книгу* главное — факт покупки книги. А в высказывании *Книгу я вчера купил интересную* главное — характеристика книги. Перед нами опять-таки разные высказывания, соответствующие одному предложению как синтаксической модели. (Замечу, что подобные смысловые различия можно выразить не только с помощью изменения порядка слов, но и с помощью иных средств, в частности интонации, специальных ча-

стиц и т.п., ср.: *Я вчера купил ин-те-рес-ную книгу!* или *Я вчера купил чрезвычайно интересную книгу!* и т.п.) Деление высказывания на содержательно не важную, «известную» для собеседников часть (тему) и содержательно «важную», «новостную» часть (рему) называется а к т у а л ь н ы м ч л е н е н и е м в ы с к а з ы в а н и я .

Не следует думать, что актуальное членение высказывания сводится лишь к расстановке логических акцентов во фразе. Нет, это обязательное условие включения сообщения в диалог или, говоря шире, в общий контекст. Так, фраза *Дети в саду* является ответом на вопрос (или продолжением разговора на тему): «А где дети?» Высказывание же *В саду дети* — это, скорее всего, ответ на вопрос: «А кто это там в саду?». Более того, членение сообщения на две различные в коммуникативном отношении части может иметь непосредственные последствия для участников речевого акта. К примеру, высказывание *Лекция в зале* может быть истолковано как п р и г л а ш е н и е: *Вы на лекцию? Лекция в зале.* А высказывание *В зале лекция*, наоборот, содержит в себе п р е д о с т е р е ж е н и е или даже з а п р е т: *Вы в зал? В зале лекция.*

Все это иллюстрирует различные прагматические (т.е. имеющие практические следствия для общающихся) аспекты высказывания.

22. Человек овладевает грамматикой, грамматика овладевает человеком

Свойство обобщать явления действительности заложено в самой природе человеческого языка. Однако в сфере грамматики это свойство проявляется наиболее очевидно. Мы уже видели: самые разные жизненные ситуации можно подвести под одну и ту же схему — одно и то же предложение. Несколько десятков синтаксических моделей (примерно таково в языке количество разных «предложений») достаточно для того, чтобы покрыть все многообразие жизненных случаев. При

этом самые различные явления природы, предметы, люди и т.д. могут выступать в качестве одной и той же семантической функции, одного и того же «участника ситуации», например субъекта. Таким образом человек обобщает и закрепляет свой многовековой опыт в виде грамматических правил. Иными словами, грамматика как способ организации и выражения мысли основана на максимально обобщенной классификации явлений действительности и отношений между ними.



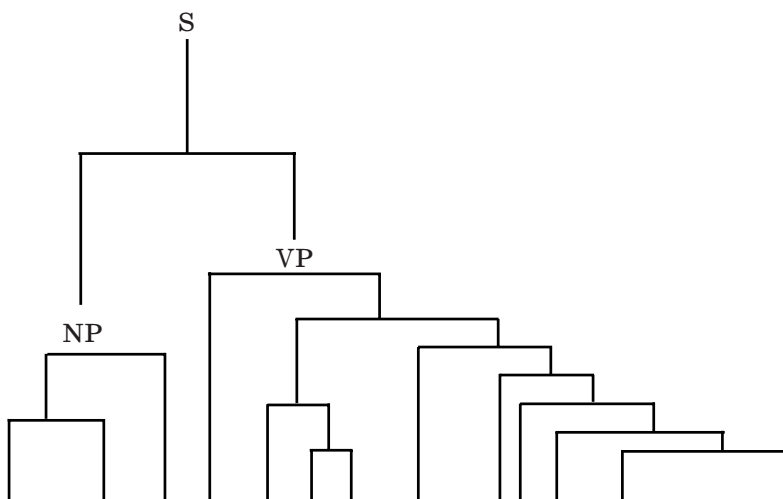
Н. Хомский

Существуют ли общие и обязательные принципы устройства грамматики? Можно ли найти какие-то единые правила классификации слов, строения предложений и т.п.? Такие попытки делались уже давно. В частности, в XVII в. монахи французского монастыря Пор-Рояль А. Арно и К. Лансло сочинили «Всеобщую и рациональную грамматику». В ней все классификации языковых единиц, все грамматические категории подводились под «основные операции рассудка» и в этом смысле были применимы к материалу любого языка.

Значительно позже, уже в наше время, попытку создания универсальной грамматики предпринял американский лингвист Ноам Хомский.

Основываясь на достижениях своих предшественников и коллег, Хомский создал теорию порождающей (или генеративной) грамматики, которая с 60-х годов XX века стала успешно распространяться по всему миру. Достоинству этой грамматики, действительно, было немало. Во-первых, она декларировала, что, овладев языком (освоив «языковую компетенцию»), человек затем способен производить (порождать) и понимать бесчисленное количество грамматически

правильных высказываний. Все эти единицы строятся по некоторым общим образцам, а первый шаг в создании или членении высказывания — это деление его на именную и глагольную группу (знакомое нам по идее изначального противопоставления глагола и имени). Затем, на каждом следующем шаге, языковая единица последовательно делится на две составляющие — до тех пор, пока не будет описан весь ряд минимальных единиц. К примеру, приведенное ранее высказывание про заболевшего Петю получает в этой грамматике следующий вид:



Заболевший ангиной Петя пишет другу в деревню подробное письмо о своих городских впечатлениях

На схеме: S означает sentence, т.е. по-английски «предложение»,
 NP и VP соответственно noun phrase — «именная группа»
 и verb phrase — «глагольная группа»

Правда, оказалось, что материал разных языков с разной степенью легкости «укладывается» в такой способ моделирования, и открытые при этом закономерности (в частности, то, что дерево «непосредственно составляющих», как это видно и на схеме, обычно ветвится вправо, а не влево) тоже не так уж универсальны. Но главное, что теория Хомского оказалась очень удобной для диалога человека с компьютером,

для создания программ машинного перевода и автоматического анализа текстов. В этом смысле можно утверждать, что порождающая грамматика произвела своего рода революцию в лингвистике конца XX в.

Языковая компетенция, по Н. Хомскому, состоит из трех основных компонентов: синтаксического, семантического и фонологического. Однако насколько все эти знания универсальны по своему существованию для представителей разных народов? Усваивая с детства язык, человек, естественно, общается к правилам, выработанным предшествующими поколениями, — это часть подписываемой им «конвенции». Но ведь разные народы и соответственно разные языки обладают различным опытом, да и грамматическая классификация лишь в самых общих чертах соотносится с устройством мира, т.е. слабо опирается на свойства объективной действительности. В большей же мере это — достояние и специфика самого языка.

Значит, в каком-то смысле грамматика условна и «выдуманна». Никакой язык не может обойтись без грамматики, но каждый язык «решает» сам, какие правила ему выбрать и утвердить в качестве обязательных предписаний. В частности, тому, кто изучает русский язык, надо запомнить: *мяч* — мужского рода, а *ночь* — женского, поэтому мы говорим *синий мяч*, но: *синяя ночь*; *мяч упал*, но: *ночь упала (на город)*, в родительном падеже — *мяча*, но: *ночи* и т.п. И никакого отношения к биологии, к мужскому и женскому полу это противопоставление не имеет: и *мяч*, и *ночь* приписаны к своим классам на основании условных, формальных признаков. (Особенно явно независимость грамматического рода от биологического пола видна на примере существительных среднего рода: какому «полу» они могут соответствовать?) Поэтому нет ничего удивительного в том, что существуют языки, которым категория рода вообще неизвестна. Таков, например, английский: там существительные и прилагательные не согласуются в роде, а связь между словами выражается иными, неморфологическими средствами, в частности порядком слов. С другой стороны, есть языки, в которых подобных со-

гласовательных классов (а род, по существу, и нужен для согласования, для связи слов друг с другом) — не два и не три, а 10 или 15.

Скажем, в одном из наиболее распространенных в Африке языков — суахили — существует класс слов, обозначающий людей, класс, обозначающий большие предметы, отдельно — класс, обозначающий предметы малые, далее, класс, обозначающий растения и предметы, изготовленные из них, и т.д. И каждый из них имеет свой признак (префикс), повторяемый в согласуемых словах.

В целом можно сказать, что *развитие грамматических значений идет по пути отдаления, отталкивания от категорий реальной действительности*. Сравним биологический пол и формирующуюся на его основе (в некоторых языках) категорию грамматического рода. Или другой пример: сравним физическое (объективное) время и время грамматическое, очень по-разному представленное в разных языках. Достаточно сказать, что в некоторых языках есть по несколько прошедших и будущих времен, и в то же время есть языки, в которых время вообще грамматически не выражается... Еще один пример: предметы в реальной действительности группируются в множества, однако категория грамматического числа в языках мира оказывается довольно своеобразной и слабо зависящей от реального количества. Конечно, число — вообще абстракция, и для древнего человека, учившегося считать, огромным достижением было осознание того, что можно складывать, скажем, яблоки с грушами или лошадей с овцами. Но и число в языке, в грамматике требовало длительной абстрагирующей работы мозга. Для нас вот кажется совершенно естественным противопоставление единственного и множественного числа (*стол — столы*). Но представим себе, что, говоря о нескольких (многих) предметах, мы должны были бы употреблять другое слово — в таком случае числа как грамматической категории просто не существовало бы! А ведь это ситуация вполне реальная, разве что ограниченная небольшим количеством слов (ср. в русском языке: *человек и люди, ребенок и дети*). Однако и в том случае,

если существительное нормально изменяется по числам, надо иметь в виду, что данная грамматическая категория сложилась не сразу и не во всех языках одинаково. Особенную трудность при этом составляло осознание того, что *два* — это тоже ‘много’ (тем более что к числу «два» у человека было особое отношение: у него ведь две руки, две ноги, два глаза, два уха, двое родителей и т.д.). Поэтому в некоторых языках и сегодня наряду с единственным и множественным числами сохраняется отдельное двойственное число. И там, говоря, например, «Мы пошли в кино», следует употребить разные формы слов, если эти «мы» — два человека и если «мы» — большее число лиц...

Вспомним еще о языках с эргативным строем. В них эргатив — падеж активного субъекта — четко противопоставлен всем остальным «участникам ситуации». На этом фоне именительный падеж в языках номинативного строя выглядит семантически расплывчатым и неопределенным. В самом деле, что обозначает подлежащее в русском языке? Если иметь в виду такие «прототипические» примеры, как *Крестьянин косит траву, Таня рисует кошку*, и т.п., то все ясно: это производитель действия. А если взять более сложные («менее типичные») случаи, вроде *Дом строится, Посуда любит чистоту, Соседа берет зависть, Сыну год?* Можно ли сказать, что во всех приведенных высказываниях имя в именительном падеже обозначает производителя действия? По-видимому, нет. Может быть, оно обозначает предмет мысли («то, о чем говорится в предложении»)? Тоже вряд ли (в примере *Соседа берет зависть* речь идет скорее уж о соседе)... Еще труднее интерпретировать примеры типа *Денег на счет не поступало* или *Воды в графине не осталось* — чем они «хуже», чем *Деньги на счет не поступали* или *Вода в графине осталась*, в которых есть «полноценное» подлежащее? Многие ученые, кстати, считают, что подлежащее имеется и в случаях типа *Денег на счет не поступало*, только оно выражено там не именительным падежом (в противном случае нам пришлось бы признать, что подлежащее — не чисто синтаксическая категория, а явная уступка морфологии —

коль скоро мы «привязываем» его к определенной морфологической форме).

Наконец, если мы обратимся к материалу других, «экзотических», языков, то окажется, что привычная для нас система членов предложения или морфологических типов слов там вообще не «работает»: наша грамматика для этого слишком «европоцентрична». В частности, Э. Сепир приводит следующий пример из языка племени пайуте (Северная Америка): *wii-to-kuchum-punku-rügani-yugwi-va-ntü-m(ü)*, что означает буквально: ‘нож-черный-бизон-ручной-разрезать-сидеть (мн. ч.) — буд. вр. — причастие — одушевл. мн. ч.’, или ‘те, которые собираются сидеть и разрезать ножом черного быка’. Это, строго говоря, одно слово: причастная форма, но как описать ее в терминах традиционной европейской грамматики?

Вернемся к проблеме определения подлежащего. Из указанной ситуации есть два кардинальных выхода, и оба они имеют сторонников среди современных ученых. Первый путь: отказаться от «морфологизма» в определении членов предложения и считать, что подлежащее — это главный член, называющий предмет (субстанцию), которому приписывается некоторый признак. И все. Тогда *сыну* в примере *Сыну год* — это подлежащее. Второй путь: вообще отказать подлежащему в статусе главного члена и рассматривать его (наравне с дополнениями) как один из аргументов при предикате. Понятно, что в таком случае сказуемое становится единовластным «правителем» во фразе, а подлежащее — не более чем первым «участником ситуации». В любом случае мы убеждаемся в том, что само существование номинативного строя опирается на отрыв, на отталкивание от фактов реальной действительности.

В этом смысле еще больший скачок в формировании грамматических абстракций являют собой так называемые безличные предложения — высказывания, в которых нет подлежащего. Представить себе действие в отвлечении от того, кто его производит, от первого «участника ситуации», а иногда и вообще от каких бы то ни было участников, — изобретение не меньшее, чем колесо в истории человечества. Действи-

тельно, мы свободно говорим: *Светает*. А что светает? Что имеется в виду — день? утро? небо? небосклон?.. Да неизвестно что! Вся сложность в том, что данное высказывание, состоящее из одного предиката (сказуемого), самодостаточно для обозначения ситуации. И не случайно рядом с банальными примерами типа *Ветер перевернул лодку* в некоторых языках, в том числе в русском, появляются конструкции типа *Ветром перевернуло лодку*. Кто здесь является первым «участником» — ветер? Нет, он специально «сдвинут» на вторые роли, а место подлежащего никем не занято или, лучше сказать, занято кем-то заведомо неизвестными: человеческая мысль может представить ситуацию как бы происходящей самой по себе или по воле какой-то высшей силы.

Синтаксические модели, члены предложения, части речи, виды связей между словами — все это понятия очень высокого уровня обобщения, **важнейшие категории грамматики**. Овладевая ими, человек овладевает языком. Вместе с тем они учат его четкости, системности мысли. Системный характер грамматики особенно заметен в сравнении с лексикой, со словарем. В самом деле, слов в языке очень много — десятки, сотни тысяч, отношения между ними разнообразны, и классов (групп), основанных на этих отношениях, тоже немало. Поэтому одно и то же слово в один и тот же момент связано (и противопоставлено) со множеством других слов (подробнее об этом в разделе 23). В грамматике же количество классов, противопоставленных друг другу, невелико, а отношения между ними ясны и прозрачны. Ну, вот хотя бы в современном русском языке: чисел здесь два, времен — три, падежей — шесть... Нам ясно, по какому признаку прошедшее время противопоставлено настоящему, а винительный падеж — предложному и т.д. И хотя есть языки с большим количеством времен, да и падежей может быть не 6, а 12 или 14, все равно отношения между членами грамматических противопоставлений остаются определенными и строгими.

Замечательному русскому лингвисту Л.В. Щербе приписывают следующий шуточный перифраз известного суворовского афоризма: «Лексика — дура, грамматика молодец».

Ученый имел в виду как раз отчетливость и строгость грамматических отношений. Не случайно ведь описание грамматики занимает в принципе меньше места, чем описание лексики, т.е. словарь. Не случайно и то, что в грамматике всегда обнаруживаются какие-то исключения из правил, просто они «на виду», сразу бросаются в глаза. В лексике тоже встречаются те или иные аномалии, отклонения от правил, — например, отсутствие необходимого слова. Но здесь это как бы не замечается, легко «сходит с рук», система тут имеет не столь явный характер.

Тому же Л.В. Щербе принадлежит знаменитый в среде филологов пример с «глокой куздрой». (О нем хорошо рассказал Л. Успенский в своей книге «Слово о словах».) Профессор любил давать студентам каверзное задание: он диктовал им высказывание *Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка* и просил объяснить: что бы оно значило? В конце концов оказывалось, что даже из такого искусственного высказывания, в котором нет ни одного нормального русского слова, можно довольно много узнать благодаря значениям грамматическим, выражаемым порядком слов, окончаниями, суффиксами, служебными словами... Мы понимаем, в частности, что речь здесь идет о *куздре* (это подлежащее — существительное в именительном падеже), что эта *куздра* — *глокая* (определение), что она — что сделала? — *будланула* (сказуемое), причем, судя по всему, только один раз (об этом нам говорит суффикс *-ну-*) и т.д. Короче, данный пример призван показать важность и самостоятельность грамматических значений, относительную независимость грамматики от лексики.

Итак, грамматика не просто необходима для языка, она, согласно еще одному старинному афоризму, «ум в порядок приводит». Как это следует понимать? **Грамматика составляет основу и образец для классификаций.** Благодаря очевидно системному характеру своих противопоставлений она оказывает влияние на формирование принципов логических операций в сознании человека, да и в значительной мере на его практическую деятельность.

Случайно ли, спросим себя, в грамматике столь распространены числа 2 и 3? (Вспомните, применительно к русскому языку: чисел тут два, лиц три, наклонений тоже три...) По-видимому, нет. В таких двучленных и трехчленных оппозициях находит отражение человеческое стремление к максимальному обобщению явлений действительности. (Кроме того, в частном случае двучленное противопоставление может основываться вообще на одном семантическом признаке, точнее, его присутствии или отсутствии. Так, глаголы совершенного вида — *сделать, сказать, принести* — содержат в своем значении элемент предельности действия, глаголы несовершенного вида — *делать, говорить, нести* — такого значения не имеют.) Все это свидетельства обобщающей деятельности мозга, и трудно переоценить тот факт, что каждое поколение людей приходит в мир готовых абстракций. Грамматические правила — своего рода рельсы, по которым движется поезд человеческого познания.

Однако не надо считать правила грамматики безжизненными и окостенелыми. Наоборот, при всей своей строгости они допускают некоторую свободу выбора. В частности, грамматические конструкции могут иметь варианты (например, можно сказать: *Я не читал эту книгу* или *Я не читал этой книги*, *Боярам приказали брить бороды* или *Боярам приказали брить бороду* и т.п.). Следовательно, противопоставление грамматических классов иногда нейтрализуется, в чем-то сглаживается, — скажем, единственное число может выступать в роли множественного, а настоящее время — в значении прошедшего и т.д. Через такое «расшатывание» своих границ грамматическая система получает возможность развития, эволюционирования. Например: в истории русского языка конкуренция падежных и предложно-падежных форм существительного приводила к формированию различных пространственных отношений. Когда-то говорили «идти Киеву»: в дательном падеже без предлога, затем — «идти к Киеву»: с предлогом *к*. Сегодня мы можем при помощи разнообразных форм — *идти в Киев, идти на Киев, идти до Киева, идти к Киеву* и т.п. — выразить множество семанти-

ческих оттенков: общего направления, конечной точки (цели), движения, предела (ограничения) и т.д. Сама мысль стала точнее, дифференцированнее, и грамматика, синтаксис предоставляют для этого необходимые средства.

Другой пример. Иногда в русском языке слова, в частности существительные, в тексте как бы прилепляются друг к другу в одинаковых формах. Между ними возникает особая — паратактическая (вспомним термин *паратаксис*) — связь, и одновременно формируется новое понятие. Вот, скажем, *рука* — известно, что это такое. И *нога* — тоже понятно. А *руки-ноги* — уже какое-то новое, сборное, собирательное понятие. Нередко человек, не желая или не умея точно очертить данные предметы, так их и обозначает — сочетанием существительных во множественном числе, ср.: *печки-лавочки, сушики-баранки, книжки-тетрадки, банки-бутылки*. Получается, что чисто грамматический феномен (особенности синтаксической связи между словами) способствует формированию новых мыслительных категорий — понятий, которым свойственна бо́льшая по сравнению с обычными понятиями степень «размытости», приблизительности, нечеткости.

Третий пример, который можно было бы проиллюстрировать материалом любого языка. Бывает, что одни и те же слова способны занимать в высказывании разные синтаксические позиции, иначе играть разные роли. Так, по-русски можно сказать: *Люди без жилища*, а можно — *Жилище без людей*, можно сказать *Философия нищеты*, а можно — *Нищета философии...* Разумеется, для этого слова должны отвечать определенным семантическим условиям, диктуемым этими синтаксическими позициями (вряд ли, например, такой же «свободой поведения» обладают члены словосочетаний *Люди без образования* или *Философия буржуазии*). Слова могут меняться своими местами — и соответственно ролями — в рамках одного контекста. Такой синтаксический «перевертыш» оживляет текст, создает дополнительный эстетический эффект, и это понятно: за формальным сходством конструкций скрывается их разное содержание! Вот несколько примеров: «Фотография с историей (или история с фотографи-

ей)» (рубрика в газете «Известия»); «Право силы исключает силу права» (заголовок в «Комсомольской правде»); «Недостаточная сердечность приводит к сердечной недостаточности» (из концертного концеранса) и т.п.

Но данный прием, становясь своего рода игрой, легко переходит границы грамматических правил, в том числе и семантических условий реализации синтаксических позиций. В частности, при многих предикатах — преобразующего воздействия, восприятия, отношения, перемещения и т.п. — одно и то же существительное способно в равной степени играть роль субъекта (производителя действия) или же его объекта. Ср. высказывания вроде: *Петя катает сестру — Сестра катает Петю, Кавалеры выбирают дам — Дамы выбирают кавалеров, Механик ждет водителя — Водитель ждет механика* и т.п. Это нормально. А что если распространить действие приема синтаксического перевертыша на иные существительные? Например, на существительные с предметным или абстрактным значением? Тогда мы получим метафору, так называемое остранение* текста. Действительно, подобные конструкции используются в литературе, например, в качестве заголовков, афоризмов и т.п. Ср.: *Человек выбирает язык — Язык выбирает человека, Мы убиваем время — Время убивает нас*, в конце концов (заголовок данного раздела): *Человек овладевает грамматикой, грамматика овладевает человеком!* Но разве, спросим себя, наше понимание субъекта при этом осталось тем же самым, что и в примерах типа *Петя катает сестру* или *Механик ждет водителя*? Нет, оно стало шире или, если угодно, «мягче»: мы уже допускаем, что в роли «первого участника ситуации» может выступать *язык, время, грамматика...* Чисто, казалось бы, механический прием — перестановка слов в высказывании — ведет, как и в предыдущих случаях, к расшатыванию мыслительных канонов.

* Термин 'остранение' — от слова *странный* — был введен в литературоведение В.Б. Шкловским.

Можно утверждать, таким образом, что грамматика в каком-то смысле ведет за собой мысль, торит ей дорогу. Изменение грамматических правил, конкуренция синтаксических вариантов, появление новых сочетаний и конструкций приводят в конечном счете к иному «взгляду на действительность», способствуют развитию человеческого познания.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Что, по-вашему, означает слово *маринарка*, употребленное в следующем контексте:

В порыжелых домотканых маринарках, в платках, картузах и польских форменных фуражках с лакированными козырьками, они теснились у подвод, ходили по рядам, ко всему приценивались, покупали же мало, только что из одежды (В. Богомолов. «Момент истины»).

На основании чего читатель определяет значение данного слова?

2. По «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, слово *гнездо* имеет следующие значения: 1. У птиц, насекомых и т.п.: место житья и кладки яиц... 2. Выводок животных ... 3. Группа молодых растений... 4. Углубление, куда что-н. вставляется... 5. Укрытое место для чего-н. ... 6. Группа однокоренных производных слов.

Можно ли свести к какому-то из этих значений содержание слова *гнездо* в следующей цитате из «Записок на манжетах» М. Булгакова: *В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов?* Как мы понимаем данную фразу и на основании чего устанавливаем значение конкретного слова в ней?

3. В одной научной книге (П. Линдсей, Д. Норман. Переработка информации у человека. — М., 1974) приводится следующее «русское» высказывание: *В глке с рупповыми локсенами и кейтером мункните локсен в бламп и в гратце появится бим.* Что это означает? Попытайтесь перевести фразу на нормальный русский язык. Какое слово в данном тексте «неправильно», т.е. выпадает из общего ряда? Что нам позволяет считать это высказывание русским?

4. Представим себе, что в приведенном только что примере форма *в гратце* написана слитно: *вгратце*. Что изменится в содержании предложения?

5. Составьте простое высказывание из следующих слов, приводимых ниже «россыпью», в исходных формах и в алфавитном порядке.

Бумага, в, вид, вчера, лестничный, какой-то, мой, мужчина, обед, оберточный, пакет, передать, площадка, по, после, приятный, продолговатый, с, соседка.

Что вам помогает выполнить это задание? А что мешает?

6. А теперь (в отличие от предыдущей задачи) слова, составляющие высказывание, приведены в своих конкретных грамматических формах (словоформах). Составьте из них высказывание. Объясните, почему данное задание легче предыдущего.

В бумаге, вчера, лестничной, какой-то, моей, мужчина, оберточной, пакет, передал, по площадке, после обеда, приятный, продолговатый, с виду, соседке.

7. Составьте схему («дерево») синтаксической структуры следующего высказывания, изображая подчинительные связи стрелками.

Вчера в букинистическом магазине я купил в подарок сестре интересную книгу о дельфинах.

8. Сравните две группы высказываний.

а) Вода прорвала плотину.

В этот день он не мог усидеть дома.

Судорога сводит у пловца ногу.

Куртка пахнет бензином.

На повороте машина съехала в кювет.

б) Плотину прорвало напором воды.

В этот день ему не сиделось дома.

У пловца судорогой свело ногу.

От куртки пахнет бензином.

На повороте машину занесло.

Что характерно для значений второй группы примеров? Кто здесь производит действие? Как называются такие предложения? Как можно объяснить особенности их строения?

9. В древнерусской былине про Василия Буслаева говорится, в частности: «Пошли к Ваське на широкий двор. К тому чану зелену вину». Как понять выражение «к чану зелену вину», в чем его синтаксическая специфика? Как меняется структура подобных выражений в современном русском языке?
10. Прочитайте следующие высказывания. Какую синтаксическую роль играет в них слово *путем*? Какой частью речи оно является?
- Вы идите напрямик, а мы пойдем кружным путем. Все надо было делать путем. Конфликт можно решить путем переговоров.
11. Какой член предложения и какую часть речи представляет собой слово *тихо* в следующей цитате из поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах».
- Трудящимся людям
в квартирное тихо,
 стоглазое зарево
 рвется с пристани...
- На основании чего вы делаете свой вывод?
12. Сравните следующие русские примеры:
- Дети, в школу собирайтесь.
Рука бойцов колоть устала.
Выкройка платья с коротким рукавом.
- Значит ли это, что все дети пойдут в одну и ту же школу, на всех бойцов имеется только одна рука, а у платья тоже только один рукав? Какое значение здесь имеют формы единственного числа? Что добавляют подобные примеры к нашим знаниям о противопоставлении единственности и множественности?
13. В одном из стихотворений поэта Николая Олейникова (1898—1942) есть строка: *Вулкан опушку пересек*. Как вы понимаете это высказывание? Что затрудняет его понимание? А если бы вы знали, что стихотворение называется «Вулкан и Венера», — что бы изменилось в восприятии данной цитаты?
14. Как вы понимаете словоформу *фиаско* в примере: *Его учеба в Академии закончилась фиаско*?

Какая это часть речи? На основании чего вы устанавливаете синтаксическую роль этой словоформы в высказывании?

15. Какой член предложения (с точки зрения традиционной грамматики) представляет словоформа *по машине* в следующих примерах? Какие семантические функции («участники ситуации») за нею скрываются?

Дождь барабанил по машине.

Пете и Саше подарили по машине.

К каждому подъезду подъехало по машине.

16. В одной английской сказке старушка, недовольная мясником (который не хочет зарезать быка) говорит: «*Веревка, веревка! Повесь мясника!*» И далее повествуется: «Веревка не хочет повесить мясника, мясник не хочет зарезать быка, бык не хочет выпить воду...» и т.д. В чем здесь необычность синтаксического использования слова *веревка*?

17. Каковы речевые координаты (временные и пространственные) ситуаций, описываемых в следующих высказываниях? Как они соотносятся с понятием предикативности?

Твои часы остановились.

Завтра обещают дождь.

У меня в левом ухе звенит.

Мальчику было неловко переспрашивать учителя.

Переходить улицу надо в специально отведенных для этого местах.

18. В песне Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» есть слова:

Тут за день так накувыркаешься,

Придешь домой — там ты сидишь.

Опишите различия, представленные здесь в грамматической семантике форм *придешь* и *сидишь*.

19. Представьте себе ситуацию: покупатель в магазине обращается к продавщице: «Покажите мне, пожалуйста...». И далее может идти одна из следующих конструкций: *щетку пылесоса, щетку для пылесоса, щетку от пылесоса, щетку к пылесосу*. От чего зависит выбор того или иного варианта? В чем заключается семантическая специфика каждой из названных здесь форм?

20. Почему мы говорим *гром* и *молния*, а не наоборот — *молния* и *гром*, как было бы естественней с точки зрения последовательности природных явлений?

21. Опишите ситуации, в которых могут быть использованы следующие высказывания:

а) Свиная кожа идет на изготовление ремней и прокладок.

б) На изготовление ремней и прокладок идет свиная кожа.

Представьте себе экскурсию на производстве. На каком предприятии могла бы прозвучать первая фраза, на каком — вторая? Какое лингвистическое объяснение можно было бы дать этому различию?

22. Какими формальными средствами выражена смысловая связь между выделенными словами в следующих примерах?

Пойду на кухню *посмотрю*, как там чайник.

А ткань я себе хочу купить *в* крупную *клетку*.

Маша должна прийти *к пяти часам*.

Двое солдат заступили на дежурство.

Когда ты уберешь с балкона все свои *банки-склянки*?

23. Определите отношения, которые связывают отдельные предложения в следующих текстах. Чем формально выражены эти отношения?

Приемный пункт не работает: нет тары.

Нет тары — приемный пункт не работает.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

23. Слово как элемент лексической системы

Слово, или, по-другому, лексема, — типичный, «классический» языковой знак со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это значит, что оно образуется соответствием двух планов — содержания и выражения — и несет на себе основной груз номинативной (назывной) функции (см. разделы 8 и 14). Упоминалось уже о том, что лексика, т.е. совокупность слов, организована «хуже», чем грамматика: отношения между ее единицами не такие четкие и однозначные (см. раздел 22). И тем не менее в голове у носителя языка словарный состав определенным образом упорядочен, приведен в систему. Это вытекает не только из общего устройства языка как системы (а лексика — составная часть языка, один из его «уровней»), но и из практики общения. Говорящий человек затрачивает на поиски нужного слова какие-то доли секунды. А ведь в его памяти содержатся тысячи, возможно, даже десятки тысяч слов. Смог ли бы он так быстро (и практически безошибочно) управляться с этим множеством, если бы оно не было определенным образом организовано, если бы слова были навалены «кучей»? Очевидно — нет. Следовательно, остается выяснить, как же именно устроена лексическая система. Ясно, например, что слова в памяти человека не расположены по алфавиту; это довольно искусственный и случайный способ организации лексики. А как?

Отличительной особенностью лексической системы является ее м н о г о м е р н о с т ь. Это значит, что слово в одно и то

же время связано разными, разнородными и разнонаправленными, отношениями с множеством других лексем. В качестве примера возьмем простое русское слово *мороз*.

Прежде всего, лексема *мороз* входит в определенную тематическую группу названий климатических и, шире, природных явлений: она образует единый ряд со словами *холод, снег, лед, ветер, метель, зима, декабрь, январь, февраль, Рождество, Крещение, Новый год, температура, климат, время года, север, полюс...* Кроме существительных, в ту же группу входят, очевидно, прилагательные, глаголы, наречия, ср.: *снежный, февральский, морозный, мерзнуть, зябнуть, холодать, холодно* и т.д. Когда человек выбирает нужное ему в процессе речи слово, то он уже знает, о какой теме, т.е. сфере жизни, пойдет речь. И весь словарный состав в его голове распадается примерно на такие объединения: «человек», «жилище», «одежда», «искусство», «спорт», «животный и растительный мир» (разумеется, с дальнейшим подразделением) и т.д.

Далее, *мороз* входит в определенные синонимические и антонимические ряды, и вот здесь уже лексема соотносится со словами только своей, т.е. той же самой, части речи: *холод, стужа, холодина, колотун*, а также *жара, зной, теплынь* и т.п. Ясно, что разграничение и выбор синонимов — это уже более тонкая «инструментовка» в деятельности говорящего.

Важным видом системообразующих связей в лексике являются отношения словообразовательные: возможность производства одного слова от другого. Здесь *мороз* связано с *морозить* (и дальнейшими производными: *заморозить, отморозить, приморозить...*), *мерзнуть, морозец, заморозки, изморозь, морозильник, мороженое, морозный, морозоустойчивый, заморозка* (местный наркоз), *сморозить* (глупость), *отморозок* и т.д. Если углубиться в историю слова, учесть его этимологический аспект, то мы установим также связь с лексемами *мразь, мерзкий, мерзавец, омерзительный, мерзопакостный...* (Ничего удивительного в таком переходе от «температурной» семантики к эмоционально-оценочной нет:

подобные отношения связывают в истории русского языка также корни *студ* и *стыд*, *печь* и *печаль* и т.п.). Не забудем также, что от корня *мороз* образованы многие русские фамилии и прозвища: *Морозов*, *Мороз*, *Морозко*, *Мерзляков* и др.

Существует еще с и н т а г м а т и ч е с к и й, или сочетательный, вид связей, когда каждое слово имеет в языке своих привычных «партнеров», и именно данные сочетания в первую очередь приходят в голову говорящему. Мы скажем: *мороз на дворе, за окном, мороз стоит, трещит, крепчает, усиливается, ослабевает, мороз сильный, лютый, трескучий, крещенские морозы, мороз по коже* (о страхе), *мороз до костей пробирает...* Добавим к этому фразеологические словосочетания фольклорного происхождения, литературные реминисценции* и цитаты: *Дед Мороз, Мороз Красный Нос, Солнце на лето, зима на мороз, Мороз, мороз, хватъ тебя за нос!* «*Мороз и солнце. День чудесный...*», «*Однажды в студеную зимнюю пору / Я из лесу вышел. / Был сильный мороз...*», «*Ой, мороз, мороз, не морозь меня...*» и т.д.

Получается, что лексема «вытягивает» в сознании человека целые цепочки словесных ассоциаций, и в результате мы выходим чуть ли не на всю картину жизни русского народа: здесь и географические и климатические условия, и обычаи и нравы (Крещение, Рождество), и даже панорама исторических событий (чего стоят одни только обладатели фамилии *Морозов* в русской истории: боярыня Морозова, фабрикант и меценат Савва Морозов, пионер Павлик Морозов...)

Далее, положение слова в лексической системе определяется принадлежностью к определенному г р а м м а т и ч е с к о м у классу. Скажем, *мороз* — это существительное, оно относится к тому же типу склонения (словоизменения), что и, положим, *стол, закон, парход*. Мы уже знаем: частеречная характеристика слова связана и с его синтаксическим по-

* *Реминисценция* — фраза или образ, восходящий к конкретному произведению искусства, от цитаты отличается меньшей точностью и определенностью.

ведением, т.е. с его функциями в высказывании. Так, для существительных это, прежде всего, «обязанности» субъекта и объекта (говоря по-другому — подлежащего и дополнения): *Мороз усиливался, Не люблю мороз.* (Хотя, заметим, благодаря особенностям своей семантики слово мороз нередко играет во фразе и роль предиката, или сказуемого, ср.: *На дворе — мороз.* Или: *Разве это мороз?* и т.п. Кроме того, отметим у данной лексемы склонность к «застыванию» во множественном числе — мы так и говорим: *крещенские морозы, морозы стоят...*) Все эти грамматические характеристики приписывают слово к соответствующим объединениям (классам) в рамках лексической системы.

Кроме того, среди системообразующих связей в лексике нужно упомянуть частотно-стилистические. Это означает, что каждое слово относится к определенному стилистическому «пласту» лексики. Есть слова возвышенные (например, поэтические, архаические), нейтральные (общеупотребительные), сниженные (разговорные, просторечные, вульгарные), особняком стоят термины или слова специальные... Слово обладает также некоторой средней частотой употребления в текстах — не замечаемой в обычной жизни носителем языка, но тем не менее вполне объективной и важной характеристикой. Есть слова высокочастотные, активно употребляемые в речи (например, такие, как *хороший, большой, дом, голова, делать, знать, только...*) и есть малоупотребительные, встречающиеся в речи редко (например, *заушник, щепетильный, перезваниваться, вдругорядь*). Психолингвисты любят демонстрировать неискушенной публике (школьникам, студентам) свои «магические» способности предсказывать словесные реакции. Вот лектор говорит: «Напишите на листке фамилию поэта, название фрукта и домашней птицы. Только не показывайте соседям. Готово? А теперь я отгадаю, что вы написали. *Пушкин, яблоко, курица.* Верно?» Аудитория в восторге, а лектор просто назвал стандартные, стереотипные реакции (т.е. самые частые представители соответствующих подклассов слов в русском языке).

Слово *мороз* с точки зрения его частотности относится к «средней части» словаря: оно не слишком частое, но и не слишком редкое. А вот что касается его стилистической характеристики, то, возможно, следует добавить: фонетическая огласовка слова, объединяющая его с другими примерами так называемого полногласия (*-оро-, -оло-, -ере-, -еле-*), свидетельствует о его исконно русском происхождении. Это особенно очевидно, когда полногласие противопоставляется церковнославянскому неполногласию, ср.: *сторож — страж, молод — млад, дерево — древо*. Все перечисленные виды связи, в которые слово входит с другими словами (тематические, словообразовательные, частотные и т.д.), находят свое отражение и закрепление в словарях. Рядовому носителю языка знакомы, пожалуй, только два вида словарей: переводные, двуязычные (например: русско-английский, французско-русский и т.п.) и толковые, одноязычные, в которых слово объясняется посредством других слов того же языка. На самом деле существует много других, более специальных словарей, с которыми имеют дело главным образом филологи.

В словообразовательных словарях лексемы расположены гнездами, т.е. группами, объединенными общим корнем или основой. Здесь все производные от *мороз-* (в том числе *заморозки, отморозить, мерзнуть, изморозь...*) будут находиться рядом.

В частотных словарях лексемы располагаются по порядку убывающей частоты употребления в речи. Тут на первом месте окажутся союзы, предлоги, местоимения (*в, и, на, что, за, он* и т.п.), потом пойдут слова с «более наглядным», более вещественным значением — *рука, голова, дело, дом, человек*, потом более редкие и так вплоть до самых редких слов, встретившихся в обследованных текстах только по одному разу.

Существуют также словари синонимов и антонимов, словари сочетаемости, грамматические словари, фразеологические словари.

Объективность всех этих многообразных связей лексемы с другими лексемами подтверждается разными способами, в том числе и экспериментальными. Можно, например, попро-

сильнее человека записать все словесные реакции, которые ему приходят в голову при предъявлении какого-либо слова. И если таких ответов (и испытываемых) будет много, то мы получим целый ассоциативный словарь данного языка. Однако оказывается, что для каждой лексемы наиболее частыми и естественными реакциями являются синонимы и антонимы, тематически связанные слова, типичные партнеры по сочетаемости и т.д., т.е. те самые виды системных связей, о которых здесь шла речь.

Еще интереснее понаблюдать за процессом построения высказывания и соответственно выбором слов в устной речи. Дело в том, что говорящий иногда ошибается. Может быть, его мысли в это время заняты чем-то другим, может быть, он торопится и потому перескакивает с пятого на десятое, а может быть, просто сталкивается с затруднениями в выборе конкретной лексемы. И вот тут-то, в такой особой и, можно сказать, ненормальной ситуации, на языке у говорящего появляются в первую очередь ближайšie «соседи» слова по лексической системе. Это будут опять-таки названия или словообразовательно родственные, или фонетически схожие, или непосредственно соседние по высказыванию... Так, вместо *морозы* человек может произнести: *прогнозы*, или вместо *морозы в апреле* сказать: *апрели в морозе* и т.п. Все это — проявление тех многообразных связей между словами, которые образуют в совокупности лексическую систему. Как писал А.М. Пешковский, «совершенно случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи». Добавим: они же могут помочь нам понять устройство самой языковой системы.

24. Слово, предмет, понятие

Итак, если язык в целом отражает действительность, то слово в отдельности называет п р е д м е т. Причем предмет здесь надо понимать максимально широко: это и вещь, и человек, и животное, и свойство (качество), и отношение, и дей-

ствие... — в общем, любой «кусочек» объективной действительности. Но если бы язык просто отражал действительность, а слова просто называли предметы, то лексикологии как разделу языкознания, можно сказать, нечего было бы делать. К примеру, существует некоторый предмет: постройка, в которой живет человек, и существует называющее его слово: *дом*. Человек как бы наклеивает на предмет этикетку — и в этом вся суть слова? Нет, на деле все значительно сложнее. Язык не просто отражает мир, но при этом его преломляет, т.е. по-своему преобразует (или, если угодно, искажает). Слова не просто называют предметы, но делают это в соответствии со своей — внутренней, языковой — логикой, со своим «взглядом на мир». Как это следует понимать?

Между словом и предметом нет механического, однозначного соответствия. То же слово *дом* вряд ли применимо к любой постройке: скажем, башню — крепостную или телевизионную — мы так не назовем. В то же время данная лексема может быть употреблена по отношению к некоторым иным явлениям, например к родной стране, обжитой территории (*здесь мой дом*) или к разным видам жилищ животных (*дом бобра*) и т.п.

В разделе 13 уже шла речь о том, что язык как бы накладывает на действительность свою рамку. Своеобразие языковой классификации мира заключается прежде всего в том, что в каждом языке слова по-своему распределяются, закрепляются за предметами, происходит свой «передел мира». (Вспомним такие примеры, как различение синего и голубого цветов, деление рук или ног на составные части и т.п.) Самобытность языка проявляется и в том, что он может вообще «не замечать» тех или иных явлений, т.е. не давать названий каким-то фрагментам действительности. Это касается не каких-то экзотических, далеких и малоизвестных предметов, — наоборот, вполне знакомых и близких. К примеру, многие части тела не имеют собственных однословных наименований: тыльная сторона ладони, складка на ушной раковине, отдельные пальцы на ноге... Конечно, мы можем обозначить их описательно, при помощи словосочетаний, но такие на-

звания не совсем полноценны: они неустойчивы, не сразу приходят в голову...

Подобные пропуски в картине мира (лакуны, как мы их называли ранее) легко обнаруживаются при сопоставлении языков, потому что у каждого языка — своя классификация. Скажем, в болгарском языке не находится однословных соответствий русским лексемам *гроза*, *ягода*, *пододеяльник*... Зато там есть свои специфические лексемы, например: *прип-кам* 'бежать, подпрыгивая (пританцовывая) на каждом шаге'; *газя* 'шагать, высоко поднимая ногу на каждом шаге (как цапля)'; *гологлав* 'с непокрытой головой, без головного убора' и т.п. Мы все это себе прекрасно представляем, но как сказать по-русски короче, одним словом? Никак: здесь пропуск, лакуна. Значит, если есть случаи, когда для предмета не находится «нормального» названия, то, может быть, встречается и обратная ситуация: когда нет предмета, а слово тем не менее существует? Да, и такое бывает. В противоположность лакунам назовем подобные случаи *фантомами*. Самые простые примеры фантомов — это названия мифических существ, порождений человеческой фантазии. Русалки и лешие, кентавры и грифоны, гоблины и черепашки ниндзя... Фантомы могут быть также научными — это свидетельства ошибок и заблуждений человека на трудном пути к знанию. В XVIII в., например, считали, что есть особая субстанция, которая производит и передает тепло: теплород. Потом от этого представления отказались. А слово *теплород* осталось в истории физики: это фантом, память о том, чего, собственно, в природе и не было.

Получается, таким образом, что предмет — важное, но не единственное и даже не обязательное условие существования слова, не единственный фактор, от которого зависит его значение. Вторым таким фактором и, может быть, не менее важным, чем первый, оказывается *понятие*.

Среди некоторого ряда предметов (объективно существующих фрагментов действительности) наибольшими шансами на обозначение словом обладают те, которые выделились в общественном сознании, сформировались как отдельные по-

нения. Прочие же остаются как бы в преддверии лексической системы, они ждут решения своей судьбы. Очень интересно в этом смысле понаблюдать за выражением в языке родственных отношений, т.е. места, которое занимает человек в семье. Скажем, наряду с понятиями «отец» и «мать» в русскоязычном сознании существуют отдельные понятия «неродной отец» и «неродная мать». Они обозначаются соответствующими словами: *отчим* и *мачеха* (постепенно, по-видимому, выходящими из употребления). Существуют также понятия «неродной сын» и «неродная дочь» — *пасынок* и *падчерица*. Но эти слова знакомы нам больше уже по народным сказкам, в современной речи они употребляются крайне редко, потому что современное общество, его этика и мораль стараются не проводить различий между родными и неродными детьми. Можно сказать по-другому, что понятия «неродной сын», «неродная дочь» постепенно стираются в сознании, объединяются с более общими понятиями «сын» или «дочь». Интересно, что с позиций объективной действительности существуют также неродные внуки и внучки, неродные бабушки и дедушки. Однако при данной степени родственных отношений различие ‘родной/неродной’ уже совершенно неважно (все бабушки — родные!), поэтому понятий «неродная бабушка» или «неродной внук» просто нет, не возникало никогда и необходимости в их специальном выражении. Слова оказываются как бы производными от системы понятий.

Другой пример, из той же области. В некоторых языках наряду с понятиями «брат» или «сестра» существуют особые понятия «старший брат» и «старшая сестра»; они выражаются отдельными словами. Это связано с определенным семейным укладом, с обязанностями и правами (в том числе материальными) каждого члена семьи. В других языках различаются понятия «дядя по линии отца» и «дядя по линии матери» (когда-то и в русском языке такое различие существовало, оно закреплялось в словах *вуй* и *стрый*), и это тоже связано с определенным семейным укладом, правовыми нормами, общественными традициями и соответствующими понятиями... Вероятно, не случайно исчезают в современном

русском языке такие лексемы, как *деверь* ‘брат мужа’, *шурин* ‘брат жены’, *золовка* ‘сестра мужа’ и т.п.? Не свидетельствует ли это о перерождении самой семьи, об отмирании понятий, соответствовавших некогда важным видам родственных отношений?

Возьмем пример из другой сферы. Неделя складывается из семи дней, которые как понятия, казалось бы, изначально равноправны: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... Но если от этих названий образовать прилагательные, обозначающие соответствующий признак, то сразу же обнаружится их неравноправие. Мы легко скажем: *воскресный* ‘тот, что имеет место в воскресенье’ и *субботный* ‘тот, что имеет место в субботу’, но с некоторой натяжкой образуем *вторничный* и *пятничный*, и уж совсем плохо обстоит дело с производным от *среда*... Как это объяснить? Может быть, дело в том, что понятия «относящийся к такому-то дню недели» в нашем сознании неравноправны? Лучше всех выделяется из общего ряда именно «воскресный» и «субботный» (ср. и привычные словосочетания: *воскресная школа*, *воскресная проповедь*, *субботняя передача*, *субботный номер газеты* и т.п.), а остальные различаются заметно хуже? Вроде того, как большой палец на руке мы выделяем сразу же (хотя, кстати, в русском языке для него нет отдельного слова, во многих других — есть), а остальные — чуть позже и чуть медленнее?

Таким образом, предмет и понятие — *два взаимодействующих фактора, определяющих лексическое значение слова*. И если не считать каких-то особых, исключительных случаев (вроде описанных лакун и фантомов), то можно сказать, что эти два фактора действуют поистине «рука об руку». Это значит: в нормальном случае предмету соответствует в сознании понятие, которое составляет основу лексического значения слова. Так образуется трехчленная цепочка «предмет — понятие — слово».

Третьим фактором, третьей составляющей является *языковая система*. Ведь от языка тоже зависит, каким быть значению слова. Само образование понятий, как мы помним,

опирается на языковые единицы. В разделе 3, в частности, говорилось о том, что значение слова *синий* зависит от того, есть ли в данном языке слово со значением ‘голубой’. Но подобное заключение справедливо абсолютно для всех случаев, для всех слов. К примеру, значение слова *дом* зависит от того, есть ли в данном языке слова типа *изба, хата, здание, башня* и т.п. Более того, бывает так, что и предмет есть, и понятие «на месте», а соответствующего слова все-таки не образуется. И это трудно объяснить без ссылки на особенности языковой системы.

К примеру, в русскоязычном сознании имеется единое понятие «отец и мать» и есть соответствующее слово: *родители*. Имеется у нас, по-видимому, и единое понятие «братья и сестры» (*У тебя есть братья и сестры?*), но специального названия для него не возникло: здесь лакуна. (В других языках, например в немецком или польском, есть особое слово для обозначения братьев и сестер, вместе взятых.) Кто в этом повинен, кроме языка? Или, скажем, почему слово *красноармеец* в русском языке есть, а «советскоармеец» не возникло? Почему — вспомним только что приводившийся пример — *понеделничный* или *вторничный* звучат все же лучше, чем *средовый*? По-видимому, дело здесь в значительной степени в словообразовательных и фонетических возможностях (чтобы не сказать капризах) языка.

Посмотрим на две группы слов: в левом столбце даны названия видов спорта, в правом — названия соответствующих спортсменов.

Спорт

футбол
теннис
бокс
бег
плавание
фехтование
гимнастика
велоспорт
тяжелая атлетика

Спортсмен

футболист
теннисист
боксер
бегун
пловец
фехтовальщик
гимнаст
велосипедист
штангист

легкая атлетика	легкоатлет
водное поло	ватерполист
фигурное катание	фигурист
хоккей на траве	хоккеист
настольный теннис	теннисист
парусный спорт	яхтсмен
автомобильный спорт	(авто)гонщик
гольф	игрок в гольф

В большинстве случаев слова левого и правого столбцов родственны: *футбол — футболист, бокс — боксер, фехтование — фехтовальщик*... Однако есть и немало иных случаев, отклонений от правила. То в левом столбце нет однословного названия, а вид спорта представлен словосочетанием (*фигурное катание, парусный спорт*...). То в правом какие-то трудности: например, название спортсмена образуется иным путем, от иного корня (*штангист, яхтсмен*), а то и вовсе отсутствует (*игрок в гольф*)... И почему это, в самом деле, название *легкоатлет* возникло, а «легкоатлетика» нет? Вмешались, очевидно, какие-то законы языка: он тоже «небезразличен» к процессу обозначения предметов и выражения понятий.

Наконец, можно было бы пофантазировать и представить себе такую ситуацию, при которой слово возникает и функционирует в речи исключительно «на внутриязыковых основаниях» — притом, что ни предмета, ни понятия за ним не стоит. Язык тут оказывается как бы самостоятельным и независимым от объективной действительности... Правда, ситуация эта не очень, что ли, показательная. Сюда, в частности, можно было бы отнести употребление слов-паразитов, засоряющих нашу речь: *ну, так сказать, в общем, это, того, блин*... Кому из нас не приходилось слышать в разговорной речи фразы, чуть ли не целиком состоящие из подобных словечек? Что они обозначают? В данной ситуации — ничего. Когда говорящему нечего сказать, они служат имитацией процесса общения (точнее, выполняют одну лишь — фатическую — функцию, см. раздел 15)*. Кроме того, они играют роль своеобразной

смазки: когда нормальные слова подбираются говорящим с трудом, словечки вроде *ну* или *так сказать* призваны заполнить образующиеся пустоты... В любом случае это еще одно подтверждение роли языка в возникновении слова и формировании его лексического значения.

Подытожим сказанное. Значение слова в самом общем виде зависит от трех факторов: 1) от места обозначаемого предмета в системе объективной действительности (можно было бы условно определить этот фактор как «что это такое?» или «с чем мы имеем дело?»), 2) от места понятия в мыслительной системе данного народа («как мы себе это нечто представляем?» или «что мы о нем думаем?») и 3) от места данного слова в лексической системе языка, от его отношений с другими словами («как это выражается?» или «как это нечто можно назвать?»).

Те же три составляющие лежат в основе эволюционных процессов в лексике. Рассуждая об изменчивости языкового знака (см. раздел 9), мы обращали особое внимание на сдвиги в его плане содержания. Это значит: у слова было одно значение, стало — другое. Теперь можно сформулировать более общий вывод: и изменение значения слова, и возникновение новых слов (обогащение лексикона), и отмирание старых слов (обеднение лексикона) обусловлены присутствием в лексическом значении тех же трех компонентов: предметного, понятийного и собственно языкового.

В частности, неологизмы (новые слова) возникают в языке не только тогда, когда в объективной действительности появляется новая реалья (предметный фактор), но и когда эта реалья становится значимой, достойной общественного внимания (понятийный фактор), либо когда она начинает требовать нового названия в силу стилистических и иных причин (фактор языковой системы). Доказательством могут служить многочисленные новообразования, вошедшие в рус-

* Разумеется, за пределами описанной ситуации все эти слова могут исправно выполнять свои номинативные и прочие функции, т.е. быть нормальными (и весьма полезными) лексемами.

ский язык за последние годы: *мигрант*, *бомж*, *иномарка*, *безнал*, *харизма* и т.п.

Уход слов из языка, т.е. обеднение словарного состава, принято сводить к двум случаям: 1) когда название отмирает потому, что отмирает сам предмет (эти слова называются *историзмами*; ср. в русском языке: *боярин*, *астролябия*, *конка* и т.п.); 2) когда старое название вытесняется новым, приходящим ему на смену (эти слова называются *архаизмами*: *ланиты* ‘щеки’, *чело* ‘лоб’, *вотще* ‘напрасно’ и т.п.). Данная классификация, однако, неполна. В ней с очевидностью отсутствуют устаревшие слова, которые выходят из употребления не потому, что исчезает сам предмет (он в этом случае остается!) или на смену приходит новое название, а потому, что в сознании общества данное понятие сливается с другим понятием. Этот третий класс устаревших слов называется *нотологизмами* (от лат. *nōtio* ‘понятие’). К нему относятся в современном русском языке, например, лексемы *десница* и *шуйца*, обозначавшие соответственно правую и левую руку, а также слова *рудознатец* ‘знаток рудных ископаемых, разведчик недр’, *сутяга* ‘человек, постоянно занимающийся тяжбами’, *повеса* ‘бездельник и гуляка’, *гросс* ‘комплект из 12 дюжин’ и др.

25. Лексическое значение как комбинация сем

Слово по праву занимает центральное место в языковой системе: вокруг него группируются все остальные языковые единицы — и бóльшие, такие, как предложения, и меньшие, такие, как морфемы. Слово как бы впитывает в себя культуру народа, аккумулирует весь его опыт. История отдельных выражений часто достойна целых исследований (в русском языкознании образцом таких штудий могут быть работы В.В. Виноградова — например, о словах *ахиня*, *подвиг*, *простофиля* и др.). Но и в том случае, если подходить к семантике слова как к чему-то данному, готовому, следует признать: она

тоже достаточно сложна, сложна сама по себе.

В ходе размышлений о природе языкового знака (см. раздел 8), уже отмечался комплексный, сложный характер лексического значения. Говорилось, например, о том, что в плане содержания русского слова *стол* выделяются такие семантические компоненты (по-другому — семы), как: ‘мебель’, ‘состоящий из ножек и горизонтальной плоскости’, ‘служащий для работы, приема пищи’, ‘изготавливаемый обычно из дерева’ и т.п. К этому стоит добавить, что данные компоненты



В.В. Виноградов

занимают в значении слова неравное положение: у них, так сказать, разный удельный вес. К примеру, сема ‘состоящий из ножек и горизонтальной плоскости’ явно важнее (это значит — постоянное, обязательнее) для слова *стол*, чем, положим, ‘изготавливаемый обычно из дерева’, а ‘изготавливаемый обычно из дерева’, в свою очередь, важнее, чем, допустим, ‘большой’ или ‘коричневый’ и т.д.

Лингвисты предлагают рассматривать значение слова как поле (наподобие физического), выделяя в нем центральную часть (по-другому — ядро) и периферию (окраину). Соотношение этих двух частей у разных слов тоже неодинаково. В принципе (как правило) *центральная часть лексического значения* соответствует понятию: это, так сказать, отстоявшаяся, рационально взвешенная основа лексической семантики. Периферию же составляют разнообразные дополнительные семы, не входящие в состав понятия.

Понятие — это элементарная мыслительная единица, которая образуется комбинацией существенных признаков, выделяемых у класса предметов (см. раздел 13). Однако там же отмечалось, что наряду с понятиями научными, строго обоснованными и упорядоченными, существуют понятия

бытовые, стихийно формирующиеся у человека в ходе его ежедневной практической деятельности. Скажем, в быту человека мало волнует то, к какому классу и отряду относятся слоны — для него важнее то, что это большие животные, у которых есть хобот и бивни, и то, что их можно увидеть в цирке и зоопарке... Точно так же обычному человеку нет дела до того, на каком основании наука разграничивает моря и озера (а это и местоположение, и история развития, и характер протекающих в них процессов). Для него море — большое и соленое, а озеро — поменьше и с пресной водой, вот и все. И если какие-то географические названия плохо укладываются в научную классификацию (ср.: *Мертвое море*, *Аральское море*, *Минское море*... — на самом деле это всё озера!), то тем хуже для научной классификации! Носителя языка эти названия вполне устраивают...

В лексическом значении слова фиксируются, насколько возможно, научные и бытовые основания понятий. Если же научное и бытовое понятия существенно расходятся (как мы видели) или даже противоречат друг другу, то лексическое значение пытается найти между ними компромисс. Вот, например, какое толкование слову *слон* дает «Словарь русского языка» С.И. Ожегова: «крупное млекопитающее тропических стран, с длинным хоботом и двумя бивнями». Поэтому А.А. Потебня считал необходимым выделять в слове два типа лексических значений: *б л и ж а й ш е е*, используемое всеми носителями языка, и *д а л ь н е й ш е е*, известное специалистам в конкретной области.

Конечно, у терминов — слов, употребляющихся в специальных сферах (медицине, юриспруденции, химии, спорте и т.д.), лексическое значение оказывается практически *р а в н ы м* научному понятию. У других же, общеупотребительных, слово оно в большей степени согласуется с бытовым, повседневным опытом. Но в любом случае ядро лексического значения образуется семами, соотносящимися с понятийными признаками.

Что же остается за пределами этого ядра? Для большинства слов очень важна *п е р и ф е р и й н а я* часть их семантического поля. Эта периферия образуется семами образного

восприятия, эмоциональной оценки, стилистической и экспрессивной окраски, контекстуальных и культурных ассоциаций и т.д.

Например, русские слова *лицо*, *лик*, *физиономия*, *рожа*, *морда*, *харя*, *личико*, *мордашка*, *физия*, *мурло* и т.п. в принципе равны по своему понятийному содержанию: это ‘передняя часть головы человека’. Однако если значение слова *лицо* практически и ограничивается этим понятием (периферия здесь сводится к минимуму), то в значениях остальных лексем, наоборот, эмоционально-образные и стилистические компоненты весьма сильны. В частности, слово *лик* подразумевает семы ‘возвышенное’ и ‘архаичное’, *физиономия* и *физия* — ‘ироническое’, *рожа* — ‘сниженное’, ‘некрасивое’, *морда* и *харя* — не только ‘сниженное’ и ‘некрасивое’, но еще и ‘страшное’, а *мурло* — ‘наглое’ и т.д.

Причем образные, стилистические и прочие «периферийные» семы не просто дополняют, «окрашивают» собой семы понятийные. Скорее их взаимоотношения в составе лексического значения похожи на конкуренцию, на стремление подавить, вытеснить своего соперника. Это значит, что если в семантике слова очень силен образный компонент, то он как бы заслоняет собой, подменяет понятийную основу. С другой стороны, стоит понятийной части самой ослабиться, «сжаться», и сразу же семантическое пространство на правах хозяина занимают те же самые образные, стилистические, эмоционально-экспрессивные семы...

Обратимся к некоторым словесным обозначениям человека. Скажем, довольно трудно объяснить логически, что означают русские слова *молодчина*, *браток*, *обормот*, *хмырь*, *хрыч*, *мымра*, *хлыщ*, *фря*... Как очертить соответствующие понятия? Сделать это очень трудно. Проще всего свести значения этих слов к эмоциональной оценке: *молодчина* означает ‘хороший человек’ (похвала), *обормот* — ‘не очень хороший человек’ (неодобрение), *хмырь* — ‘неприятный человек’ (неприятие) и т.п. Не случайно, кстати, в словах с неодобрительной окраской наблюдается такое скопление согласных [х], [ф], [р], [м], [ч] — они создают своего рода фоне-

тический образ, замещающий четкую понятийную характеристику.

Говоря о дополнительных, противопоставленных понятийным, семах в составе значения слова, мы до сих пор сводили их преимущественно к образным (зрительным, вкусовым, слуховым) представлениям. Однако периферию лексического значения составляют и другие компоненты — территориальные, временные, общественно-политические и т.п. К примеру, в значении слова *хата* отчетливо чувствуется южнорусская (или белорусская, украинская) окраска. И неудивительно: слова нередко бытуют только на определенной территории. Один и тот же предмет — билет на транспорт — в одних городах называют *проездной*, в других — *месячный*, в третьих — *абонемент*, в четвертых — *карточка*... Не менее любопытна временная окраска слова, так сказать, историческая патина на его семантике. Что такое, скажем, *аэроплан*? В общем, то же самое, что *самолет*, только применительно к начальному периоду воздухоплавания (в СССР практически до Второй мировой войны самолеты назывались аэропланами). А *пирушка* — то же самое, что *вечеринка*, *гулянка*, *попойка*... плюс определенный «аромат эпохи».

Наконец, специально стоит выделить в значении лексемы общественно-политический компонент. Действительно, употребление слова очень часто зависит от того, какую социальную и политическую оценку мы даем обозначаемому явлению. Чем отличается *контрразведчик* от *шпиона*? Очевидно, только тем, что он — «наш», действует в пользу того государства, представителями которого мы являемся. А шпион — наоборот, «не наш», действует против нас. Чем отличается *повстанец* от *мятежника*? Опять-таки понятийная основа, составляющая ядро лексического значения, у этих слов одинакова: и там, и там это «участник сопротивления правящему режиму». Однако в зависимости от нашего отношения к данному человеку (и к данному режиму) мы выберем только одно название... Как и в случае с образными семами, семы политические могут быть настолько активными, что подчас они просто заслоняют собой, оттесняя на периферию, семы

понятийные. К примеру, довольно трудно описать значение русского слова *доблесть*. Что это — отличие? почет? усердие? храбрость? блеск?.. Вместе с тем когда мы слышим выражения вроде *трудовая доблесть* или *наши доблестные воины*, то прекрасно ощущаем тот положительный заряд, который содержится в данном корне: *доблесть* — это что-то очень хорошее. Именно благодаря семам общественно-политической оценки *доблесть* становится в единый ряд с другими словами, несущими определенный идеологический заряд: *вождь, отечество, оплот, стяг, твердыня, торжественный, провозвестить, залп* и т.п.

Многие поколения советских людей традиционно связывали начало новой эры с залпом «Авроры», так что само это выражение превратилось в устойчивое словосочетание, фразеологизм. И никто, кажется, не задумывался: а ведь залпато, собственно говоря, и не было. Залп, как свидетельствует словарь русского языка, — это одновременный выстрел из нескольких стволов. А крейсер «Аврора» стрелял из одного орудия! Однако социальная и эмоциональная окраска слова *залп* оказалась настолько ярче и «выше» нейтрального *выстрел*, что незаметно произошла подмена: обыденный *выстрел* превратился в торжественный *залп*.

Наряду со словами, несущими в себе положительную общественно-политическую оценку, существуют, естественно, лексемы, содержащие отрицательную социальную окраску; это значит «не наш», «чуждый», «принадлежащий к враждебному лагерю», «плохой», «вредный» и т.п. В русском языке это, например, *главарь, банда, логово, рассадник, делец, махинатор, злостный, лицемерный, лживый, абсурдный, провокационный, угнетать, состряпать, инспирировать, голословно, беспардонно* и т.п. В значениях всех этих лексем, как и в предыдущем случае, оценочный социальный компонент конкурирует с рациональным, понятийным, нередко оттесняя его на второй план. Вот как одна из газет пародировала некогда популярный публицистический стиль: «В телекомпании окопались кучки жалких отщепенцев, которые в бессильной злобе тщетно пытаются фабриковать высосанные

из пальца заведомо ложные измышления...» Объективная информация, содержащаяся в данной цитате, крайне скудна: она сводится к тому, что ‘работники телекомпании готовят сообщения’. А все остальное — сплошная политическая оценка!

Картина взаимодействия сем в составе лексического значения не будет полной, если не сказать также о мобильности этой структуры, о динамике значения в речи. Выше уже говорилось о семантическом развитии слова: значение постоянно стремится измениться, «сдвинуться» по отношению к плану выражения (см. раздел 9). Теперь же оказывается, что перенос значения — это не только постепенная и незаметная эволюция, но, возможно, также разовый, сиюминутный сдвиг, наблюдаемый в речи, в конкретном контексте. Лингвисты называют такой перенос значения *о к к а з и о н а л ь н ы м* (от лат. *occāsio* ‘случай, совпадение’).

Возьмем, к примеру, слово *кирпич*. Это: 1. Брусек из обожженной глины, употребляемый для построек; 2. Изделие в форме такого бруска. Но в речи мы можем оказаться свидетелями употребления лексемы *кирпич* в каких-то иных, окказиональных значениях. Вот покупательница в обувном отделе «Детского мира» реагирует на предложенные ей сандалики: «Разве это сандалии? Кирпичи какие-то!» — имея в виду их тяжесть и грубость. Очевидно, периферийные для слова *кирпич* семы — ‘тяжелый’, ‘твердый’ — становятся в данном случае самыми важными, перемещаются в центр семантического поля. Другой пример. На заседании суда выступает прокурор: «Показания свидетеля Н. — это еще один кирпич в здание обвинительного заключения». Здесь «срабатывает» сема ‘строительный материал’, изначально заложенная в значении лексемы *кирпич*. Благодаря ей в семантике слова происходит опять-таки разовая — для данного контекста — реорганизация, перестройка: *кирпич* получает значение ‘составная часть чего-либо’.

Можно было бы показать, что и другое слово, семантику которого мы подробно исследовали, — существительное *стол* — тоже допускает речевой перенос значения, основанный на

активизации какой-то из сем, входящих в его состав. Скажем, пассажир в электричке говорит своему попутчику: «Ну-ка, где тут был наш стол?» — имея в виду дипломат (кейс), служивший им опорой при игре в карты...

Конечно, подобные словоупотребления не совсем обычны, они как бы содержат в себе скрытые сравнения, метафору. По этой же причине их не фиксируют словари — они просто и не смогли бы предусмотреть все возможные сдвиги в значении слова. Однако при всем своем разнообразии речевые, или окказиональные, изменения в значении лексемы вполне закономерны, потому что опираются на те элементы смысловой структуры слова, которые заложены в языке, узаконены языком.

Таким образом, значение слова — не застывшая структура, не «казарма», в которой каждой семе раз и навсегда отведено ее постоянное место. В речи эта структура «дышит», «шевелится», живет своей жизнью. Семы «выступают» на передний план или, наоборот, отходят в тень, передвигаются с окраины в центр и обратно.

26. Внутренняя форма, или мотивировка слова

В семантической структуре слова есть еще один компонент, который лежит как бы в иной — диахронической, или исторической, — плоскости. Это внутренняя форма слова.

Внутренняя форма, или мотивировка, — это тот признак предмета, который положен в основу названия. К примеру, *холодильник* — это то, что холодит, *чернильница* — то, куда наливают чернила, *грузовик* — то, что перевозит грузы, *кроссовки* (первоначально) — то, в чем бегают кросс, и т.д. Разумеется, у предмета есть разные признаки, и каждый из них может быть положен в основу названия. В таком случае возникают равнозначные, но разные, по-разному мотивированные наименования. Скажем, один и тот же предмет одежды может быть назван *ватником* — потому что он подбит ватой, *стеганкой* — потому что он простеган, прошит

продольными швами, *телогрейкой* — потому что его назначение в том, чтобы согреть тело, и т.д. (Сравним еще такие синонимические ряды, как *жалованье* — *получка* — *зарплата*, *изгородь* — *ограда* — *часток* — *плетень* и т.п.) Все это примеры внутренней формы, которая очевидна для каждого носителя языка.

Вместе с тем мы часто встречаемся с ситуацией, когда лексема не имеет явной внутренней формы: человеку неясно, как слово возникло, на какой признак предмета опиралось название. Почему, положим, тетрадь названа *тетрадью*, окно — *окном*, галстук — *галстуком*, карандаш — *карандашом*?.. Правда, достаточно провести некоторые филологические (собственно, этимологические*) разыскания, чтобы установить, что и эти слова первоначально имели свою внутреннюю форму, только со временем она у них стерлась, затемнилась. Лексема *тетрадь* восходит к древнегреческому корню *tetra* — ‘четыре’ (первоначально тетрадь состояла из четырех листов), *окно* обязано своим происхождением слову *око* (в самом деле, окна — это как бы глаза дома: через них дом «смотрит на мир»). Существительное *галстук* пришло к нам из немецкого языка, там слово *das Halstuch* означает буквально ‘шейный платок’. *Карандаш* — из тюркских языков** (*кара* означает ‘черный’ и *таш* — ‘камень’)..

Но в целом получается, что места для внутренней формы в плане содержания слова не остается. Поскольку мотивировка легко утрачивается, забывается (в частности, как мы видели, она теряется при переходе слова из одного языка в другой, т.е. при заимствовании), постольку можно сказать, что она слову вообще-то и не нужна. Точнее, нужна, но только на момент его возникновения. Это как бы метрика, свидетельство о рождении. А когда слово уже приживется в языке, получит свой «паспорт», войдет в словарь, внутренняя форма может легко отмереть, забыться.

* *Этимология* (от греч. *étymon* — ‘истина’) — раздел языкознания, занимающийся изучением происхождения слова.

** К тюркским языкам относятся татарский, казахский, турецкий, узбекский, чувашский и некоторые другие языки.

Поэтому мы употребляем в обыденной речи на равных правах такие названия, как *рукавица*, *перчатка* и *варежка*, хотя у первого из них внутренняя форма прозрачна (*рукавица* — от *рука*), у второго — слегка затемнена (*перчатка* образовано от *перст*: первоначально — *перстчатка*), а третье слово, *варежка*, вообще не имеет надежной мотивировки: может быть, оно возникло от названия древних варягов, но, возможно, и каким-то иным путем. Однако значение у *варежки* такое же ясное, как у *рукавицы* (это ее синоним) или *перчатки*...

По тем же причинам значение слова может со временем далеко отходить от соответствующей мотивировки, даже противоречить ей. Мы говорим, например, о ноже: *перочинный*, хотя уже давно не чиним им никаких перьев. Говорим о ком-то: *Он опростоволосился*, хотя нам совершенно непонятно, при чем тут волосы (да еще «простые»). Говорим сегодня: *красные чернила* и *цветное белье*, как бы не замечая того, что по самой своей языковой природе чернилам положено быть черными, а белье — белым... Внутренняя форма, сослужив свою функцию, дальше действительно утрачивается: «мавр сделал свое дело, мавр может уходить»... И если обычный человек, не филолог, раскроет этимологический словарь (который как раз и объясняет происхождение слов), то его там ждет немало открытий. Он не без удивления узнает, что слово *тварь*, оказывается, связано с *творить*, *рубль* — с *рубить*, *поршень* — с *порхать*, а название обычной поганки восходит к процессу распространения христианства в Древнем Риме (слово *поганка* произошло из словосочетания *поганный гриб*, *поганный* первоначально означало 'языческий', а пришло это слово из латыни, где *raganus* — так называли крестьян-язычников)...

И все же было бы упрощением считать, что внутренняя форма нужна слову только на момент его возникновения. На самом деле отношения между мотивировкой и лексическим значением, как и всё в языке, довольно сложны. Носитель языка ежедневно, постоянно сталкивается с массой «свежих», только что образованных слов. Вот, например, он чи-

тает в газете: *Депутатство — это не привилегия*. Или там же: *Продаются гвоздимые стеновые блоки*. Или он сам говорит: *Ты не видела моей ветровки? Саша просил позвонить, вот номер его мобильного...* Иногда он, сам того не замечая, может стать даже автором подобных окказиональных новообразований: *Не верю я этим разоруженцам! Где-то тут была такая ковырялка...* Что это за ничегонеделание? На фоне таких слов с совершенно прозрачной, очевидной мотивировкой обычные слова вроде *кастрюля, пиджак, хороший, семенить* выглядят слегка ущербными, неполноценными: им не хватает тех дополнительных связей (опоры на другие слова), которые есть у новообразований. Вот что значит отсутствие внутренней формы!

И потому бывает, что носитель языка пытается «помочь» словам с утраченной мотивировкой. Он пробует найти им какое-то обоснование, увязать их с другими лексемами и тем самым «укрепить» лексическую систему в целом. Говоря иначе, человек искусственно сближает слова, лишённые мотивировки, с другими, формально схожими словами. Но делает он это, конечно, в меру своего разумения, не всегда в согласии с данными науки. Вот, к примеру, самолет. Понятно, он назван так потому, что сам летает. А вертолет? Видимо, потому что летает, «вертя» винтом? На самом же деле название *вертолет* основано на соединении двух понятий: «вертикальный» + «взлет». Но в массовом сознании *вертолет* связывается скорее с *вертеть*... Другой пример: слово *столпотворение*. Каждому из нас так и слышится в нем основа «толпа» (ср. еще: *столпиться*). На самом деле — нет, столпотворение — это буквально ‘творение столпа, постройка Вавилонской башни’. Но, забыв про библейскую легенду, люди придали слову новую «историю», приписали ему чужую, ненастоящую мотивировку. Третий пример. Слово *свидетель* когда-то писалось через букву Ъ «ять»*: *свѣдетель*, и его настоящая внутренняя форма восходит к понятию «ве-

* Она звучала, по-видимому, как широкое, открытое [e] или среднее между [e] и [a].

дать, знать»: *свѣдѣтель* — это первоначально ‘тот, кто знает что-то’, ‘ведает’. Но потом слово как бы переосмыслилось на основе связи с глаголом *видеть*. Получилось: *свидетель* — ‘тот, кто видел что-то’...

Подобные примеры филологи называют ложной, или народной, этимологией. Конечно, для науки они представляют большой интерес. Но в то же время в определении «ложная», несомненно, присутствует и отрицательная оценка. Ложная — значит ненастоящая, неправильная. Действительно, такие случаи свидетельствуют о невнимании человека к истинной истории слова, а нередко оборачиваются искажением его формальной стороны (известны примеры вроде *спинжак* вместо *пиджак*, *полуклиника* вместо *поликлиника*, *гульвар* вместо *бульвар*...).

И все же ложная этимология, основанная на поиске дополнительных связей слова (особенно не очень хорошо знакомого) с другими словами, весьма живуча. Причины этого не только в какой-то «подгонке» слова под другие лексемы и даже не в том, что человек сплошь и рядом не может с уверенностью сказать, как слово возникло. Важнее, пожалуй, то, что носитель языка не может определить, связаны или нет между собой по смыслу два слова. Тем самым вся проблема переходит из плоскости происхождения, или истории, слова в плоскость его функционирования! Вот, скажем, раз в четыре года год бывает високосный. А связано ли прилагательное *високосный* с другими русскими словами — скажем, с *ви-сеть*? или *висок*? или *коса*, *косить*? Или же оно так и стоит особняком? Вроде бы напоминает по своему виду сложное слово (ср. какое-нибудь *смехотворный* или *близорукий*), но, с другой стороны, — при чем тут висок или коса? Или слово *строптивый* — связано ли оно по своему значению со словом *стропя*? А *белка* и *белый*? *Рубанок* и *рубить*? *Мохер* и *махровый*? *Лосины* и *лось*? Что-то общее есть в их значениях, но достаточно ли этого общего для того, чтобы считать их родственными? Во всех подобных случаях (а их масса) сознание носителя языка допускает наличие между словами смысловой связи, но связь эта как бы неявна, необязательна. То

ли она есть, то ли ее нет. Уж такова парадоксальная природа языка: там, где полагалось бы однозначно ответить: да или нет, — язык позволяет себе уклончивость: и да, и нет. Или так: вроде бы да, но, может быть, и нет. Носителя языка это вполне устраивает.

Итак, можно заключить, что внутренняя форма выступает как вероятностный (т.е. возможный) компонент лексического значения слова, если иметь в виду сугубо синхронический (одновременный) подход к языковому сознанию обычного человека.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Попробуйте объяснить этимологическую связь следующих русских слов.

Стыд и стужа, студеный; мерзкий и мороз; печаль и печь; горе и гореть.

2. Опишите разницу в значениях слов, образующих следующие пары: *город — град, сторож — страж, голова — глава, берег — брег*. Приведите еще примеры слов русского языка, различающихся полногласием/неполногласием своей звуковой формы.

3. Ниже приводится словарная статья **ДРУГ** из «Словаря ассоциативных норм русского языка» под ред. А.А. Леонтьева (М., 1977). После заглавного слова даются словесные реакции испытуемых с указанием общего количества каждой реакции (по убывающей). Попробуйте продемонстрировать на данном примере основные виды системных связей в лексике. Как можно прокомментировать различие между частыми и редкими реакциями?

Друг — товарищ 39, враг 30, верный 29, хороший 16, мой 10, недруг 9, близкий 5, настоящий, старый 4, брат, дорогой, надежный, преданный, приятель 3, закадычный, лучший, любимый, он, собака 2, большой, вечный, в нужде, волк, давний, далекий, девушка, детства, добрый, дорога, друга, единственный, желанный, женщина, любовь, мальчик, милый, Мишка, муж, навсегда, не верится, нет, общий, откровенный, парта, первый, плохой, подлость, подруга, пре-

датель, приходиться, противник, сердечный, сестра, синий, собака — друг человека, честный, чудеса 1.

4. Следующие русские слова образуют тематическую группу, но одно из них выпадает из общего ряда. Найдите эту лексему и объясните свое решение.

Яблоко, слива, персик, абрикос, груша, айва.

5. Пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня» в переводе на болгарский язык выглядит как «Вуйчо Ваня», а поэма С. Михалкова «Дядя Степа» — как «Чичо Стёпа». Как вы думаете, почему русское слово *дядя* переводится на болгарский язык двумя разными способами?

6. К каждой группе существительных подберите гипероним — слово, объединяющее своим значением всех членов группы.
О б р а з е ц: туфли, сапоги, валенки, боты, тапочки, кеды, сандалии... — обувь.

Молоток, стамеска, тиски, отвертка, дрель, плоскогубцы... —

Роза, пион, ромашка, ирис, львиный зев, гвоздика... —

Брат, сестра, племянник, дядя, свекровь, золовка... —

Шапка, кепка, шляпа, берет, папаха, феска, тубетейка... —

Карандаш, ручка, кисточка, фломастер... —

Чашка, кружка, стакан, бокал, фужер... —

Ключи, очки, расческа, носовой платок, бумажник... —

Марки, монеты, открытки, спичечные этикетки... —

Какие выводы можно сделать из сравнения полученных результатов? Какой вид системных связей реализуется в данных лексических группировках? Какую роль играет название в классификациях?

7. Сравните между собой следующие русские слова. Какими семантиками различаются их значения?

Умник и умница, возчик и возница, венок и венец.

8. Дан ряд слов: *ученик, учащийся, школьник, школяр, зубрила, отличник, первоклашка*. Опишите понятие, составляющее ядро лексического значения данных слов. Охарактеризуйте в каждом случае (если они есть) периферийные семы.

9. Попробуйте определить семантические оттенки следующих слов.
- а) Поэт, бард, пиит, песнярь, виршеплет, стихотворец, рифмач.
 - б) Умный, хитрый, мудрый, расчетливый, догадливый, сообразительный, смекалистый, хитроумный.
 - в) Внимательно, бережно, осторожно, предусмотрительно, аккуратно.
10. Ниже приводится ряд русских слов, обозначающих множество некоторых предметов.
- Набор, комплект, инвентарь, ассортимент, меню, репертуар, перечень, реестр, номенклатура, список, словарь, коллектив.
- Покажите на этих примерах, как особенности лексического значения слова реализуются в его сочетаемости с другими словами.
11. Знаете ли вы значения следующих русских слов: *выведенец*, *лишенец*, *осоавиахимовец*, *окруженец*, *бригадмилец*? Уточните их значения по 17-томному «Словарю современного русского литературного языка». К какой категории лексики следует отнести эти слова?
12. Герой одного из рассказов С. Довлатова несет на первомайской демонстрации лозунг: «Дадим суровый отпор врагам мирового империализма!» Он несет его довольно долго, пока кто-то не вдумывается в содержание лозунга. Для героя это, разумеется, кончается плохо.
- Объясните, почему содержание лозунга вначале кажется окружающим вполне приемлемым?
13. В историю русской литературы вошли писатели и поэты с фамилиями (псевдонимами) *Горький*, *Белый*, *Черный*, *Бедный*, *Голодный*, *Веселый*... Наличие каких сем в значении соответствующих прилагательных обусловило выбор данных псевдонимов?
14. Нам хорошо известны русские слова *сковорода* и *вагон* в прямых значениях. А вот две цитаты из писем А.П. Чехова:
- «А.Ф. Дьяконов... носит коленкоровые брючки и сковороду вместо картуза».

«Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине идет из гимназии».

Попытайтесь определить, что означают в данных контекстах слова *сковорода* и *вагон*. Как можно объяснить такое словопотребление? На чем оно основано?

15. Опишите значение слова *крокодил* в русском языке. Какие из перечисленных ниже сем являются при этом необходимыми и должны быть, по вашему мнению, представлены в словарном описании? Проверьте себя по толковому словарю.
- животное,
 - пресмыкающееся,
 - водное,
 - крупное,
 - живущее в теплых странах,
 - хищное,
 - опасное для людей,
 - зеленого цвета,
 - с бугристой кожей,
 - с большим хвостом,
 - с острыми зубами,
 - демонстрируемое в зоопарках,
 - послужившее названием сатирического журнала.
16. Представьте себе, что вы выбираете варежки, рукавицы или перчатки не по расцветке, цене, размеру, наличию или отсутствию пальцев и т.п., а по наличию внутренней формы у соответствующего названия? Какое бы изделие вы тогда предпочли?
17. Перечислите названия дней недели в русском языке. Все ли они имеют внутреннюю форму (мотивировку)?
18. Перечислите известные вам названия грибов в русском языке. У всех ли имеется внутренняя форма? Названия каких грибов в русском языке не мотивированы?
А теперь перечислите известные вам названия рыб. Сравните их по степени мотивированности с названиями грибов. Какой отсюда следует вывод? Как его можно обосновать исторически?
19. Определите внутреннюю форму у следующих русских слов. Сплетни, погрязнуть, коляска, никчемный, навоз, остолбенеть, клинок, местоимение, подонок, недоумевать.

20. В детской речи часто возникают названия вроде следующих: копатка ‘лопатка’, муфталин ‘нафталин’, колоток ‘молоток’, пескаватор ‘экскаватор’, мазелин ‘вазелин’, улиционер ‘милиционер’, больмашина ‘бормашина’ и т.п. Как называется в лексикологии такое явление и чем оно вызвано?
21. Как вы считаете, связаны ли между собой по значению и происхождению русские слова *ткать* и *тыкать*, *крыло* и *крыльцо*, *ковать* и *коварство*? Попробуйте найти семантические признаки, которые объединяли бы каждую пару лексем.

МОРФОЛОГИЯ

27. Процессы словообразования

Известно, что человеческое сообщество в ходе своей речевой деятельности не только пользуется готовыми названиями — словесными знаками, хранящимися в коллективной памяти, — но и регулярно создает новые такие знаки из подручного строительного материала. Однако словообразовательное творчество протекает, разумеется, по определенным образцам. Это значит, что в языковой памяти общества хранятся не только готовые слова и не только их «составные части», но также и правила, по которым данные части соединяются друг с другом. Иначе говоря, **процесс словообразования есть создание носителями языка новых слов из заданного материала по заданным моделям.**

К примеру, в современном русском языке новые слова могут быть образованы от разнообразных «старых» слов: существительных, прилагательных, глаголов, наречий и т.п. Если, положим «старая» основа (ее называют *п р о и з в о д я щ е й*), которая принадлежит имени существительному, соединяется с суффиксом *-ист* со значением ‘носитель признака, названного производящей основой’, то мы получаем новую — производную — основу, т.е. новое слово. У нас в голове эта модель реализуется во множестве хорошо знакомых лексем: *велосипедист* (от *велосипед*), *куплетист* (от *куплет*), *связист* (от *связь*) и т.п. По аналогии с ними мы легко образуем (и понимаем) новые образования с суффиксом *-ист*. Скажем, в газетных текстах сегодня можно встретить существи-

тельные *подстрочникист* ‘человек, специализирующийся на подстрочных переводах’; *прочник* ‘специалист, рассчитывающий прочность конструкции’; *шассист* ‘специалист по самолетным шасси’, даже *спинист* ‘пловец, выступающий в заплывах стилем «на спине»’, и т.д.

Новообразованная лексема первоначально сохраняет свою связь с «родителем» — производящей основой. Иными словами, производная основа всегда мотивирована. Однако со временем эта связь стирается, переходит в разряд исторических; мотивировка лексемы затемняется. Вот, к примеру, от существительного *рука* в русском языке образовано несколько десятков разных слов. Но если в одних случаях (*рукав, рукавица, наручники, рукоятка, рукоприкладство, ручка* — ‘маленькая рука’ и т.д.) производное слово прочно связывается по смыслу с производящей основой, то в других случаях эта связь явно обрывается. Так, *ручатся, поруки, выручка, руководитель* соотносятся с *рукой* уже скорей в историческом плане. Мы как бы чувствуем, что все эти слова образованы от слова *рука*, но эту связь надо еще дополнительно подтверждать и объяснять. В самом деле, *руководитель* — это ведь не просто тот, кто руками водит...

Еще нагляднее можно показать утрату, обрыв словообразовательных связей на примере сложносокращенных слов. Как известно, слова могут образовываться сложением корней (или основ), и бывает, что новое (сложносокращенное) слово настолько приживается в языке, что мы совсем не замечаем его производности. Кто из нас, произнося название *Донбасс*, вспоминает, что оно значит «Донецкий бассейн»? А существительное *прораб* — все ли употребляющие его знают, что оно означает «производитель работ»? Да и другие хорошо знакомые нам лексемы — *завуч, ширпотреб, хоздоговор, турбаза, комбикорм, юннат, собес, боеприпасы, гост* и т.п. — тоже сегодня уже не сводятся к сумме составляющих их частей; они зажили отдельной, собственной жизнью. Особенно активно в русском языке сложносокращенные слова возникали в начале XX в., это тогда родились *эсер, кадет, ликбез, командарм, всеобуч* и даже (были такие уродцы!)

шкраб ‘школьный работник’ и *потельработник* — ‘почтово-телеграфный работник’! Итак, словообразовательные отношения в слове могут со временем «угасать», затушевываться, стираться, производная основа как бы утрачивает свою производность, и тогда только этимологический (исторический) анализ может прояснить, как слово возникло.

Однако угасать может не только словообразовательная структура отдельного слова. Бывает, что и целая словообразовательная модель в языке «умирает», выходит из употребления. Конечно, сравнивая между собой разные слова, образованные по данной модели, мы установим ее сущность, значение, но важнее другое — то, что новых слов по этому образцу в языке уже не производится. К примеру, все мы слышали русскую поговорку: *И швец, и жнец, и на дуде игрец*. Она характеризует человека умелого, разностороннего, мастера на все руки. Ясно, что *швец*, *жнец*, *игрец* образованы от глагольных основ (*шить*, *жать*, *играть*) присоединением суффикса *-ец* со значением ‘профессия, занятие, род деятельности человека’. Но кто сможет сразу, с ходу продолжить этот ряд — привести еще примеры существительных, образованных по данной модели? Это не так-то просто. Поэтому лингвисты различают в словообразовании модели *продуктивные* и *непродуктивные*. Первые из них живут, так сказать, активной жизнью, по ним продолжают образовываться новые слова. Вторые тоже продолжают работать в языке, но как бы по инерции: новых слов по этим образцам уже не создается. Напомним: носитель языка использует в своей речи и слова, образованные по непродуктивным моделям (вроде *жнец*): он осознает их структуру и соотносит с другими словами, образованными по той же модели. Однако постепенно сама производность таких лексем становится менее явной, а отсюда — один шаг до их немотивированности (см. в разделе 26 о мотивировке, или внутренней форме слова). Примером могут служить в русском языке слова вроде *мыло*, *шило*, *рыло*, *одеяло*, в которых когда-то выделялся суффикс *-л-* со значением орудия действия (*рыло* — то, чем роют и т.п.), а теперь эти основы выглядят уже как непроемные, суффикс слился с корнем.

Словообразовательные модели могут различаться шириной или узостью своей лексической базы. Это значит — каждый такой образец действует в границах определенного круга лексики (слов с тем или иным значением, принадлежащих к той или иной части речи и т.д.). В принципе, чем модель продуктивнее, тем более она склонна захватывать «смежные территории» — вербовать производящие основы среди представителей «чужих» лексических классов, иных частей речи... Иногда круг производящих основ расширяется, можно сказать, непредсказуемым образом. Вот есть в русском языке модель с суффиксом *-изм*, обозначающая общественное течение, направление, свойство характера и т.п.: *романтизм, плюрализм, популизм*... Но в последнее время данный ряд пополняется такими новообразованиями, как *передовизм, наплевизм, отпихнизм* и даже (в литературных контекстах) *центропунизм, дундукизм* и *бабизм-ягизм*; среди этих неологизмов есть слова, образованные от прилагательных, существительных, глаголов... Приживутся ли они в языке? Кто знает, вряд ли! Но само их появление в текстах знаменательно.

Модели могут быть также более регулярными (более четкими и обязательными по своей семантике), или же, наоборот, менее регулярными (семантически варьирующимися и расплывчатыми). И здесь тоже есть своя закономерность. Чем шире лексическая база словообразовательной модели, тем труднее ей сохранить регулярность. Понятно, что это непосредственно отражается на значении тех словообразовательных средств (префиксов, суффиксов и т.п.), которые участвуют в формировании данного класса слов. Скажем, среди отглагольных существительных в русском языке выделяется многочисленный класс слов, образованных по бессуффиксальной модели с префиксом *по-*: *полет, поход, погром* и т.п. Но подвести значение всех этих образований под одну семантическую категорию довольно трудно: здесь и действие (*поиск, полет*), и его результат (*порез, потоп*), и способ (*покрой, помол*), и место или время (*покос*)... Получается, что единство словообразовательной модели достигается ценой жертвы ее семантической регулярности.

Отвечая на вопрос о роли словообразования в языке и в речи, проще всего указать, что благодаря словообразованию возникают новые лексемы, словесные знаки; язык развивается, обогащается. Более того, словообразование помогает носителю языка «организовать» лексику в своем сознании. Это значит, что объединение слов в классы происходит также с помощью словообразовательной семантики (вспомним уже приводившиеся примеры: существительные на *-ист* или на *-изм* в памяти человека держатся вместе, как бы единой группой).

Если же подходить к словообразованию строго синхронично, с позиций «сиюминутного» речевого акта (ведь общение — это обмен информацией при помощи знаков, а наиболее типичные знаки — слова), то не получится ли, что оно играет по отношению к лексике второстепенную, вспомогательную роль, находясь как бы «на подхвате», служа для подстраховки: когда у говорящего не окажется в памяти подходящего слова, тут-то его и можно создать... Действительно, готовых слов на все случаи жизни просто не напасешься. Поэтому речевую деятельность стоило бы определить не только как и с поль з о в а н и е (воспроизводство) знаков, но и как их с о з д а н и е по имеющимся образцам. И в этом смысле роль словообразования в деятельности говорящего и слушающего чрезвычайно велика.

Вот, к примеру, в сказке А. Волкова «Семь подземных королей» действуют некие существа с шестью лапами, их так и называют — *шестилапые*. Возможно, никогда ранее в русском языке такого слова не существовало, так же как не было и некоторых других производных, употребляющихся в тексте, — например, *шестилапник* (это название жилища шестилапых). Но никаких трудностей с пониманием, в том числе у маленьких читателей, эти слова не вызывают — их словообразовательная семантика вполне прозрачна!

Словообразование «обслуживает» не только лексику — оно связано также с грамматикой. Словообразовательные средства позволяют соотнести слово с определенными грамматическими классами и разрядами, видами глаголов, рода-

ми и типами склонения существительных и т.д. (см. далее, в разделе 29). Разумеется, в каждом языке сложились свои правила такого соотношения. Например, при образовании уменьшительных существительных в русском языке грамматический род производящего слова обычно сохраняется: *нос — носик, голова — головка, окно — окошко* и т.п., а в немецком языке образование уменьшительного существительного автоматически (независимо от грамматических свойств производящего слова) переводит его в средний род: *die Nase — das Näschen, der Kopf — das Köpfchen, das Fenster — das Fensterchen*.

Вот это особое, промежуточное положение словообразования в системе языка определяет его относительную самостоятельность, независимость от других уровней. Бывает, что человек в конкретный момент речи не может припомнить какое-то слово или просто колеблется в выборе названия, однако он точно знает, что этому слову свойственно такое-то общее (словообразовательное) значение и даже связывает его с конкретным суффиксом или префиксом. Он говорит, например, так: «Что это мы всё переделываем, да перестраиваем, да пере...». Префикс (и словообразовательная модель) в такой ситуации выбирается как бы раньше конкретных слов, а словообразовательное значение, отрываясь от слова, приобретает наглядную автономию.

Еще заметнее эта самостоятельность словообразования в ситуациях со словами искусственными, придуманными, образованными от несуществующих корней. Так, в сказке английского математика, философа и поэта Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» приводится стихотворение «Бармаглот». Вот его начало (в переводе Д.Г. Орловской):

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

Мы можем очень по-разному представлять себе, что такое, скажем, *шорьки* и *мюмзики*. Но несомненно, что и то, и дру-

гое — существительные, образованные по хорошо известной нам модели, и суффикс здесь передает уменьшительно-ласкательное значение! Наверное, художественный эффект подобного текста в значительной степени и заключается в столкновении знакомого и непонятого. Читателю предлагается принять этот текст за русский (вспомним приводившийся ранее пример с *глокой куздрой*), и словообразовательные показатели должны с очевидностью это подтвердить. А далее уже встает задача «дешифровки» сообщения, и каждый читатель волен действовать в соответствии со своей фантазией.

Получается, таким образом, что словообразование выполняет в языке несколько функций. Во-первых, оно служит созданию новых слов; это один из основных способов пополнения словарного запаса. Во-вторых, объединяя слова в семантические классы, словообразование помогает организовывать лексику как систему в сознании носителя языка. В-третьих, оно связывает лексику с грамматикой, приписывая лексическим классам некоторые общие грамматические характеристики.

Что же касается речи, то здесь, кроме создания новых слов непосредственно в речевом акте, словообразование несет на себе свою долю общей смысловой нагрузки высказывания. Поскольку словообразовательное значение (воплощающееся в соответствующей модели) имеет характер более обобщенный, чем значение отдельного слова, то выбор первого может помогать выбору второго. В своих поисках слова мы нередко опираемся на уже известное нам словообразовательное значение.

28. Морфема — значимая часть слова

Как уже отмечалось (см. раздел 8), морфема — своего рода «субзнак»: это минимальная языковая единица, обладающая своим планом содержания и планом выражения, но (в отличие от слова и предложения) не способная к самостоятельному функционированию. Морфема не называет предмет и не

сообщает информацию, ее функция иная: с т р о е в а я, иначе говоря — строительная.

Условием для выделения морфемы является ее повторение, «встречаемость» в составе разных слов. А.М. Пешковский писал: «Огромное большинство слов распадается в нашем уме на части, которые возникают при сравнении слова с другими словами, и эти части имеют значение». Действительно: для того чтобы морфему выделить, мы должны обнаружить ее в разных словах. Только сравнивая между собой, допустим, следующие английские лексемы: *hunter* ‘охотник’, *raider* ‘участник рейда, облавы’, *reformer* ‘реформатор, преобразователь’, *golfer* ‘игрок в гольф’ и т.п., мы приходим к выводу, что в английском языке существует морфема *-er* со значением ‘лицо, признаком которого является действие, названное в соседней, предыдущей морфеме’ (например, *(to) hunt* — ‘охотиться’ и т.д.).

Если бы морфема не повторялась в разных словах, нам трудно было бы ее выделить, описать ее значение. Вот, скажем, в слове *рукав* легко выделяется морфема *рук-*. Она встречается во многих других русских словах — *рука*, *рукопись*, *вручную* и т.п. — и везде обозначает верхнюю конечность человека. А вот что значит вторая часть в этом слове: *-ав*? Она, кажется, в других словах не встречается (ясно, что *нрав* или *волкодав* не подходят...), и потому описать ее значение не просто. Можно, конечно, сделать это «по остаточному принципу», выделяя из значения целого слова *рукав* значение морфемы *рук-*. И тогда мы получим что-то вроде: *-ав* — ‘часть одежды, прикрывающая соответствующую часть тела’, но проверить это трудно: других-то слов с таким элементом нет!

Неповторяющиеся, уникальные морфемы — это, в общем-то, не такая уж редкая ситуация. Возьмем для примера упоминавшееся ранее существительное *плюрализм*. Что значит в нем — *изм* — понятно, об этом уже шла речь: ‘позиция, отношение, течение, направление’. А как быть с оставшейся частью *плюрал*’-? Носителю русского языка нет дела до того, что данный корень — латинского происхождения и в латыни *pluralis* означало ‘множественный, многообразный’.

В русском языке данная морфема нигде более не встречается (если не считать производных от *плюрализм* слов: *плюралист*, *плюралистский* и т.п.), и определять ее придется опять-таки по принципу «что останется», отнимая от значения слова в целом значение суффикса...

Уже этих немногочисленных примеров достаточно, чтобы увидеть, что морфемы — значимые части слова — характеризуются в составе целого разными функциями. В русской грамматической традиции принято выделять три вида морфем в соответствии с их ролью: корневые, словообразовательные и словоизменятельные. Два последние вида объединяются под названием а ф ф и к с ы.

К о р н е в ы е м о р ф е м ы, или просто корни, несут на себе основную часть лексической «нагрузки» слова, они указывают на происхождение лексемы, соотнося ее с другими, родственными словами. Так, в словах *рука*, *ручка*, *рукав*, *рукавица*, *наручник*, *поручень*, *рукопись*, *вручную* и т.п. мы выделяем один и тот же корень *-рук-/-руч-*.

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е м о р ф е м ы (префиксы* и суффиксы) служат для формирования новых слов. Корень вместе со словообразовательными морфемами составляет морфологическую о с н о в у слова. Основа слова уже «целиком» содержит лексическое значение и остается неизменной при образовании форм слова, ср.: *ручк-а*, *ручк-и*, *ручк-е*, *ручк-у* и т.д.

С л о в о и з м е н и т е л ь н ы е м о р ф е м ы выполняют грамматические функции. Это значит: они относят слово к тому или иному грамматическому классу, придают слову необходимую в данном контексте форму (т.е. образуют с л о в о - ф о р м у), связывают лексему в речи с другими словами — партнерами по высказыванию. В русском языке словоизменятельные морфемы выступают в виде флексий** (оконча-

* *Префикс* (от лат. *praefixus* ‘приставленный спереди’) — приставка, морфема с грамматическим значением, стоящая перед корнем.

** *Флексия* (от лат. *flexio* ‘изменение’) — окончание, грамматическая морфема, стоящая после корня и служащая для изменения слов.

ний). Так, в примерах *Девочка машет из окна ручкой* и *Ребенок тянет ручки к матери* лексема *ручка* представлена двумя словоформами, образованными соответственно при помощи флексий *-ой* и *-и*. Есть языки, в которых словоизменительную роль выполняют префиксы. Так, в суахили (одном из языков Африки) префикс прилагательного выбирается в зависимости от показателя класса определяемого существительного, ср. *mtu mdogo* букв. ‘человек маленький’, *kitu kidogo* ‘вещь маленькая’, *ndege ndogo* ‘птица маленькая’, *pahali padogo* ‘место маленькое’ и т.п.

Морфемы могут сочетаться в различных комбинациях. Например, в словоформе *ручка* представлены корень *руч-*, суффикс *-к-* и флексия *-а*, в словоформе *впрямь* — префикс *в-* и корень *-прям’*, в словоформе *немедленно* — префикс *не-*, корень — *медл’* и два суффикса: *-енн-* и *-о*. «Комплект» тут может быть самым разным, но одно условие обязательно: корень должен быть представлен. Если в словоформе всего одна морфема (например: *там, очень, шоссе, нет, хлоп!*), это и есть корень. В сущности, корень можно определить и как часть слова, остающуюся после отсечения словообразовательных и словоизменительных морфем, — хотя таким путем мы просто переносим центр тяжести данной проблемы на вычленение суффиксов и префиксов...

А проблема деления слова на морфемы заключается прежде всего в том, что со временем — об этом уже говорилось в предыдущем разделе — исходное значение морфемы стирается, «угасает». В самом деле, продолжая ряд производных типа: *ручка, рукав, наручник, поручень...* мы можем спросить себя: а чувствуется ли «связь с рукой» в таких словах, как *несподручно* или *выручка*? Если и да, то довольно слабая, «притянутая за уши». Пожалуй, с таким же правом мы можем разглядеть тот же корень *-рук-/руч-* в существительных *обруч* или *поручик*: не так уж трудно подыскать мотивировки, связывающие их значение с рукой!

Получается, что корневая морфема указывает не столько, что значит слово, сколько как (от чего) слово во з н и к л о. Вот этот «исторический привкус» корня есть, можно ска-

зять, дань (или уступка) словообразовательному анализу. И такая противоречивость или непоследовательность морфемного членения слова дает о себе знать довольно часто, это один из объективных парадоксов языка. Можно ли, положим, в слове *пожар* усмотреть корень *-жар*? Можно ли в слове *крыльцо* выделять корень *крыл-* и суффикс *-ц-*? Можно ли в слове *близорукий* находить связь с *рукой*, или же это только неправильная, ложная этимология? Все эти вопросы трудны не только для ученика, но и для учителя, и для ученого. Сам же язык отвечает на них хитро, в соответствии со своей эволюционной природой. Он говорит как бы: и да, и нет: в какой-то степени можно, а в какой-то нельзя. Раньше в слове *пожар* несомненно был корень *-жар*, но теперь здесь скорее целиком корень *пожар*. Раньше в слове *крыльцо*, действительно, был суффикс *-ц-*, а теперь его, пожалуй, уже и нет. Первоначально *близорукий* включало в себя корень *-зр-* (*близозоркий*, т.е. ‘видящий только вблизи’), но теперь уже слово довольно прочно соотносится в сознании носителя языка со словом *рука* (*близорукий* — как бы ‘близко подносящий руки к глазам’)... Таким образом, при морфемном членении слова приходится в каком-то смысле искусственно прерывать процесс языкового развития, останавливать его на каком-то моменте, говоря «уже да» или «еще нет», хотя сам язык такой черты и не проводит.

Столкновение сегодняшнего дня и истории — только одна трудность, сопровождающая процесс морфемного членения слова. Другая, не менее сложная проблема связана с в а р ь и - р у е м о с т ь ю морфемы. В самом деле, уже на приводившихся выше примерах можно заметить, что одна и та же морфема от слова к слову варьируется, в той или иной мере изменяет как свой план выражения, так и план содержания.

Скажем, морфема *рук-* довольно часто выступает в виде *руч-*: *ручка, ручной, вручать*... Иногда же в ней конечный согласный звучит как [к’]: *руки, руке, безрукий*... Можно найти также примеры, в которых этот конечный согласный заменяется на [ш]: (*рушник*) или даже на [ц] (в частности, в составе фразеологизма *всё в руке Божьей*, где *руце* — старая

форма местного падежа)... И это закономерно: коль скоро морфема — языковая единица, то она должна выступать в речи в разных вариантах, воплощаться в разные материальные оболочки (см. раздел 21, о языковых единицах как об абстракциях).

Видоизменяется также план содержания морфемы, и это касается не только корней. Например, суффикс *-к-* в «классическом» варианте передает значение уменьшительности или ласкательности (*улочка, тувелька, бородка* и т.п.). Но о какой уменьшительности или ласкательности может идти речь в случае, скажем, *минутка (Задержись на минутку, пожалуйста)*? Ведь минута как отрезок времени не может быть ни большой, ни маленькой, да и ласковое к ней отношение тоже как-то кажется странным? Просто суффикс *-к-* здесь сообщает слову доверительно-интимную окраску, имеющую конечной целью «задобрить» собеседника, выразить дружеское к нему отношение и т.п. Суффикс *-к-* может также передавать оттенок иронический, неодобрительный (*Ну и погодка!*). Наконец, в каких-то случаях *-к-* вообще как бы теряет свое значение (скажем, в словах вроде *половинка* или *тетрадка*). Многозначность, таким образом, — явление нормальное не только среди слов, но и в сфере морфем.

Закономерное изменение плана выражения и плана содержания морфемы ставит перед нами уже знакомую проблему тождества языкового знака, только поворачивает ее новой стороной. А именно: где предел варьирования морфемы? До каких пор перед нами еще «та же самая» морфема, а с каких пор уже «новая», другая? Нет ли оснований, скажем, считать, что в русском языке есть не с к о л ь к о суффиксов *-к-*, каждый со своим собственным значением? Или не следует ли наряду с морфемой *рук-*, обозначающей верхнюю конечность человека, выделять «новые», отдельные корневые морфемы, вобравшие в себя бывшие префиксы: *порук-, поруч-, выруч-* и т.п.? Или как трактовать слова *месть* и *мзда* — как представляющие варианты одного корня или разнокорневые?

Вспомним в связи с этим то, что известно о структуре знака вообще (см. раздел 9). Если меняется только один план (или

выражения, или содержания) при сохранности второго плана, знак сохраняет тождество самому себе. Если же меняются обе стороны, то перед нами уже другой знак, новая двусторонняя единица. Поэтому, видимо, нет оснований различать в приводившихся выше русских словах «несколько» суффиксов *-к-*: у них нет достаточной специфики в плане выражения. В то же время в других случаях семантические различия как бы подтверждаются формальными — и тогда морфема «расщепляется» на две. Так, элементы [мс'т'] (*мстить*), [м'ес'т'] (*месть*), [мщ'] (*мщу*), [м'ез'д'] (*возмездие*) — это всё варианты одной морфемы, одного знака. Однако [мс'т'] (*мстить*) и [мзд] (*мзда*) — это уже разные корни; здесь одновременно с формальной стороной изменился и план содержания...

В разных языках морфемная структура слова различна. Есть языки, к числу которых принадлежат и русский, с сильно развитым словообразованием и словоизменением. Например: женщина преклонного возраста может быть названа порусски *старухой, старушкой, старушечкой, старицей, старушонкой, старушенницей* и т.д. (ср. также от других корней: *бабка, бабушка, бабуля, бабуся, бабулька* и т.п.) — здесь сразу чувствуются богатые словообразовательные возможности языка. Но есть языки, в которых слово имеет сравнительно простую морфемную структуру — к их числу принадлежит, например, английский (все только что приведенные русские выражения можно передать по-английски как *old woman*). В таких языках соответствующие значения часто выражаются иными средствами: через сочетаемость лексем, через заимствования из других языков, через развитие у слова переносных, вторичных значений.

Причем среди языков с развитым словообразованием и словоизменением есть такие, в которых чаще используется префиксация, т.е. «нанизывание» перед корнем по несколько префиксов. А есть языки, склонные к постфиксации: в них слово всегда начинается с корня, и уже за ним следует длинная цепочка суффиксов и флексий. Все эти различия связаны с общим грамматическим строем языка, с распространением в нем предлогов и других служебных слов, с установле-

нием жесткого или, наоборот, относительно свободного порядка слов в предложении и т.д.

Таким образом, место, которое занимает морфема в языковой системе, обусловлено ее отношениями с другими важнейшими единицами языка: словом и предложением.

29. Грамматические значения и грамматические категории

Самое общее противопоставление с точки зрения семантики — это деление значений на лексические и грамматические, хотя во многих языках эти два вида значений могут быть выражены в комплексе, в пределах одного слова. В таком случае носителем лексического значения является корень «в сотрудничестве» со словообразовательными морфемами. Грамматическое значение концентрируется в словоизменяемых морфемах, но опять-таки при поддержке морфем словообразовательных. Получается, что эти последние (префиксы и суффиксы) — так сказать, слуги двух господ: они работают и на лексику, и на грамматику. Действительно, какой-нибудь суффикс *-к-* в слове *ручка* служит образованию нового слова. Но он же предопределяет, что это слово будет существительным, и притом женского рода, а это уже область грамматики...

Лексическое значение противопоставлено грамматическому, во-первых, тем, что оно более вещественно, более «предметно», в то время как грамматическому свойственна большая степень абстрактности, отвлеченности. Во-вторых (см. раздел 22), системность лексических значений неочевидна, не бросается в глаза. Грамматические же значения четко противопоставлены друг другу и взаимно обуславливаются. Так, словоформа *рука* в функции субъекта действия (*Рука бойцов колоть устала*) противопоставлена словоформе *руку* в функции объекта действия (*Дай руку, товарищ!*). И даже если они не находятся рядом в конкретном контексте (как тоже случается, ср.: *Рука руку моет*), они все равно соотно-

сятся друг с другом в нашем сознании — «помнят» друг о друге, подразумевают друг друга. Именительный падеж выделяется только тогда, когда он противопоставлен какому-то иному (хотя бы одному) падежу. Но в русском языке словоформа именительного падежа *рука* противопоставлена также словоформе *рукой* (творительный падеж в значении орудия действия и др.), словоформе *руке* (дательный падеж в значении адресата действия) и т.д. И то же самое можно сказать о любой падежной форме: она образует целую сеть оппозиций с другими формами.

Конечно, есть языки, в которых система словоизменения — не такая богатая. В частности, имя существительное в современном английском языке имеет всего три морфологические формы. Единственное число здесь противопоставлено множественному (*brother* ‘брат’ — *brothers* ‘братья’, *bee* ‘пчела’ — *bees* ‘пчелы’, *lamp* ‘лампа’ — *lamps* ‘лампы’ и т.п.), а кроме того, в рамках единственного числа существует оппозиция общего падежа так называемому притяжательному падежу, ср.: *bee* ‘пчела’ — *bees speed* ‘скорость пчелы’ (показатель притяжательного падежа омонимичен показателю множественного числа). Других падежей в английском нет. Но при «бедной» системе словоизменения противопоставленность форм друг другу — еще более явная.

Итак, возьмем ли мы для примера отдельную флексию или целую словоформу, нетрудно убедиться: *каждая грамматическая единица существует только «на фоне» себе подобных — других членов грамматической системы.* Совокупность противопоставленных друг другу форм словоизменения называется п а р а д и г м о й (от греческого корня *parádeigma*, означающего ‘образец’). К примеру, парадигма русского слова *рука* состоит из 12 словоформ: *рука, руки, руке, руку, рукой, (о) руке, руки, рук, рукам, руки, руками, (о) руках.* И не беда, что какие-то из этих единиц совпадают друг с другом (как в нашем случае именительный и винительный падежи во множественном числе): у них разные функции, и они сохраняют свою противопоставленность в системе. Подтверждением этому служит то, что у других слов данные формы будут разли-

чаться (ср.: *подруги — подруг, братья — братьев* и т.п.). Иными словами, как это видно на примере английских форм множественного числа и притяжательного падежа, в рамках парадигмы допустима частичная омонимия. Но сравнение и обобщение парадигм разных лексем позволяет нам построить парадигму целого класса слов — например, типа склонения или даже части речи. Таким образом, мы можем говорить о парадигме имени существительного, парадигме прилагательного, парадигме глагола и т.п. Фактически именно с такой парадигмой мы имеем дело в грамматиках и учебниках, когда встречаемся, скажем, с таблицей типа:

1-е склонение существительных		
	Единственное	Множественное
	число	число
ИП	-а, -я	-и, -ы
РП	-и, -ы	∅
ДП	-е, -и	-ам, -ям
ВП	-у, -ю	-и, -ы, ∅
ТП	-ой, -ей	-ами, -ями
ПП	-е, -и	-ах, -ях

Не забудем только, что в такой таблице приводятся орфографические (буквенные) варианты флексий, а над их истинной (звуковой) ценностью стоит еще поразмышлять. Кроме того, обратим внимание на то, что среди флексий, образующих парадигму, полноправное место занимает так называемая нулевая морфема (нулевая флексия, ∅) — «пустое место», наделенное — на фоне своих соседей по парадигме — собственным значением (см. раздел 10). В данном случае это значение родительного падежа множественного числа (*рук, деревень, армий*), а также — для части существительных — еще и значение винительного падежа множественного числа (*женщин, коз, судей*). В иных же случаях другая (или, собственно, «третья», «четвертая» и т.д.) нулевая морфема может нести иное значение — именительного падежа единственного числа существительных мужского рода (*стол, конь*), единственного числа повелительного наклонения глаголов

(*вынь, стой*) и т.д. Как и среди любых других морфем, среди нулевых флексий случается омонимия.

Если сравнивать словоизменение конкретного слова с парадигмой целого класса слов (например, части речи), то естественно, что на фоне такого идеального «образца» отдельная лексема может оказаться ущербной, дефектной: в ее словоизменении может не хватать той или иной словоформы. Эти парадигмы так и называют — неполными, или ущербными. Например, в английском языке абсолютное большинство существительных приобретают форму множественного числа при помощи показателя *-s* (это мы уже видели: *brothers, bees...*). Но есть несколько слов, которые такой формы не образуют (*sheep, deer, swine*) — их парадигма оказывается неполной.

Особенно важно понятие неполной, или ущербной, парадигмы для языков с богатым словоизменением. В частности, в русском языке многие глаголы по тем или иным причинам не образуют отдельных форм лица, числа, времени, наклона... В частности, трудно произвести форму 1-го лица единственного числа настоящего времени от глаголов *сонеть, дудеть, шелестеть*. Не образуют формы единственного числа глаголы *толпиться, сбежаться, сгрудиться, поумирать, повскакивать* и др. Не имеют форм повелительного наклона лексемы *вянуть, гнить, состоять, видеть, грезить, бредить* и т.п. Многие существительные в русском языке употребляются только в единственном или, наоборот, только во множественном числе — ясно, что их парадигма тоже неполна. Примерами первых лексем могут служить *нефть, золото, вред, дрожь, беготня, голод, спасение, детвора* и др., примерами вторых — *ножницы, сани, ворота, щи, прятки, хлопоты, белила...*

В русской грамматике известен своего рода казус, когда слово существует в виде одной только словоформы, причем косвенного падежа: это форма *щец*, — например, в высказывании: *Еще тарелочку щец!* (Действительно, а как сказать в именительном падеже: *Мне понравились ...щи?* Но это другое, не уменьшительное существительное, и родительный падеж от него будет *щей...*)

На этом фоне несклоняемые существительные в русском языке выглядят антиподами: они просто лишены словоизменения как такового. (Конечно, можно было бы сказать, что у слов типа *шоссе, алиби, рагу, казино* есть полная парадигма, только все 12 ее членов выглядят одинаково, — но тогда само понятие парадигмы теряет всякий смысл...) Фактически же падеж этих существительных выражается при помощи их соседей по тексту: согласуемых прилагательных, управляющих глаголов, других существительных, с которыми данное слово находится в сочинительной связи, и т.п. Например, в высказывании *У него твердое алиби* слово *алиби* стоит в именительном падеже единственного числа, что мы узнаем, в частности, по форме определения *твердое*. Точно так же не составляет труда определить, что во фразе *По скоростным шоссе мчатся современные автомобили* словоформа *шоссе* имеет значение дательного падежа множественного числа: кроме эпитета *скоростным*, нам помогает в этом предлог *по* (мчаться по чему?)...

Парадигма слова может быть не только ущербной (если она включает в себя какие-то «незаполненные клеточки»), но и, наоборот, избыточной, — если для выражения какого-то грамматического значения существует несколько вариантов формы. Примерами таких вариантов в современном русском языке могут быть словоформы *чтят* и *чтут*, *помахай* и *помаши*, *учители* и *учителя*, *рукой* и *рукою* и т.п. Разумеется, в других языках — свои конкретные правила варьирования грамматических форм. Скажем, в польском языке названия лиц типа *bohater* ‘герой’, *oficer* ‘офицер’, *biolog* ‘биолог’ допускают двоякое образование форм множественного числа: *bohaterowie* и *bohaterzy*, *oficerowie* и *oficerzy*, *biologowie* и *biolodzy*.

Через парадигмы в языке выражаются грамматические категории. *Грамматическая категория* — это система противопоставленных друг другу грамматических значений вместе с системой выражающих их формальных средств. Получается, что словоизменительные парадигмы состоят на службе у грамматических категорий. Скажем, грамматичес-

кая категория падежа находит свое выражение в совокупности падежных парадигм, грамматическая категория лица реализуется через парадигму личных окончаний глагола и т.д. В то же время — и это очень важно — грамматическая категория воплощается не только в морфологических (словоизменяемых) парадигмах, но и в иных формальных средствах, — например, порядке слов, служебных словах, интонации и др.

К примеру, категория наклонения в русском языке имеет в своем распоряжении, кроме глагольных флексий, также некоторые служебные слова — частицу *бы* в сослагательном наклонении, частицы *да, пусть, -ка* в повелительном наклонении, различные интонационные рисунки в устной речи и т.п. Одно дело — сказать нейтральным, равномерно понижающимся тоном: *Приди через полчаса* — это просьба, выраженная обычной формой повелительного наклонения. Другое дело — сказать с повышающейся интонацией: *Приди ты через полчаса... (и меня бы здесь уже не было)* — это предположение, условие. Данное различие в устной речи мы выражаем прежде всего (если не считать употребления местоимения *ты*) через интонацию.

В каждом языке обязательно есть свой набор грамматических категорий. В частности, русскому языку присущи такие грамматические категории, как род, число, падеж, лицо, время, наклонение, вид, залог, степени сравнения. Все они охватывают максимально широкий круг лексики (практически целую часть речи или даже несколько частей речи). И все они с необходимостью (обязательностью) используются при построении высказываний, поэтому воспринимаются носителями языка как естественные и даже единственно возможные. Однако тот же род или вид представляет существенные трудности, скажем, для англичанина, изучающего русский язык. Почему *океан* и *ручей* — мужского рода, *река* и *заводь* — женского, а *озеро* и *море* — среднего? В чем разница в смысле высказываний *Саша мне этого не сказал* (совершенный вид) и *Саша мне этого не говорил* (несовершенный вид)?..

Глубинная причина всех этих и подобных трудностей в том, что грамматические значения (и объединяющие их грамматические категории) слабо связаны с объективной действительностью. В отличие от лексических, грамматические значения в большей степени замыкаются на самих себе, ограничиваются рамками языка, служат «смазкой» для его механизмов. Поэтому-то «чужие» грамматические категории кажутся нам странными, необязательными, даже нелогичными. Вот как писал Дж. Пауэлл, один из исследователей туземных языков Северной Америки: «Индеец понка для того, чтобы сказать «человек убил кролика», должен выразиться: «человек, он, один, живой, стоя (в именительном падеже), нарочно убил, пустив стрелу, кролика, его, живого, сидящего (в винительном падеже)», ибо форма глагола «убить» для данного случая должна быть выбрана из числа нескольких форм. Глагол меняет свою форму... чтобы обозначить лицо, число, род, одушевленность или неодушевленность, положение (стояние, лежание, сидение) и падеж. Форма глагола выражает также, совершено ли действие убийства случайно или преднамеренно, совершено ли оно при помощи снаряда, и если при помощи снаряда, то какого именно...» (Цит. по: *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление. — М., 1930. — С. 96.). Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что и в русском высказывании *Человек убил кролика* тоже выражено, что *человек* — это «он», «один», «мужского рода» и *кролик* тоже — «он», «один», «одушевленный»; и «субъектность» человека выражена именительным падежом, а «объектность» кролика — винительным (представим себе хоть на секунду обратные отношения: *Человека убил кролик!*) Далее, в этом высказывании сообщается, что процесс убийства был, так сказать, разовым или кратким и закончился успешно (иначе было бы *Человек убивал кролика*)... Так что и русская фраза грамматически своеобразна. Во всяком случае, если взглянуть на нее глазами англичанина, то в ней тоже обнаружатся необязательные и «странные» значения — вроде упоминавшихся рода и вида. В английском же языке есть свои специфические категории, подлежащие обязательному выраже-

нию в речи, — такова, например, категория определенности/неопределенности имени. И русский, переводя данную фразу на английский, будет ломать голову над тем, с каким артиклем — определенным или неопределенным — употребить слово *man* ‘человек’ и *rabbit* ‘кролик’: *A man / the man killed a rabbit / the rabbit?*

Своеобразен не только набор грамматических категорий в каждом языке, но и их внутренняя структура. Единицы, составляющие грамматическую категорию, называются *граммемами*. Так, нам кажется совершенно естественным и логичным подразделение категории времени на три граммемы: настоящее, прошедшее и будущее время. Как уже говорилось, формы настоящего времени указывают на одновременность действия с моментом речи; формы прошедшего — на то, что действие предшествовало моменту речи, формы будущего — на то, что действие последует за моментом речи. Однако во многих европейских языках глагольных времен не три, а, скажем, пять или семь. И это заставляет нас усомниться или, по крайней мере, задуматься о преимуществах русской темпоральной (от лат. *tempus* ‘время’ — временной) системы. А собственно, три ли граммемы времени в русском языке? Рассмотрим следующие примеры.

Не мешай отцу: он пишет письмо.

Каждый абитуриент пишет сочинение по родному языку и литературе.

В июле 1834 года Пушкин пишет своей жене, что он закладывает имение отца.

Можно ли считать, что формы глагола *писать* в данных примерах представляют одно и то же грамматическое время? В первом случае речь идет о сиюминутном действии, совпадающем с моментом речи. Во втором — о действии, так сказать, вневременном (регулярно повторяющемся и т.п.). В третьем, несомненно, о конкретном событии, состоявшемся в историческом прошлом (такое значение называется «историческое настоящее»). Для англичанина или испанца это всё разные времена. Мы тоже достаточно хорошо чувствуем эту разницу в значениях. Но поскольку, как уже говорилось,

грамматическая категория — не только противопоставленные друг другу значения, но также и система регулярных формальных противопоставлений, то придется признать: в русском языке формальных признаков для выражения данных смысловых различий недостает. Следовательно, настоящее время в русском языке остается все же единым (хотя и очень «емким») членом грамматической категории времени; то же можно отнести к другим глагольным временам — прошедшему и будущему.

Подытожим этот раздел сентенцией, хорошо знакомой лингвистам: языки различаются между собой не тем, что в них *м о ж н о* выразить, а тем, что в них *л е г ч е* (т.е. естественней) и обязательней выразить. А естественней и обязательней — это и значит в языке выразить грамматическим путем.

30. Типологическая классификация языков

С учетом того, что на Земле существует большое количество разнообразных языков (по некоторым подсчетам, от 3 до 5,5 тыс.), принципы их классификации, разбиения на группы, должны быть достаточно общими.

Одна из наиболее известных — типологическая классификация (по-другому ее называют морфологической). Согласно этой классификации язык относится к той или иной группе (типу) в зависимости от того, как выражаются в нем грамматические значения, как строится слово и предложение.

Если попробовать систематизировать все способы, которыми могут выражаться грамматические значения, то получится примерно следующий список: аффиксация (присоединение к корню грамматических морфем — аффиксов), внутренняя флексия (значимое чередование фонем в корне слова, типа англ. *sing* — *sang* или рус. *ляг* — *лѐг*), ударение, интонация, редупликация (повтор корневой морфемы или целого слова), служебные слова (предлоги, союзы, частицы, артикли, вспомогательные глаголы и др.), порядок слов. Иногда к этому перечню добавляют словосложение (хотя данный грамматичес-

кий способ служит не для словоизменения, а для образования новых слов) и супплетивизм (это использование нового корня для передачи грамматического значения, вроде рус. *человек — люди, класть — положить* или англ. *good — better*).

В принципе в каждом языке могут использоваться любые грамматические способы из числа названных, но на практике они определенным образом группируются, сочетаются между собой. А именно: в одних языках грамматическое значение выражается преимущественно в пределах самого (знаменательного) слова: при помощи аффиксации, внутренней флексии, ударения. Лексическое и грамматическое значения выступают здесь в комплексе, совместно формируя семантику слова. Такие языки называются языками с и н т е т и ч е с к о г о с т р о я; примерами могут служить древняя латынь, а из современных языков — финский, эстонский, литовский, польский. В других языках грамматическое значение выражается за пределами знаменательного слова: при помощи служебных слов, порядка слов, интонации. Здесь грамматическое и лексическое значения представлены порознь, они воплощаются в разных материальных средствах. Такие языки называются языками а н а л и т и ч е с к о г о с т р о я; к их числу относятся современный английский, французский, датский, болгарский и др.

Многие языки соединяют в своем грамматическом строе черты аналитизма и синтетизма. В частности, современный русский язык относится к языкам смешанного строя (с некоторым перевесом в сторону синтетизма, хотя доля аналитических средств в нем неуклонно возрастает); к ним же относят немецкий язык (хотя в нем превалируют элементы аналитизма).

Степень аналитизма или синтетизма языка можно измерить по специальной формуле, предложенной американским лингвистом Дж. Гринбергом: M/W , где M — количество морфем на некотором отрезке текста, а W — количество слов на том же отрезке. Языки, в которых этот показатель находится в пределах от 1 до 2, считаются аналитическими (в частности, для английского языка индекс равен 1,68); а языки с показателем в границах от 2 до 3 — «синтетическими» (для

русского индекс, по разным данным, колеблется в пределах 2,33 — 2,45).

Вместе с тем существуют языки, в которых уровень аналитизма или синтетизма как бы стремится к пределу. Теоретически нижнее значение отношения M/W может быть равно 1: для этого в языке все слова должны быть одноморфемны. В действительности такого не встречается, но есть языки, довольно близкие к этому состоянию (для вьетнамского языка соответствующий индекс равен 1,06). Такие языки называют *к о р н е в ы м и*, или *изолирующими*. Языки же, в которых данный индекс превышает число 3, называют *п о л и с и н т е т и ч е с к и м и* (к ним относится, например, эскимосский с показателем 3,72). По-другому полисинтетические языки называются *инкорпорирующими* (от лат. *incorporo* ‘включать, вставлять’). Дело в том, что здесь в состав слова включается много морфем, в том числе корневых, обозначающих объект и обстоятельство действия, определения и т.п. К примеру, чукотское слово-предложение *ты-тор-тан’-пылвын-ты-пойгы-пэля-ркын* означает ‘Я оставляю новое хорошее металлическое копьё’ (буквально: показатель 1-го лица ед. числа + нов + хорош + металл + копј + остав’ + показатель настоящего времени). Кроме эскимосского и чукотского, к полисинтетическим языкам относятся многие языки народов Крайнего Севера, Кавказа, коренного населения Америки.

Языки можно разбить на классы также в соответствии с тем, как и м о б р а з о м в них осуществляется аффиксация. По данному признаку языки делят на фузионные и агглютинативные. *Ф у з и я* (от лат. *fusio* ‘сплав’) — тесное присоединение многозначных аффиксов к изменяемым корням. Такой тип аффиксации свойствен русскому, английскому, немецкому, другим индоевропейским языкам. Проявлением фузии здесь могут быть процессы изменения морфемной структуры слова — опрощение и переразложение. Так, немецкие слова *der Vater* ‘отец’, *die Mutter* ‘мать’, *der Bruder* ‘брат’, *die Schwester* ‘сестра’ имели когда-то в своем составе суффикс *-er*; сегодня они представляют собой уже нечленимые корневые морфемы. (См. также раздел 27, о русских словах типа *мыло*, *шило*,

рыло.) А г г л ю т и н а ц и я (от лат. *agglūtinātio* ‘приклеивание’) — механическое (непрочное) последовательное присоединение однозначных аффиксов к неизменяемым корням. Примером агглютинации может быть татарская словоформа *ташларымдагылар* ‘находящиеся на моих камнях’, в которой каждый аффикс, присоединяющийся к корню *таш* ‘камень’, имеет только одно значение: *-лар* — множественное число, *-ым* — притяжательный суффикс 1-го лица ед. числа, *-да* — показатель местного падежа, *-гы* — показатель прилагательного и еще одно *-лар* со значением опять-таки множественного числа. Агглютинация характерна для тюркских, финно-угорских языков, для японского, суахили и др. Русскому языку такая разновидность аффиксации не свойственна, но ее механизм можно продемонстрировать на примере словоформ типа *задержитесь-ка*, где каждый из последовательно присоединяемых аффиксов — *-и*, *-те*, *-сь*, *-ка* — несет собственное значение.

Конечно, типологическая классификация в определенной мере условна. Во-первых, потому, что не бывает «чисто аналитических» и «чисто синтетических» языков, так же как и фузия и агглютинация редко встречаются в изолированном виде. Во-вторых, типологическая классификация не случайно называется еще морфологической: она подразделяет языки на группы (типы) фактически только по одному (хотя и очень важному) признаку. Поэтому на современном этапе продолжают попытки ученых усовершенствовать старую или разработать новую типологию языков, основанную на иных признаках — в частности, функциональных, лексических, фонологических и др.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Ниже приводится текст шуточной сказки Л. Петрушевской «Пустьки бятые». Найдите в этом тексте примеры выражения реальных словообразовательных значений русского языка и охарактеризуйте их.

Сяпала Калуша по напушке и увазила бутявку. И волит:
 — Калушата, калушаточки! Бутявка!
 Калушата присяпали и бутявку страмкали.
 И подудонились.
 А Калуша волит:
 — Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
 Калушата бутявку вычучили.
 Бутявка вздрезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
 А Калуша волит:
 — Бутявок не трамкают. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся.
 А бутявка волит за напушкой:
 — Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

2. Попробуйте определить, что означают следующие слова (или что они могли бы означать, если вы их не знаете). Слова какой части речи выступают в качестве производящих основ для этих существительных?

Оборонка, воздушка, трехходовка, железнодорожка, пескоструйка, вагонка, продленка, самоволка, запаска, наружка, социалка.

3. В предыдущей задаче приводится ряд русских существительных с суффиксом *-к-*. Можно ли считать, что та же самая словообразовательная модель представлена в следующих трех рядах слов?

а) Перевозка, усушка, нарузка, доводка, гонка, слезка, щекотка.

б) Головка, дорожка, тетрадка, шубка, березка, корзинка, лошадка.

в) Салфетка, пипетка, гимнастерка, кепка, подушка, банка, пробка.

4. В тексте раздела 27 приводится ряд русских существительных с суффиксом *-ец*: *швец, жнец, игрец*. Какие из следующих существительных образованы по той же словообразовательной модели?

Борец, молодец, братец, чтец, отец, купец, первенец.

5. Если предположить, что суффикс *-ав*, выделяемый в русском слове *рукав*, является живым и продуктивным, то как бы называлась по-русски штанина?
6. Расшифруйте следующие сложносокращенные слова. Сгруппируйте их по словообразовательным моделям, по которым они созданы.
Завхоз, совхоз, госзаказ, Минюст, профориентация, оправдом, рабкор, линкор, начфин, сексот, кожмит, матмех, хозтовары, худрук, педсовет.
7. Из приведенных ниже русских слов выберите однокоренные.
Влечение, волокита, наволочка, облако, увлекательный, проволока, облачение, сволочь, выволочка, отвлекать, оболочка.
8. Можно ли считать однокоренными русские слова *ответ, привет, завет, навет, совет*?
9. Почему, говоря о плане выражения морфемы, следует иметь в виду не столько ее буквенную реализацию, сколько — в первую очередь — звуковой состав? Проиллюстрируйте свой ответ на примере русских словоформ *пишу, пою, смотрю*. Разные здесь флексии или одна и та же?
10. Сравните два высказывания:
На столе лежит книга.
Книга лежит на столе.
По-видимому, справедливо утверждение, что в данном случае через порядок слов сигнализируется определенность/неопределенность того предмета, о котором идет речь (в первом случае книга скорее к а к а я - т о, а во втором случае скорее к о н к р е т н а я). Почему же, однако, мы не считаем, что в русском языке существует грамматическая категория определенности, подобная той, которая выделяется английской или французской грамматикой?
11. Какое грамматическое время представлено в следующих русских примерах с глаголом *пойти*?
Часы стояли-стояли и вдруг пошли.
Ну, я пошел! Бывайте!
Пошли завтра в кино?

Какой-то странный народ пошел...
Да пошли вы все куда подальше!

12. Ниже приводится ряд форм множественного числа русских существительных. Одна из форм выпадает из этого ряда. Какая и почему?
Пирог**и**, расческ**и**, яблон**и**, рубашк**и**, бигуд**и**, мх**и**, скоросшивател**и**.
13. В разделе 29 приводится таблица форм словоизменения существительных 1-го склонения в современном русском языке. Ответьте: какие существительные в винительном падеже множественного числа имеют нулевое окончание (∅)?
14. Определите грамматические значения выделенных словоформ в следующих примерах. Что позволяет вам сделать это?
Было уже поздно, и гости разъезжались на **такси**.
Кенгуру, утконос и ехидна водятся в Австралии.
Наташа сняла куртку, а мы с Таней остались в **пальто**.
Курорт известен своими пляжами, отелями и **казино**.
Эту песню недавно передавали по **радио**.
15. Какие грамматические значения и какими грамматическими способами выражены в следующих случаях?
Город — города, засыпать — заснуть, иду — шел, низкий — ниже, читать — читай, я — меня, достойный — самый достойный, плохой — хуже, писал — буду писать, сон — сна, бежал — бежал бы, угощу — угостишь.
16. Какими грамматическими способами выражено значение превосходной степени признака в следующих примерах: богатый — богатейший, самый богатый, богатый-пребогатый, богаче всех, бога-а-атый...?
17. В следующих двух высказываниях представлены словоформы *трись* и *трусь*. Сравните аффиксы, входящие в их состав: одинаковы ли они?
Не трись об меня носом.
Не трусь, все обойдется.
18. Какой грамматический способ используется в русском языке при образовании форм повелительного наклонения *поймай!* и *ступай!* — и от каких глаголов они образованы?

19. В «Очерках бурсы» Н.Г. Помяловского учитель потешается над нерадивым учеником, предлагая ему проспрягать слово *Богородица*. Тот и спрягает: «Я Богородица, ты Богородица, он, она, оно Богородица...» Тогда следует приказ: «Проспрягай *дубина*» — и в ответ: «Я дубина...» Класс, естественно, хохочет. А, собственно, в чем тут неправильность — не с этической, конечно, а с лингвистической точки зрения?
20. Сравните фразу на искусственном языке эсперанто (см. об этом в разделе 37) и ее перевод на русский язык.

Mi vidas malgrandajn dometojn.

Я вижу маленькие домики.

Определите, какой тип аффиксации представлен в эсперанто, с учетом следующего значения аффиксов: *mal-* — отрицание (противоположность), *-as* — настоящее время глагола, *-a-* — прилагательное, *-o-* — существительное, *-j-* — множественное число, *-n* — винительный падеж?

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

31. План выражения языка: звуки речи

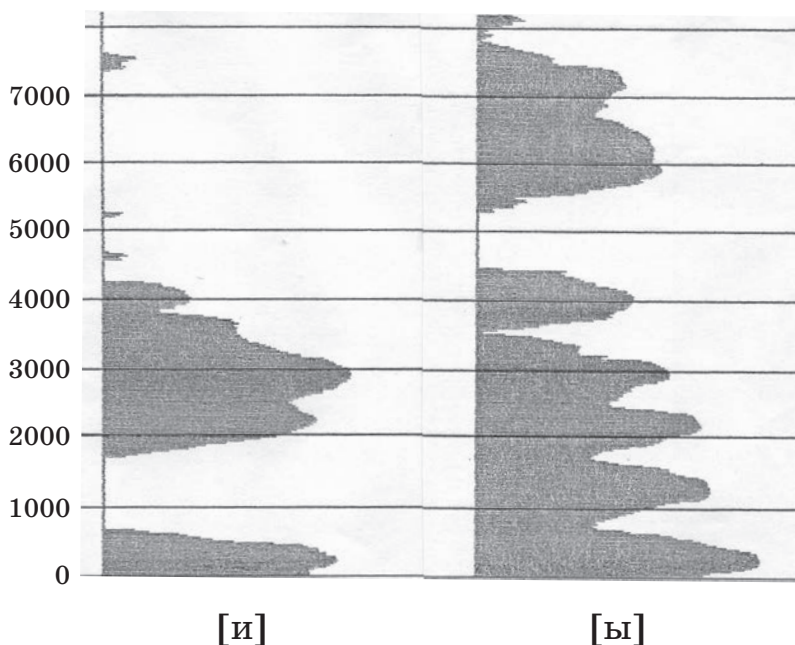
Основной и первичной материей языка является звук. Иными словами, план выражения языковых единиц — морфем, лексем, предложений — имеет звуковую природу. Звуками речи занимается особый раздел языкознания — фонетика (от греч. *phōnē* ‘звук’).

Звук — волновое колебание воздушной среды, возникающее в результате движения какого-либо физического тела. В нашем случае в роли таких тел выступают органы речи: эластичные мышцы в гортани — голосовые связки, а также язык, губы и т.д. Поэтому звуки речи можно изучать в двух аспектах: акустическом и артикуляционном.

Акустический аспект фонетики — изучение звуков речи с точки зрения их физических характеристик. Основных параметров здесь четыре: долгота, сила, высота и тембр. Долгота звука зависит от того, как долго работают органы речи. Сила зависит от размаха (амплитуды) колебаний и соответственно от напряжения органов речи. Высота зависит от частоты колебаний (и потому мужской голос обычно ниже, чем женский: у мужчин голосовые связки толще, массивнее, и колеблются они несколько медленней). Самая сложная из всех фонетических характеристик — тембр: он создает индивидуальную окраску звука. Дело в том, что какое-нибудь [а] или [м] — не простое колебание воздушной струи, а фактически сложение нескольких одновременных колебаний. На основной тон (это самая низкая по частоте составляющая зву-

ка), рождающийся от вибрации голосовых связок, накладываются так называемые обертоны, или дополнительные тоны, возникающие от движения других органов речи и резонанса воздушной волны в ротовой, носовой, глоточной полостях. Количество и соотношение друг с другом этих колебаний может быть самым разным.

Все эти составляющие фиксируются точными физическими приборами, в частности спектрографом, который переводит воздушные колебания в электромагнитные, а электромагнитные изображает в виде особого рисунка с зачерненной частью спектра — спектрограммы. Это графический «портрет» звука, показывающий, как именно сочетаются в нем колебания разной силы и частоты. Сила звука измеряется в децибеллах, а частота колебаний в герцах (1 герц = одно колебание в секунду).



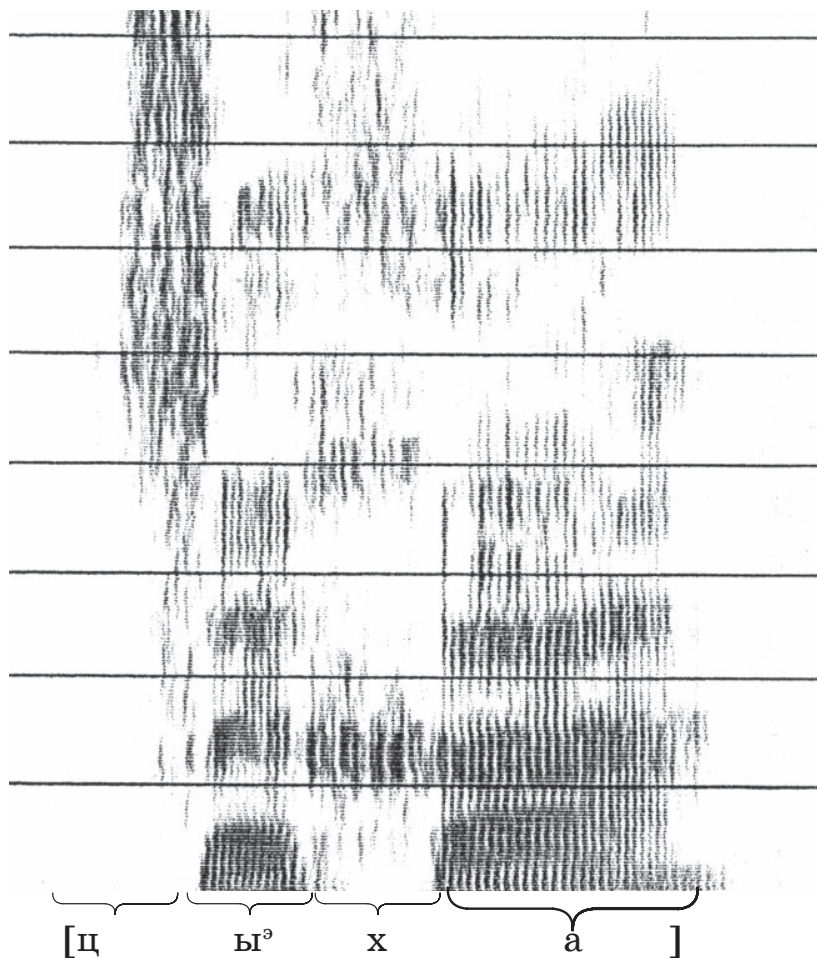
Спектрограмма русских звуков [и] и [ы]

У каждого звука речи некоторые частоты, а точнее, области частот, оказываются усиленными (на спектрограмме — наиболее зачерненные части спектра). Это так называемые форманты, сочетание которых и составляет индивидуальную окраску звука, его тембр. Для сопоставления показаны спектрограммы двух русских звуков — [и] и [ы]: по вертикальной шкале отложена частота колебания в герцах, а по горизонтали показана сила звука. Ясно, что акустические характеристики двух этих гласных различны. Вообще для «опознания» и описания звуков речи обычно достаточно двух первых формант. В частности, можно считать, что тембр звука [и] определяется сочетанием колебаний с частотой примерно 500 и 2500 герц, тембр [ы] — 500 и 1500 герц. Для [о] эти величины равны 500 и 1000 герц, для [у] — 300 и 600, для [а] — 800 и 1600 и т.д. (данные Л.В. Златоустовой). Причем в речи разных людей эти величины могут слегка варьироваться, что зависит от высоты основного тона, обусловленной особенностями строения речевого аппарата. Но соотношение их остается постоянным. Скажем, форманты [и] соотносятся примерно как 1 : 5, форманты [о] — как 1 : 2, форманты [у] — тоже как 1 : 2, но при условии, что и первая, и вторая форманта ниже, чем у [о], и т.д.

Применение физической аппаратуры позволило фонетистам выделить и обобщить признаки, пригодные для описания звукового строя любого языка. Каждый звук при таком подходе может быть охарактеризован через набор акустических параметров типа «вокальный — невокальный», «высокий — низкий», «диффузный — компактный», «прерванный — непрерывный» и т.д. Соответственно классификацию звуков одного языка можно сравнивать с фонетической системой других языков.

Но экспериментальная (или, как еще ее называют, инструментальная) фонетика занимается не только отдельными звуками речи и их классификацией, она исследует также целые фрагменты связной речи — слова и высказывания. Действительно, одно дело — произнести звук речи изолированно, в условиях эксперимента, в демонстрационных целях,

по просьбе преподавателя и т.п. Другое дело — его функционирование в потоке речи, когда он соседствует с иными звуками и это непосредственно влияет на его собственные акустические свойства. Звук «набирается» тех или иных качеств от своих соседей, вплоть до того, что бывает очень нелегко вычленить отдельный компонент из, скажем, звучащего слова. Приведем в качестве примера спектрограмму (несколько иного вида, чем предыдущие) целой словоформы *цеха*.



Спектрограмма словоформы *цеха*

На вертикальной оси по-прежнему откладывается частота колебаний, сила их выражена степенью зачерненности бумажного поля, а освободившаяся горизонтальная ось стала осью времени: на ней последовательно располагаются звуки.

На спектрограмме видно, что границу между отдельными звуками, составляющими слово, можно провести только довольно условно: гласные и согласные «перетекают» друг в друга. Вместе с тем отчетливо видна (при сопоставлении) акустическая специфика компонентов слова: [ц] — явно «высокий» звук (наиболее зачернена верхняя часть спектра), а [х] — скорее «низкий». При этом [х] — «компактный» звук (чернота сконцентрирована в одной части спектра), а [ц] — «диффузный» (чернота «размазана» по ряду частот). Гласные звуки — безусловно низкие (хотя их частотные характеристики, как мы помним, отличаются друг от друга). Кстати, на месте буквы *e* в словоформе *цеха* мы произносим довольно сложный звук — нечто среднее между [э] и [ы], примерно [цы⁹ха]. Согласный [х] в сочетании с ударным [а] звучит явно отчетливее, чем, допустим, в конце словоформы *цех* (это видно при сопоставлении с соответствующей спектрограммой)...

Экспериментальная фонетика решает также много прикладных, практических задач. В частности, она помогает совершенствовать средства телефонной и радиосвязи, звукозаписывающую и воспроизводящую аппаратуру. Электроакустические методы исследования позволяют идентифицировать говорящего по голосу, т.е. устанавливать, в случае необходимости, авторство речи. Актуальной для экспериментальной фонетики остается задача автоматического распознавания образов звучащей речи (и понимания человеческой речи компьютером), а также в некотором смысле обратная проблема — искусственное синтезирование речи на основе задаваемых машине акустических характеристик. Созданы специальные приборы — синтезаторы речи, которые на практике осуществляют эту задачу (хотя когда слушаешь, как говорит синтезатор, трудно отделаться от впечатления, что слышишь речь неземного существа)...

Второй — артикуляционный — аспект фонетики подразумевает изучение биологических характеристик зву-

ка, т.е. работы органов речевого аппарата (такая работа, направленная на произнесение конкретных звуков речи, и называется артикуляцией). Здесь ученые пытаются создать «портрет» каждого звука, опираясь на данные анатомии и физиологии человека.

Воздушная струя при выдохе под давлением выходит из легких, проходит по бронхам и трахее и попадает в гортань. Мы легко можем определить, где находится гортань, нащупав у себя на шее кадык: это и есть один из хрящей, образующих гортань.

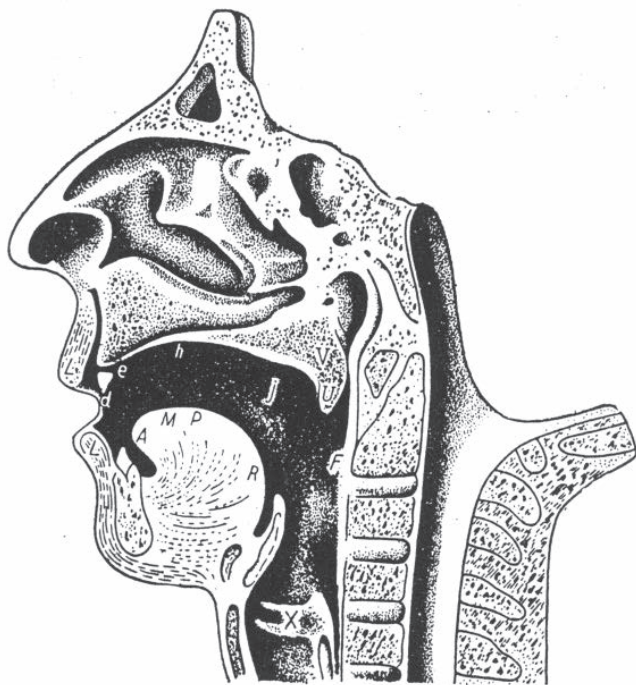


Схема речевого аппарата человека

Активные органы: *L* — губы; *A* — передняя часть языка; *M* — средняя часть языка; *P* — задняя часть языка; *R* — корень языка; *V* — мягкое нёбо; *U* — маленький язычок (увула); *F* — задняя стенка глотки; *X* — гортань.

Пассивные органы: *d* — верхние зубы; *e* — альвеолы (бугорки на границе между зубами и твердым нёбом); *h* — твердое нёбо; *j* — мягкое нёбо.

Гортань (по-другому *ларинкс*, от греч. *larynx*) — короткая трубка, в которой находятся две упругие мышечные складки — голосовые связки. Если эти связки расслаблены, между ними имеется щель; воздушная струя свободно проходит через гортань дальше, наверх, в следующие отделы речевого аппарата. Но если человек дает голосовым связкам команду сомкнуться, напрячься, то щель смыкается, и воздух, «расталкивая» связки, заставляет их вибрировать с большой частотой (порядка нескольких сотен колебаний в секунду). Так рождается г о л о с.

Таким образом, от голосовых связок зависит первое классификационное деление звуков речи: с у ч а с т и е м — б е з у ч а с т и я г о л о с а. Если голосовые связки бездействуют, расслаблены, то мы имеем дело с «безголосым» звуком. Это глухие согласные, состоящие целиком из шума и формирующиеся где-то далее на пути воздушной струи — в полости глотки (по-другому она называется *фаринкс*, от греч. *pharynx*) или в ротовой полости, например [с], [ф], [х], [п], [т], [к]...

Но если голосовые связки «работают», вибрируют, то мы еще не знаем, каким получится конкретный звук: будет ли это гласный или один из многообразных звонких согласных. Его тембр также сформируется в следующих разделах речевого аппарата, прежде всего в ротовой полости. Здесь находится чрезвычайно подвижный орган — язык, который своими движениями по вертикали (вверх-вниз) и по горизонтали (вперед-назад) может создавать преграду на пути воздушной струи, изменять объем и форму ротовой (резонаторной) полости. Аналогичную активную роль играют в речевом аппарате губы, а также маленький язычок — *увула* (от лат. *uvula*), нависающий над полостью глотки и перекрывающий, когда это нужно, вход в носовую полость. А нужно это бывает очень часто, практически при произнесении большинства звуков. Дело в том, что если проход в носовую полость не перекрыть, то звук получит на выходе носовую окраску — носовой резонанс — как в случаях [н] или [м]. (Встречается анатомический дефект: у человека увула не прикрывает проход в нос, не прилегает плотно, тогда вся его речь окрашена носовым ре-

зонансом, он «гнусавит».) Большинство же звуков речи — ротовые, и для того чтобы воздух не прошел через нос, увула должна быть постоянно в приподнятом состоянии. Все перечисленные органы — язык, губы, увула, а также задняя стенка глотки — способны создавать на пути воздушной струи препятствие: смычку или сужение (щель).

Итак, второе основание для артикуляционной классификации звуков речи — способ образования. По данному признаку звуки бывают: а) свободного прохода воздуха через рот (это гласные: [а], [о], [у], [и]...) и б) несвободного прохода (это согласные [п], [х], [с], [н]...) В зависимости от того, какая именно преграда возникает на пути воздушной струи — смычка или сужение — и как она преодолевается, возможно дальнейшее подразделение согласных на подклассы, а именно: смычные, щелевые и смычно-щелевые (по-другому: аффрикаты).

Третий артикуляционный признак — место образования. При этом имеется в виду, где именно «фокусируется» произношение звука, какой конкретный орган берет на себя основную артикуляционную нагрузку. Например, звук [п] — губной, [з] — переднеязычный, [г] — заднеязычный и т.д. Образование гласных звуков тоже связано с поднятием той или иной части спинки языка — передней, средней или задней; так что и здесь этот признак «работает».

Наконец, четвертый признак — дополнительная артикуляция, т.е. движение еще какого-то (кроме основного) органа речи. Для гласных это может быть участие губ (огубленные гласные: [о], [у]) или «включение» носовой полости (в некоторых языках мира имеются носовые гласные, были они когда-то и в русском языке). Для согласных дополнительная артикуляция — это, например, приподнимание средней части спинки языка, «смягчающее» звук (сравним артикуляцию [н] и [н'], [т] и [т'], [с] и [с'] — везде во втором случае язык дополнительно выгибается вверх своей передне-средней частью).

Таковы в самом общем виде основы артикуляционной классификации звуков. На практике артикуляционная фо-

нетика учит правильному произношению, помогает исправить дефекты речи (для этого существует специальная дисциплина — логопедия*), дает рекомендации, как избавиться от акцента при изучении иностранного языка.

Дело в том, что фонетические системы языков сильно различаются между собой. Даже в языках очень близких, наиболее родственных друг другу, легко обнаружить особые, специфические звуки. Так, для белорусского языка характерно твердое [ч], для украинского — мягкое [ц’], в польском существуют носовые гласные, в чешском различаются гласные длинные и краткие... Если же выйти за пределы ближайшего «семейного круга», то мы столкнемся с массой экзотических звуков — таких, например, как губная аффриката [pf] в немецком или надгортанные щелевые в арабском... Понятно, что изучение неродного языка требует определенных усилий по овладению его фонетическим строем.

Итак, акустический и артикуляционный аспекты фонетики соотносятся друг с другом: каждый акустический признак звука имеет под собой физиологическое основание, свою работу той или иной группы мышц. И наоборот, стоит хоть чуть-чуть изменить артикуляцию — приподнять язык, слегка округлить губы, задержать смычку и т.п. — это немедленно отразится на акустических свойствах звука.

Наряду с акустическим и артикуляционным аспектами, изучение фонетики имеет еще социальный аспект. Это направление исследований оказалось настолько важным, что выросло в отдельную филологическую дисциплину — фонологию.

32. Фонема — основное понятие фонологии

Нередко можно услышать сетования на нашу орфографию: вот первоклассник написал «карова», а надо *корова*; ста-

* Логопедия (от греч. *lógos* «слово» и *paideía* «обучение») — научно-практическая дисциплина, изучающая нарушения речи (при нормальном слухе) и разрабатывающая пути их преодоления.

рушка написала «фторник», а надо *вторник*. К чему эти сложности? Как было бы легко и просто, если б на письме мы просто передавали звучащую речь! Т.е. поступали бы по принципу «как слышится — так и пишется». Ведь есть же, кажется, языки, в которых орфография «устроена» по фонетическому принципу? Да и вообще, — почему это мы должны писать *о* там, где слышится [а], — например, в слове *вода*! В школе отвечают: потому что можно проверить словом *водный* (или формой *воды* и т.п.). Но у нас снова вопрос: а зачем проверять то, что и так хорошо слышно? Все эти вопросы, так сказать, с лукавинкой — они рассчитаны на доказательство «от противного». Потому что орфография наша не так уж плоха, а вот чисто фонетическое письмо на самом деле как раз нереально. Почему же оказывается невозможным отразить на письме особенности живой звучащей речи?

Прежде всего потому, что количество реальных звуков в речи очень велико. Каждый, кто имел дело с фонетической транскрипцией (т.е. точной записью звучащей речи в научных или методических целях), знает: транскрипционных знаков всегда больше, чем обычных букв. Кроме того, не так-то просто определить и различить всевозможные звуковые оттенки. Это ведь мы только так, условно, говорим: в первом слове слова *вода* звучит гласный [а]. На самом деле там не [а]. Там какой-то звук, похожий на [а], но не [а]. В транскрипции такой звук обозначают значком [ˆ] («крышечка»). Если же взять словоформу *по воду* (в словосочетании *пойти по воду*, с ударением на предлоге), то тут в корне слова *вода* слышится опять «что-то другое»: и не [а], но и не тот звук, что мы слышали в слове *вода*. Наконец, стоит вслушаться в произношение [о] в словоформе *вóды*, — и мы явственно различим у него *у*-образное начало. Оно особенно заметно при медленном, протяжном выговаривании, получается как бы *в-у-о-д-ы*... Так что же, для каждого из этих гласных — в словоформах *вода*, *по воду*, *воды* — вводить свою букву? Вот потому-то фонетическое письмо в чистом виде невозможно. Мало того, что потребовалась бы масса новых букв, отражающих многообразные звуковые оттенки, так слово «рассыпа-



И.А. Бодуэн де Куртенэ

лось» бы в своем внешнем виде на множество обликов, нам было бы трудно его узнавать: *влда*, *вгде* (или *вгде*), *вгоды*, *повзду*, *вот...* Нынешняя же русская орфография способствует сохранению единства морфемы в нашем сознании. Она основана на фонематическом принципе: мы на письме стремимся отразить фонемы.

Впервые понятие фонемы ввел в науку польский и русский лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ, и произошло это в самом конце XIX в.

Ученый определял фонему как устойчивое представление о звуке, обобщенный образ звука в нашем сознании. Скажем, план выражения морфемы *ног*- сводится к трем фонемам: <н>, <о>, <г>*.

И человек именно их имеет в виду, когда произносит или слышит формы слова *нога*: *нога*, *ноги*, *ног* и т.д., хотя в реальной речи там могут выступать совсем другие звуки: не [о], а «что-то вроде» [а], не [г], а [г'] или [к]... Фонема — языковая единица, реализующаяся в речи в своих звуковых вариантах, оттенках; тем самым она занимает свое место в едином ряду с иными обобщенными языковыми единицами: фонема — морфема — лексема — структурная схема (предложение). И вся система языка получает таким образом довольно стройный вид.

Но как практически найти основные узлы, опорные точки в безбрежном океане звуковой речи, как сгруппировать, объединить звуковые оттенки вокруг фонем? Ответы на эти вопросы были даны в трудах других ученых — прежде всего Л.В. Щербы и особенно Н.С. Трубецкого. Вышедшая в 1939 г.

* Для того чтобы отличать фонемы от звуков, мы будем брать их в ломаные скобки: <>.

книга Н.С. Трубецкого «Основы фонологии» (на немецком языке) заложила фундамент новой филологической дисциплины. В основу этого капитального труда лег анализ фонетических систем более 100 языков.

Важнейшими инструментами для выделения и описания фонем стали понятия фонологической оппозиции и дифференциального признака. Фонологическая оппозиция — это противопоставление двух слов, которые разнятся минимумом своей формы, практически — только одним звуковым элементом. Тогда становится очевидным, что именно данный элемент различает для нас слова. (Точнее сказать, он различает план выражения слов, но благодаря ему мы можем передавать и получать необходимый смысл.) Сравним простые слова *том* и *дом*. Они различаются тем, что в первом случае присутствует [т], во втором — [д]. Сравним: *кон* и *конь* — в первом случае [н], во втором — [н']; *клёв* и *клюв* — соответственно [о] и [у]... Все это — <т> и <д>, <н> и <н'>, <о> и <у> — разные фонемы. Отсюда второе возможное определение фонемы: это звук со смысловозначительной ролью. Именно эта смысловозначительная функция (открытая Л.В. Щербой) определяет «смысл существования» фонемы и ее место в целостном механизме языка. Фонема не несет значения, но она помогает различать его в разных словах и, следовательно, передавать смысл. Тем самым она тоже участвует в процессе коммуникации!

Те признаки (артикуляционные или акустические), которые отличают одну фонему от другой, называются дифференциальными, или различительными. Вернемся к только что приведенным примерам. Фонемы <т> и <д> различаются признаком глухости/звонкости, <н> и <н'> — признаком



Н.С. Трубецкой

твердости/мягкости, <о> и <у> — степенью подъема языка (<о> — среднего подъема, <у> — верхнего)... Если же обобщить, систематизировать множество случаев фонологической оппозиции, в которых участвует данная фонема, мы получим ее обобщенный «портрет», состоящий из ряда дифференциальных признаков. (Не забудем только при этом, что в фонологических оппозициях мы имеем дело с противопоставлением звуковых оболочек слов, а на их буквенный облик стараемся внимания не обращать — он может довольно далеко отходить от звукового.)

Вот, например, фонема <д> в современном русском языке. По признаку участия голоса (т.е. звонкости) она противопоставлена фонеме <т> (например: *дом — том, дам — там, дочка — точка, рода — рота, душить — тушить* и т.п.). Но по тому же самому признаку фонема <д> противопоставлена еще и фонеме <с> (*дам — сам, душить — сушить* и т.п.), фонеме <п> (*дочка — почка, душистый — пушистый* и т.п.), фонеме <ш> (*дар — шар, порода — пороша* и т.п.), т.е., в сущности, всем фонемам, которые образуются без участия голоса.

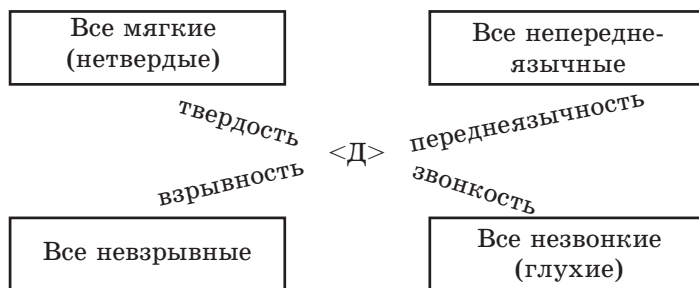
Далее, фонема <д> по признаку твердости/мягкости противопоставлена фонеме <д'>. Это следует из примеров фонологической оппозиции типа *дуну — дюну, вида — видя, подонка — подёнка* и т.п. Собственно, по тому же признаку <д> противопоставлена всем мягким фонемам, в частности <л'> (*дамка — лямка, дубить — любить*), <б'> (*труда — трубя, дуст — бюст...*), <м'> (*дата — мята, дол — мёл...*) и т.д.

По способу образования (это третий по счету артикуляционный признак фонемы) <д> противопоставлена, в частности, <з> : первая из них — смычная взрывная, вторая — щелевая (ср. примеры типа *рода — роза, дал — зал, дубок — зубок* и т.п.). По тому же дифференциальному признаку фонема <д> противопоставлена всем невзрывным фонемам, в том числе <ж> (*дуть — жуть, придать — прижать*), <н> (*доска — носка, рады — раны*) и т.д.

Наконец, по месту образования (четвертый признак) фонема <д> может быть охарактеризована как переднеязычная зубная (кончик языка упирается в верхние зубы). По призна-

ку переднеязычности фонема <д> находится в оппозиции заднеязычной <г> (*дам — гам, родовой — роговой*), губной <б> (*дочка — бочка, ода — оба*) и т.д., т.е. всем непереднеязычным фонемам.

Таким образом, мы описали фонему <д> в современном русском языке *через сумму ее противопоставлений другим фонемам* и одновременно выделили *признаки, составляющие ее суть*: это звонкость, твердость, переднеязычность и взрывность. Можно с уверенностью утверждать, что данный набор дифференциальных признаков дает нам только фонему <д>: никакая другая фонема такой совокупностью свойств не обладает. Но тогда получается, что описать фонему по ее дифференциальным признакам в отношениях с другими фонемами — значит и определить саму данную единицу. Перед нами основание для третьего возможного определения фонемы — это *совокупность* (или, как выражался Н.С. Трубецкой, *пучок*) *дифференциальных признаков*.



Приведенную схему следует читать так: фонема <д> по признаку твердости противопоставлена всем мягким фонемам, по признаку переднеязычности — всем непереднеязычным, по признаку взрывности — всем невзрывным, по признаку звонкости — всем незвонким. И каждая фонема может быть описана (т.е. определена) подобным образом как пучок дифференциальных признаков. Скажем, фонема <в'> — это сочетание признаков звонкости, мягкости, губности и щелевости...

Какие же преимущества дает нам такое определение фонемы — через ее место в системе, через отношения с другими подобными единицами? Вспомним, что говорилось ранее (в разделах 21, 28 и др.) о языковых единицах — морфеме, лексеме, предложении (структурной схеме): это в некотором смысле абстракции, умозрительные, обобщенные единицы, а в речи они реализуются в своих конкретных представителях (вариантах). Невозможно, к примеру, произнести слово в целом, слово как таковое — мы всегда будем иметь дело только с какой-то конкретной его формой. А слово (лексема) существует лишь через совокупность своих форм — как обобщенная, языковая единица... Так и фонема: это обобщенная единица, присутствующая в нашем сознании («психическое представление о звуке») и выражающаяся в речи в разных своих вариантах. Строго говоря, фонему тоже нельзя произнести или услышать: каждый раз она будет выступать в той или иной своей разновидности, в том или ином звуковом оттенке. Скажем, фонема <о> будет звучать то как [о] под ударением: *стол*, то как нечто похожее на [а] в предударном слоге: *столы* [стала], то после мягкого согласного она приобретает особый оттенок [ö]: *мёд* [м'ёт], а то вообще после мягкого в безударном слоге превращается в звук, средний между [и] и [э]: *медовый* [м'и'довый]...

Остается только добавить, что в каждом языке — своя система фонем и свой набор дифференциальных признаков. Привычные для нас дифференциальные признаки, вроде твердости/мягкости согласных, для некоторых языков — например, английского или французского — оказываются недейственными, «неработающими». Или, к примеру, артикуляционные и звуковые различия, характеризующие в русском языке согласные <р> и <л>, несущественны для японцев и корейцев: в их языках это оттенки одной фонемы. (Поэтому японцу или корейцу, изучающему русский язык, трудно научиться различать наши [р] и [л].)

С другой стороны, такой признак, как долгота гласного, в некоторых языках — английском, чешском, венгерском и др. — является дифференциальным и весьма важным: там разли-

чаются долгие и краткие гласные фонемы (соответственно и слова могут различаться только тем, что в одном из них — краткий гласный звук, а в другом — долгий). В русском же языке это различие несущественно, несамостоятельно: долгота тут только сопровождает ударный гласный, и сколько не тяни *ма-а-ама* или *ко-о-ом-ната*, нового слова не получишь. Как ни удивительно, но существуют языки, в которых роль фонем играют целые слоги — т.е. именно слог служит там минимальной единицей, различающей смысл. Это языки Китая и Юго-Восточной Азии.

33. Фонема и звук

Если бы фонема реализовывалась в речи всегда в одних и тех же условиях, то не было бы особых оснований разграничивать фонетику и фонологию: фонема всегда звучала бы одинаково. Но как раз в потоке речи фонема все время оказывается в разных и неравноценных условиях: то она попадает под ударение, то находится в безударном слоге (вспомним уже приводившиеся примеры типа *водный* — *вода*); то она располагается в абсолютном начале слова, то в середине или в конце; то рядом с ней оказывается твердый согласный, то мягкий, то носовой, то губной, а то еще какой-нибудь иной... Все эти многообразные условия и вызывают к жизни звуковые оттенки фонемы — ее в а р и а н т ы (или аллофоны).

Возьмем, вслед за М.В. Пановым, простой пример: звучание русского предлога *с*. *С* — служебное слово, которое состоит из одной морфемы, а эта морфема в качестве своего плана выражения имеет фонему <с>. Мы знаем это из тех примеров, в которых данная фонема оказывается в наиболее благоприятных для себя условиях — там, где она испытывает наименьшее влияние соседей и прочих произносительных факторов и потому лучше всего «работает», выполняя смысловоразличительную функцию. Например, для согласных в русском языке максимально выгодно положение в самом начале слова перед гласной. Мы отчетливо произносим и слы-

шим предлог *с* в сочетаниях вроде *с автором, с именем*. Или: *с Аней, с Эдиком*. Такое наиболее благоприятное, наименее обусловленное положение фонемы, при котором реализуются все ее дифференциальные признаки, называется сильной позицией, а звучащий в ней вариант фонемы считается основным (доминантой). Основной, представительный вариант фонемы <с> — это звук [с]. Не правда ли, просто?

Однако просто бывает далеко не всегда. Возьмем тот же самый предлог *с*: одно из основных его значений (в сочетании с формой творительного падежа имени) — значение совместности действия. Попробуем пофантазировать: я выбираю, с кем мне сидеть за одной партой. Сначала я посидел *с Аней*. Предлог в данном высказывании звучит как [с]. Допустим, мне там не понравилось, и я пересел на другое место — рядом *с Галей*. Предлог изменил свое звучание: теперь он произносится явно как [з]. Фонема оказалась в слабой позиции, и изменившиеся речевые условия предъявляют свои требования: по-русски просто невозможно сказать [с] Галей! Продолжим наш мысленный эксперимент с выбором соседа. В сочетании *с Тёмой* (или *с Тимуром* и т.п.) предлог звучит «мягче», чем в предыдущих случаях, фактически фонема <с> выступает тут в виде [с’]. Аналогичное смягчение происходит в примере *с Димой*: здесь отчетливо слышится [з’]. Предлог как бы «набирается» от своих соседей то звонкости, то мягкости, а то и того и другого вместе... В сочетании *с Шурой* звучит в начале одно долгое [ш], но, будем считать, половина его принадлежит начальному согласному имени *Шура*, а вторая половина остается на долю предлога. Стало быть, еще одна возможная реализация фонемы <с> — звук [ш]. Точно так же в сочетании *с Женей* предлог выступает в звуковой оболочке [ж]. Перейдем к следующему примеру: я уселся рядом *с Улей* (*с Ульяной*). Если вслушаться (а еще лучше «всмотреться») в артикуляцию начального согласного, то окажется, что он произносится... с участием губ. Да-да, еще звучит [с], а губы уже округляются, вытягиваются в трубочку, готовясь к произнесению следующего звука — [у]. Поэтому фонема <с> предстает здесь в особом «огубленном» оттен-

ке — его обозначают в транскрипции как [с°]. И это, замечу, еще не все метаморфозы, которые претерпевает данная фонема (а на ее месте могла бы быть любая другая), попадающая в потоке речи в различные условия. Достаточно вслушаться в звучание таких словоформ, как *с Чуком* или *с Щукарем* (имена литературных персонажей), и перед нами возникнут новые вопросы и, возможно, последуют новые открытия...

Итак, фонема располагает некоторым количеством звуковых вариантов для своего воплощения в речи. Это как бы маски, в которых она выступает, принаравливаясь к окружающим условиям. Для <с> — это [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [с°]... Для <о> — это [о], [ö], [ʌ], [и³]... (и это, разумеется, не считая каких-то диалектных и индивидуальных особенностей произношения: кто-то «окает», а кто-то «якает», говорит «вясна», а кто-то [л] произносит с участием губ и т.д.). За всем этим речевым многообразием стоят одни и те же — немногочисленные и стабильные — единицы. Можно было бы сказать, подытоживая, что не так важно — что мы произносим, какие реальные звуки, важнее — что мы намереваемся произнести, что мы «имеем в виду». А это и есть фонемы.

Разумеется, в каждом языке — не только свои фонемы, но и свои правила их реализации, сильные и слабые позиции. Сравнивая звучание фонемы <с> в различных условиях, мы не обращали пока что внимания на то, что везде звуковые превращения определялись п о с л е д у ю щ и м звуком: влияние, так сказать, было направлено «назад». А если б было наоборот? Если бы фонема <с> сама влияла на последующий звук, уподобляя или приспособлявая его к себе? (Мы бы говорили тогда не «шшурой», а «ссурой»...) И в некоторых языках такой фонетический процесс — реальность. Впрочем, и в русском языке влияние предыдущего звука на последующий — не исключение. Предположим, я пересел за одну парту *с Игорем*. Вслушаемся: мы говорим «сыгорем». Но ведь только что в данном слове звучало [и]: *Игорь!* Попробуем с другим согласным: *к Игорю* — все равно звучит [ы]! Попробуем в других словах. Сравним: *игра, иголка, испуг* — но: *с игры, в игол-*

ку, от испуга. Везде появляется [ы]! Значит, любой твердый согласный в русском языке заставляет последующий [и] звучать как [ы]. (Вспомним правило о правописании приставок — там эта закономерность закреплена орфографически. Мы пишем: *игра, идея, искать*, но — *подыграть, безыдейный, отыскать* и т.п.) Итак, в потоке речи фонемы могут влиять друг на друга не только «назад», но и «вперед»; это значит — предшествующая фонема может оказывать влияние на звучание последующей.

Примеры превращения [и] в [ы], вроде *Игорь — с Игорем*, позволяют затронуть еще одну, более общую и важную проблему. Как уже говорилось, чтобы доказать существование фонемы, надо продемонстрировать ее смысловозначительную функцию. Нужна хотя бы одна пара слов, различающихся тем, что в одном из них употреблен один звук, а в другом (в том же самом положении) — другой. Тогда перед нами разные фонемы. Так мы доказывали фонемный статус <д> и <т>, <а> и <о> и т.д. А можем ли мы в современном русском языке найти пары слов, различающихся только тем, что в одном из них [и], а в другом — [ы]? Сразу приходят в голову примеры типа *бил — был, мил — мыл, пил — пыл...* Но это все примеры неудачные: на нас действует гипноз буквы. Ведь это не а п и с ь м е данные слова различаются только тем, что в одном из них — *и*, а в другом — *ы*. Что же касается устной речи, то во всех случаях противопоставление [и] и [ы] несамостоятельно: оно сопровождается различием в мягкости/твердости предшествующего согласного: [м'ил] — [мыл] и т.п. И сколько бы мы ни искали «лучших» примеров, нам их в русском языке просто не найти: [ы] бывает только после твердых. А вот [и] встречается не только после мягких, но и в абсолютном начале слова, где на него ничто вроде бы не влияет: *игла, идея, Игорь...* Отсюда вытекает предположение (кажущееся сначала очень смелым), что отдельной, самостоятельной фонемы <ы> просто не существует, звук [ы] — это всегда результат влияния на <и> предшествующего твердого согласного. Иными словами, <и/ы> — одна, единая фонема, конкретный вариант звучания которой зависит от соседства с согласными.

Поэтому неудивительно, что во многих грамматиках русского языка <ы> нет в списке гласных. Система гласных фонем выглядит в таком случае следующим образом: <a>, <o>, <y>, <э>, <и>. А как же быть с фонематическим принципом русского письма — ведь буква *ы* есть? Это как раз уступка другому — фонетическому — принципу, связанная с передачей на письме мягкости/твердости согласных фонем. Уступка очевидна в случаях написания типа *безыдейный* или *отыграть*; зато есть орфографические правила, в которых фонематический принцип берет свое. В частности, это «*жи, ши пиши через и*». И пишем: *жир, шина, лыжи*... Тут уже фонема <и> представлена на письме своим основным вариантом — независимо от реального звучания (а звучит здесь, конечно, отчетливое [ы]).

Чтобы «опознать», определить фонему в составе слова, мы должны найти ее основной вариант. А если слово не позволяет нам это сделать? Вот, скажем, то же *корова*. Как ни старайся, первый гласный проверить здесь невозможно. В первом слоге звучит гласный [ʌ], а он в данной позиции с одинаковым правом может быть представителем как фонемы <o>, так и фонемы <a> — это мы знаем из других случаев. Какому варианту отдать предпочтение? Можно, конечно, пойти вслед за написанием и выбрать <o>, рассуждая примерно так: ведь на чем-то это написание основано, и, возможно, когда-то этот вариант можно было проверить? Но такой ответ будет не вполне справедливым по отношению к <a>. Честнее всего не отдавать в данном случае предпочтения ни <o>, ни <a>, а сказать так: здесь то ли <o>, то ли <a>. Или так: <o/a>. Собственно, мы уже знаем, что фонема — это обобщение, абстракция. Так почему нам не допустить, наряду с абстракциями <o>, <a>, <t>, <д>, <с>, <з> и т.д., наличия в языковом сознании обобщений более высокого уровня: <o/a>, <t/д>, <с/з>?.. Подобное объяснение подходило бы и для тех случаев, когда звук с равным правом может быть соотнесен с двумя разными фонемами. К примеру, какая гласная фонема в первом слоге русского слова *заря*? Ответ может быть: <o> (проверка: *зори*) или <a> (*зарев*о). А лучше всего: <o/a>.

Такие единицы, объединяющие в себе как бы две фонемы (или большее их число), называются гиперфонемами.

Итак, проблема варьирования фонемы, ее реализации в звуковых оттенках тесно связана с проблемой выделения, определения фонемы. Все это — актуальные проблемы современной фонологии.

34. Письмо

Обратимся теперь к вопросу о второй форме, в которой существует язык, — к вопросу о письме — на более широком историческом и теоретическом фоне.

Письмо — передача звуковой речи при помощи графических (начертательных) знаков. Конечно, не следует забывать, что в сравнении со звуковой, или устной, письменная форма вторична: производна и необязательна. Звуковой форме языка столько же лет, сколько и самому человеку*, письму же — в том смысле, как мы его определили, — всего лишь несколько тысяч лет. Получается, что письмо сопровождает человеческий язык лишь на последнем, очень кратком отрезке его развития. Вторичность письменной формы проявляется и в том, что есть немало людей, для которых язык представлен только своей устной формой: они попросту неграмотны. И тем не менее на современном этапе письменная форма языка выступает как достойный спутник формы звуковой. Можно даже утверждать, что кое в чем она теснит своего «соперника». Из чего это следует?

Характерная для современного общества массовая, почти поголовная грамотность, доступность обучения чтению и письму, важность книгоиздания как отдельной отрасли культуры, бурное развитие печатных средств массовой информации (газет, журналов), входящие в наш быт компьютеры,

* Напомню: весь период становления человека составляет приблизительно 5—7 млн лет. Человек же как сформировавшийся вид homo sapiens существует примерно 40—50 тыс. лет.

факсы, электронная почта — все это свидетельства быстрого прогресса письменной формы языка. Действительно, письменная информация воспринимается и перерабатывается человеком быстрее, чем слуховая, письмо более «членораздельно», чем устная речь (буквы четко отделяются друг от друга, особенно в печатном виде) и более «интернационально» (разные народы могут пользоваться одной и той же буквенной системой). Появляются специальные науки, изучающие письмо как объект: графология (почерковедение) и палеография (наука о древних текстах); на смену древней каллиграфии приходит искусство шрифта; каждый язык вырабатывает свои правила орфографии и пунктуации...

Все это говорит о возрастании роли письма и некотором «отступлении в тень» на этом фоне первичной — звуковой — материи языка. (Чего стоят одни только выражения типа «Он не выговаривает букву *p*» — хотя выговаривать можно только звуки! Но смешение букв и звуков — явление повсеместное.)

Самый совершенный принцип письма — фонематический*. Это значит: начертательный знак (буква) соответствует фонеме в ее основном звуковом варианте (т.е. тому, как бы она звучала в сильной позиции). На деле же она может звучать совершенно различно. К примеру, в русском слове *водовоз* по крайней мере три фонемы — 2-я, 4-я и 7-я по счету — находятся в слабых позициях. Мы произносим [в'дв'в'б'с]. Однако на письме мы несколько идеализируем, «подправляем» это звучание и пишем так, как если бы каждая из фонем находилась в наилучших произносительных условиях (зачем мы это делаем — см. раздел 33). Это и есть фонематический принцип письма. Конечно, для того чтобы он осуществлялся последовательно, буква должна соответствовать фонеме, и только одной фонеме, и всегда одной и той же фонеме. Но на практике данное правило редко соблюдается до конца.

* Принцип называют еще морфологическим, потому что его применение позволяет сохранять на письме тождество морфемы (передавать ее всегда одинаково).

В частности, как уже отмечалось, в русской орфографии фонематический принцип дополняется фонетическим. Это значит, что иногда мы отступаем на письме от идеализированного «представления о звуке» и предпочитаем ему реальную данность — произносимый звук. Это касается буквы *ы* (представляющей, как уже говорилось, звуковой оттенок фонемы <и> после твердых согласных), правописания приставок *из-/ис-*, *раз-/рас-*, *через-/черес-*, *без-/бес-*, *воз-/вос-*.

Однако все ли написания можно объяснить при помощи этих двух принципов — фонематического и фонетического? Очевидно, нет. Почему мы пишем, к примеру, букву *о* в первом слове слов *корова* и *собака*? Звучит там «скорее [а], чем [о]», так что если бы мы действовали по фонетическому принципу, то писали бы «карова» и «сабака». Что же до фонемного состава этих слов (если бы мы хотели записать их по фонематическому принципу), то мы ведь все равно не знаем, какая гласная фонема находится в их первом слоге: невозможно здесь отдать предпочтение ни <о>, ни <а> (в сознании носителя языка, как уже говорилось, происходит их нейтрализация, с образованием гиперфонемы <о/а>).

Остается предположить, что буква *о* пишется здесь «по традиции», сохраняя верность истории. Что это значит? Либо когда-то *о* здесь можно было проверить (подобрать к нему сильную позицию), или в том языке, откуда данное слово пришло в русский язык, на этом месте находится фонема <о> (и это можно доказать), или, наконец, в том языке в данном слове просто пишется буква *о*, и это достаточное основание, чтобы и в русском слове воспроизводить букву *о*. Такой принцип орфографии называется традиционным, или историческим; согласно ему следует писать так, как писалось раньше, ничего не менять.

Существует еще четвертый принцип орфографии, чаще всего его называют сивольческим. Это использование буквы для передачи какого-то специального значения, лексического или грамматического. Например, есть имя нарицательное *любовь* и имя собственное *Любовь*: чтобы различать их, мы используем во втором случае прописную букву (соб-

ственно, по этому же принципу мы вообще все имена собственные пишем с большой буквы). Или на конце слова *ночь* мы пишем мягкий знак, а на конце *мач* — не пишем. Почему? Мягкий знак здесь — показатель женского рода (и третьего склонения) существительного.

Итак, основными принципами орфографии являются фонематический, фонетический, традиционный, символический. Но современные языки редко выдерживают полностью какой-либо один из них. Чаще всего фонематический принцип комбинируется в разных пропорциях с фонетическим или традиционным, а иногда с тем и другим сразу. В частности, в современной белорусской орфографии велик (по сравнению с русской) «удельный вес» фонетического принципа. По-белорусски так и пишут: *карова, сабака* — хотя основная масса букв все же находится в согласии с фонематическим принципом... Каждый, кто изучал английский или французский языки, знает, как сильно отличается там написание от произношения: в словаре практически при каждом слове, кроме его обычной буквенной записи, приходится давать транскрипцию. (В шутке: если написано по-английски «Ливерпуль», читай «Манчестер» — много истины.) Объясняется это тем, что орфография английского и французского языков в значительной степени основывается на традиционном принципе, а значит, отражает некую давнюю произносительную норму.

Конечно, орфография сама по себе консервативна: люди мало склонны отходить от привычного написания слов. Известно, сколько недовольства и даже противодействия вызвала в русском обществе орфографическая реформа 1918 г., отменившая, в частности, твердый знак в конце слова, а также целиком буквы «ять», «фиту» и «ижицу». Многие вполне культурные и образованные люди были искренне убеждены, что русское письмо от таких изменений только потеряло: слова стали хуже «опознаваться», а текст — трудней читаться... Революционные же матросы, которым вменялось в обязанность выкинуть из типографии «лишенные гражданства» буквы, случалось, в порыве усердия не оставляли буквы *ѣ* даже для разделительной функции внутри слова, — это

тогда появились написания типа *об'ем* или *под'езжать*, в которых апостроф (надстрочная запятая) заменял отсутствующий твердый знак. Но, в конце концов, письмо не зря является вторичной знаковой системой — правила орфографии поддаются регулированию, и человек мало-помалу привыкает к новому написанию.

Однако до того, как принять современный графемно-фонемный вид, письмо должно было пройти долгий эволюционный путь. Дело в том, что язык, напомним, имеет план содержания и план выражения. И письмо, как вторичная знаковая система, могло в принципе опираться либо на членение первого, либо на членение второго из них. Иными словами, начертательный знак может соответствовать либо единице смысла (понятию или вообще содержательной стороне слова*), либо единице звучания (звуку или слогу). И оказалось, что для языка исторически более легким был первый путь. Самые древние письменные системы строились как отражение с м ы с л о в о г о членения речи. Первоначально такой начертательный знак имел вид картинки (пиктограммы). Древние люди оставили нам немало наскальных изображений — чаще всего это сцены охоты, сражений, путешествий. Конечно, эстетическая сторона в них перевешивает (перед нами прежде всего картины!), да и отдельные «кусочки смысла» в них выделить не всегда легко, и все же можно считать, что мы уже имеем дело с первыми начертательными посланиями другим людям.

В процессе развития письмо вырабатывает способность выражать более расчлененные и более отвлеченные значения. Рисунок глаза означает уже не только 'глаз', но и 'видеть', 'зоркий'. Изображение лодки — не только 'лодка, корабль', но и 'плыть'. Рисунок воды (волнистые линии) — не только 'вода', но и 'холодный' и т.д. Изменяется и внешняя сторона знака: он постепенно утрачивает изобразительность (сходство с оригиналом) и превращается в более или менее условный

* Для плана содержания слова, напомним, существует специальный термин: *семема* (см. раздел 8).

знак, называемый и е р о г л и ф о м. В частности, древнейшим египетским письменам более 4 тыс. лет: это монументальные надписи, высеченные на камне. Затем это иероглифическое письмо сменяется так называемым иератическим: скорописью красками на мягких материалах (главным образом на папирусе). Знаки становятся условными, непохожими на сам предмет (см. таблицу развития египетской письменности). И, наконец, начиная с VIII—VII вв. до н.э., иератическое письмо вытесняется еще более скорописным и упрощенным — демотическим.



Развитие знаков египетской письменности от иероглифов к демотической скорописи

Аналогичную эволюцию претерпела и китайская письменность, до сегодняшнего дня следующая иероглифическому принципу. Но что значит — иероглифическое письмо? Для того чтобы лучше объяснить это, возьмем примеры знаков, встречающихся в текстах на разных языках мира: §, №, %... Это иероглифы. Русский, француз или казах, встречая такие обозначения в тексте на своем языке, соотнесет их — целиком — со значением слов «параграф», «номер», «процент» (хотя звучать эти слова в каждом языке будут по-своему). Но в русском языке таких значков употребляется немного. А если вся письменность основана на иероглифическом принципе? Тогда, выходит, сколько в языке слов — столько потребуются и начертательных знаков! Это составляет несомненный недостаток иероглифического письма: его трудно усваивать, ему трудно обучать. Скажем, в современном китайском письме — около 50 тыс. иероглифов, из них примерно 5—6 тыс. употребляются регулярно, повседневно (столько нужно знать, чтобы читать газету). А один иероглиф содержит иногда по несколько десятков черточек! Поэтому у китайского школьника из 12 лет обучения около двух лет уходит на усвоение этой системы...

Так что отражать на письме элементы смысла — довольно неблагоприятная задача. И все же человеку долго просто не приходило в голову, что можно построить письмо на ином принципе — отражать членение плана выражения, т.е. звуковую сторону языка! Это не удивительно: расчленить звучащую речь на отрезки — задача трудная, требующая высокого уровня развития абстрактного мышления. Но тут помогло одно обстоятельство. У многих древних народов слова состояли из одного корня, а корень этот в плане выражения был равен слогу (т.е. был односложным). А раз так, возникает возможность использовать иероглиф не только для обозначения соответствующего понятия, но и для обозначения соответствующего звучания — с л о г а! В частности, уже у древних шумеров — культурного народа, жившего в IV тысячелетии до н. э. в междуречье Тигра и Евфрата, клинописные иероглифы использовались не только в своем «прямом назначении», но также и в звуковом. Скажем, иероглиф



обозначал ‘ячмень’. Но ячмень по-шумерски звучит как [ше], следовательно, значок мог использоваться на письме и для обозначения слога [ше] (а такая потребность возникала, в частности, при необходимости передачи иноязычных имен и т.п.). Иероглиф



применялся не только для обозначения понятий ‘небо’, ‘бог’, но и как эквивалент слога [ан]... Так незаметно, постепенно, через внедрение слоговых написаний в иероглифические тексты, произошел, по сути, революционный переворот — *переход от отражения на письме плана содержания языка к отражению его плана выражения.*

От шумеров письмо в III тысячелетии до н. э. переняли аккадцы (вавилоняне) и ассирийцы, при этом общее количество иероглифов уменьшилось, а доля использования слоговых знаков возросла. Получили развитие и так называемые детерминативы — специальные значки перед словом, указывавшие, к какой категории названий данное слово относится (своего рода лексико-грамматические показатели). Кроме того, аккадцы перешли к горизонтальному написанию слева направо (их предшественники по письму, шумеры, писали вертикальными столбцами).

Вполне вероятно, от ассиро-вавилонян во II тысячелетии до н. э. письмо заимствовали, заметно его видоизменив, древние финикийцы. (Есть и другие теории происхождения финикийского письма.) Финикийский язык — один из древних языков афразийской (или семито-хамитской) языковой семьи*, в которой корни слов выражаются только согласными фонемами. Это не значит, что данные морфемы там труднопроиз-

* К этой семье относятся еще арамейский, арабский, древнееврейский и другие языки Ближнего Востока.

носимы, вроде какого-нибудь *гмл*: обычно между согласными в качестве своего рода прослоек вставляются гласные, но гласные несут только грамматическую информацию, лексическое же значение слова закреплено именно за согласными. Поэтому в финикийском письме изображение слога (равного корню) свелось к изображению одной или нескольких согласных. И слоговой иероглиф превратился в значок для согласной фонемы, фактически — в букву. Так возникло *к о н с о н а н т н о е* письмо (лат. *consonans* и значит ‘согласный’).

К финикийскому письму восходит большинство современных буквенно-звуковых (или графемно-фонемных) начертательных систем. Среди унаследовавших основы финикийского письма были и древние греки (начало I тысячелетия до н. э.). Однако в древнегреческом языке в состав корневых морфем входили уже не только согласные, но и гласные фонемы. Пришлось для них придумывать специальные буквы, и письмо из консонантного превратилось в полноценное *б у к в е н н о - з в у к о в о е*, или, по-другому, графемно-фонемное.

К греческому письму, в свою очередь, восходят этрусский и латинский алфавиты (последний — с VII в до н. э.), а также готская, армянская и грузинская буквенные системы.

В IX в. н.э. на основе древнегреческого алфавита была создана славянская азбука и славянские народы получили свою письменность. Это было связано с определенными историческими предпосылками и деятельностью двух братьев — Константина, по прозвищу Философ, и Мефодия.

Во второй половине I тысячелетия н.э. в Центральной Европе происходит становление первых славянских государств. В частности, чешские, моравские и словацкие племена объединяются в Великоморавское княжество. В ту же эпоху по Европе победоносно шествует христианство, вытесняя остатки язычества. Однако уже произошел раскол между католической его ветвью (представленной Римом) и православной (с центром в Византии, или Константинополе).

Этапы развития письма, начиная от северо- семитских алфавитов (в том числе финикийского), через варианты греческих, этрусских, латинских алфавитов к современным алфавитам, основанным на латинском письме →

северо-семитские	греческие				этрусские	латинские		английские
ранее ранне-еврейское моабитское финикийское	ранее	восточное	западное	классическое	ранее	классическое	ранее монументальное классическое	готический современный
K	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Ϟ	Β	Β	Β	Β	Β	Β	Β	Β
Γ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Ϟ	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε
Ϟ	Ζ				Ζ	Ζ	Ζ	Ζ
Η	Θ				Θ	Θ	Θ	Θ
Ϟ	Ι				Ι	Ι	Ι	Ι
Ϟ	Κ				Κ	Κ	Κ	Κ
Λ	Μ				Μ	Μ	Μ	Μ
Ϟ	Ν				Ν	Ν	Ν	Ν
Ϟ	Ξ				Ξ	Ξ	Ξ	Ξ
Ο	Π				Π	Π	Π	Π
Ϟ	Ρ				Ρ	Ρ	Ρ	Ρ
Ϟ	Σ				Σ	Σ	Σ	Σ
Ϟ	Τ				Τ	Τ	Τ	Τ
Ϟ	Υ				Υ	Υ	Υ	Υ
	Φ				Φ	Φ	Φ	Φ
	Χ				Χ	Χ	Χ	Χ
	Ψ				Ψ	Ψ	Ψ	Ψ
	Ω				Ω	Ω	Ω	Ω

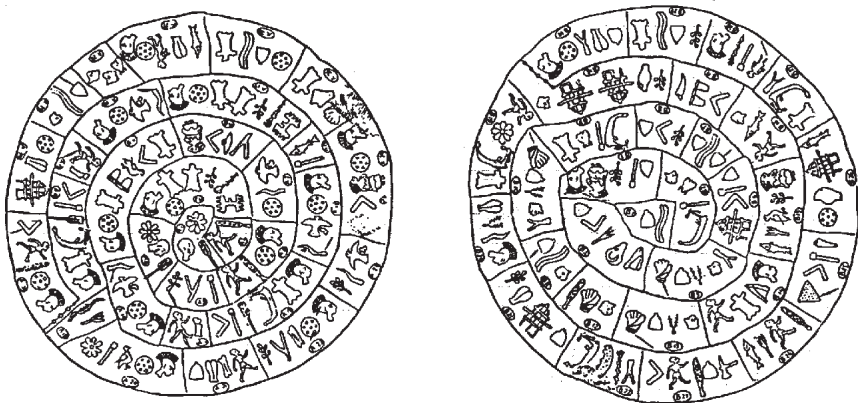


Схема развития важнейших систем письма, возникших на греческой основе (прерывистой линией соединены системы письма, влияние на которые было лишь частичным)

В 862 г. Великоморавский князь Ростислав, для того чтобы противостоять сильному влиянию немецко-католических духовников (проповедовавших по-латыни), обратился к Византии с просьбой прислать миссионеров, которые могли бы нести морavam учение Христа на понятном им языке. Выбор пал на Константина и Мефодия. Братья с детства жили в полугреческом, полуславянском городе Солуни (ныне Салоники) и хорошо знали древнеболгарский язык, в ту пору близкий к другим славянским языкам. Константин только поин-

тересовался, имеют ли тамошние славяне письмо: «учить без азбуки и книг — все равно, что писать беседу по воде». Узнав, что не имеют, Константин принялся за работу. Вместе со своим братом он создал весьма совершенный (фонематический!) алфавит (позже его называли глаголицей) и перевел на славянский язык первые богослужебные книги. Так было положено начало славянской письменности. В 869 г. Константин умер (приняв незадолго до смерти новое, монашеское, имя Кирилл), но Мефодий вместе с учениками продолжал благородное дело просветительства. Правда, придуманный братьями алфавит ученики позже заменили другим, более простым вариантом. И уже это письмо — его называют кириллическим в честь создателя славянской письменности — получило широкое распространение и развитие в тех странах, которые оказались в сфере влияния православной церкви: Болгарии, Сербии, России, Украине и Белоруссии...

Такова — в самом общем и «спрямленном» виде — история развития письма. В целом, применительно к истории человечества, можно увидеть здесь определенный прогресс, переход от менее совершенных форм к более совершенным. Конечно, семем в языке — тысячи, слогов — сотни, а фонем — десятки! Соответственно и начертательных знаков нужно все



Фестский диск

меньше. Однако не будем забывать о том, что и сегодня некоторые народы пользуются письмом на иероглифической основе — в частности тем же китайским. В других языках используются весьма совершенные модификации слогового письма (например, в японском или языках Индии: хинди, бенгали, телугу и др.), и нельзя сказать, чтобы это затрудняло развитие культуры народов! (Кстати, выше приводились примеры иероглифов, используемых в русских текстах. А ведь можно было бы здесь же, в русском языке, найти и иллюстрации слоговых написаний. Скажем, в словах *юла* или *яма* первые буквы обозначают не фонему, а слог!)

Ясно одно: эволюция письма, история становления, превращения и взаимодействия его форм — на фоне общего развития человеческих цивилизаций — чрезвычайно сложна и увлекательна. Не менее увлекательна и история прочтения, расшифровки древних письменностей. Человечеству известны имена ученых, посвятивших себя разгадке тайн древних культур. Это француз Ж.-Ф. Шампольон (1790—1832), расшифровавший египетские иероглифы; чех Б. Грозный (1879—1952), прочитавший тексты на древнейшем индоевропейском языке — хеттском; англичанин М. Вентрис (1922—1956), раскрывший тайну так называемого линейного письма Б, найденного на острове Крит; уже упоминавшийся российский лингвист Ю.В. Кнорозов (1922—1999), разгадавший письмена индейцев майя... Однако и по сей день многие древние памятники письменности остаются непочитанными и неразгаданными.

К примеру, в 1908 г. при археологических раскопках на острове Крит (возле города Фест) был найден глиняный диск, с обеих сторон покрытый письменами. Этот текст до сих пор не прочитан и ждет своих исследователей.

Кстати, и по отношению ко многим, казалось бы, уже изученным проблемам, связанным с историей письма, в науке нет единого мнения: слишком сложны сами проблемы. В частности, вопрос о происхождении древнейшей формы славянской письменности — глаголицы и ее соотношении с кириллицей по-прежнему занимает ученых.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Произнесите слово *вода*. Какой гласный звучит в первом (безударном) слоге? Попробуйте определить, чем его артикуляция отличается от артикуляции «нормального» звука [а] — например, в слове *вал*.
2. Попробуйте при произнесении согласного [т] в слове *отрубить* задержать смычку языка с зубами. Что при этом получится?
3. Представьте себе, что вы произносите слово *дядя*. Что случится со звуком [д’], если вы при его произнесении «отключите» голосовые связки? А если, не отключая голосовых связок, вы опустите увулу, и тем самым приоткроете для воздушной струи проход в носовую полость? Как изменится звучание всего слова?
4. Представьте речь иностранца, например, англичанина, плохо говорящего по-русски. Он произносит примерно следующее: [мэ́н’я́ зову́т боб]. Какие фонетические правила при этом нарушены? Какие артикуляционные рекомендации можно было бы дать иностранцу?
5. Определите, есть ли одинаковые звуки в русских словах *брюки* и *юбка*.
6. Определите, одинаковые ли звуки входят в состав следующих русских словоформ: а) *отливка* и *литовка*; б) *принято* и *приятно*; в) *трюмы* и *тюрьмы*.
7. Ниже приведены пары словоформ, различающихся минимумом звуковой формы. Какие пары фонем в русском языке можно выделять на основании данных оппозиций?
Будка — дудка, гнать — гнуть, столько — стойко, обувал — обуял, флаги — фляги, дном — днём, отряд — обряд, намок — намёк, честь — есть, мышь — кыш, позор — позёр, юркий — яркий.
8. Какими звуками различаются между собой слова, образующие следующие пары: а) *визг* — *писк*; б) *луг* — *люк*; в) *счетов* — *щитов*? Можно ли на основании данных противопоставлений выделять в русском языке какие-то пары фонем?

9. Вернитесь к тексту раздела 32 и попробуйте самостоятельно определить, в каких своих звуковых вариантах выступает фонема <с> в примерах сочетаний типа *с Чуком, с Щукарем*.
10. Одно из произведений Василия Шукшина называется «Раскас» — в соответствии с тем, как пишет это слово малограмотный человек. На каком принципе орфографии основывается такое написание? А на каком принципе основано правильное написание *рассказ*? Попытайтесь установить фонемный состав данного слова.
11. Одинакова ли роль «хвостика» у печатных букв ц и щ в русском алфавите? Покажите это на примере слов: *целиться, оценка, цапля, конец, защита, площадь, вещать, прощение, щека*.
12. Ниже приводятся некоторые слова старославянского языка, написанные древнейшим — глаголическим — алфавитом (созданным Константином и Мефодием) и в другом порядке их перевод на современный русский язык. Попытайтесь установить, какому переводу соответствует какое слово. (Решение задачи требует некоторой смекалки.)

Вѣра, слово, год, глаз, тело, голова.

Вера, слово, год, глаз, тело, голова.

Переведите на старославянский язык и запишите глаголическими буквами слово *ворота*.

13. В старославянском языке буквы использовались также для передачи чисел (т.е. в качестве цифр; в таком случае над ними ставилась черточка (титло), а по сторонам — точки). Например, кириллическое *.А.* означало ‘1’, *.В.* — ‘2’, *.Д.* — ‘3’... *.К.* — ‘20’, *.Л.* — ‘30’ и т.д. Эта особенность была заимствована из древнегреческого письма, послужившего основой для кириллицы. Однако некоторые славянские буквы — Б, Ж и др. — были лишены цифрового значения. Почему бы это?
14. В старославянских текстах числа от 11 до 19 передавались двойным способом: или сначала шло обозначение десятка, а потом — количество единиц, или наоборот. Например, число 12 выглядело так *.ІВ.* или так *.ВІ.* С чем это связано? Какой способ представляется вам более удачным?

15. Гласный звук [о] по правилам французской орфографии может передаваться буквосочетанием *eau*. Например, слово «вода» пишется по-французски *l'eau*, а произносится как [ло]. Какой принцип орфографии действует в данном случае?
16. Во многих европейских языках звук [ш] передается буквой, в основе которой лежит буква *s* или буквосочетанием с буквой *s*. Сравните чешск. *š*, тур. *ş*, англ. *sh*, нем. *sch*, польск. *sz* и т.п. О чем это говорит?
17. Почему в русских словоформах типа *ответьте*, *тратьте*, *будьте* пишется мягкий знак? Ведь и без него (*ответте*, *тратте*, *будте*) формы произносились бы точно так же?
18. Почему в русском слове *тушь* пишется мягкий знак, а в слове *туш* — нет? Какой принцип орфографии действует в данном случае?
19. Ниже приводится начало стихотворения Марины Цветаевой, написанного в 1916 г. и посвященного ее современнику, русскому поэту. Кому оно посвящено? Какие подсказки (или «антиподсказки») можно обнаружить в тексте?
- Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно-единственное движенье губ.
Имя твое — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.
20. Представьте себе: профессор-химик зашел в мясной отдел магазина и по ошибке попросил показать ему *карбонат* вместо *карбонада*. Тем не менее, продавщица прекрасно его поняла и даже не заметила ошибки. Почему?

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ

35. Изменения в языке

При описании устройства языка, правил функционирования его многообразных единиц (фонем, морфем, лексем...) и объединяющих их уровней (фонологии, морфемики, лексики...) было удобно представлять языковую систему как нечто данное и неизменное, но в реальности вся эта машина находится в постоянном движении, все в ней развивается, изменяется! Собственно, идея изменчивости языка утвердилась в науке довольно поздно: еще не так давно, в эпоху средневековья или Возрождения, люди старались вообще не замечать изменений в языке, считая их досадной «порчей», результатом небрежности или необразованности говорящих. На деле же, как уже отмечалось, свойство изменчивости языкового знака — такая же основополагающая его черта, как и свойство устойчивости, или консервативности (см. раздел 9). Знак «живет»: он постоянно насыщается новым содержанием, видоизменяет свою формальную сторону или же вообще вытесняется другим знаком; меняется также сочетаемость языковых единиц друг с другом, какие-то правила их функционирования... Возьмите в библиотеке томик Сумарокова или Тредиаковского. Достаточно раскрыть его на любой странице, чтобы убедиться: в современном русском языке по сравнению с языком XVIII в. произошли заметные изменения. То нам какое-то слово окажется незнакомым, то какую-то форму мы сегодня образовали бы совсем не так, да и порядок слов представляется часто странным...

Поэтому в языкознании существуют синхронический и диахронический подходы к объекту. Синхронический подход (от греч. корней *syn* ‘вместе’ и *chrónos* ‘время’) предполагает изучение языка на определенном временном срезе, языка как бы застывшего и неизменного в данных рамках. Диахронический подход (от греч. *diá* ‘разный’ и *chrónos* ‘время’) предполагает изучение языковых явлений в развитии, в эволюции, в постоянной смене одних фактов другими. Конечно, противопоставление этих двух подходов в каком-то смысле условно: сам язык его не знает, он себе развивается, хотя в каждый конкретный момент и представляет собой относительно законченную систему. На каждом этапе развития в языке, очевидно, сосуществуют и остатки его прошлых состояний, и зачатки будущих. Наследие прошлого легче всего наблюдать на примере слов и форм, выходящих ныне из употребления (историзмах, архаизмах и нотиолизмах), а ростки нового — на разнообразных неологизмах (те и другие категории не вполне укладываются в норму и потому, бывает, режут слух).

Вообще же важнейшим свидетельством (или показателем) развития языка на синхронном срезе является его вариантность (по-другому — вариативность). Действительно, во многих случаях говорящий стоит перед выбором, как сказать: *дверьми* или *дверями*, *мхом* или *мохом*, *обусловливать* или *обулавливать*, *самописка* или *авторучка*, *пластинка* или *диск*, *соскучился по вас* или *соскучился по вам*; *певица, чьи песни мы так любим*, или *певица, песни которой мы так любим* (см. еще разделы 9 и 16). Эти варианты слов, грамматических форм, синтаксических конструкций существуют в значительной степени потому, что язык развивается, и перед нами — единицы, конкурирующие во времени: одна форма уходит, а другая приходит на ее место. Мы же как раз и застаем эту «смену караула», только не вполне уверены в ее последствиях.

Если попробовать систематизировать причины, по которым язык изменяется, то в самом общем виде их можно разделить на две большие группы: внеязыковые и внутриязы-

ковые. В н е я з ы к о в ы е — это причины, не зависящие непосредственно от самого языка, лежащие за его пределами. Здесь имеется в виду изменение объективной действительности: появление новых предметов (свойств, отношений и т.п.) и исчезновение старых. Сюда же можно причислить влияние других языков, вообще языковые контакты, нередко связанные с миграциями (переселениями) народов, войнами, переделом сфер влияния между различными религиями... В н у т р и я з ы к о в ы е причины обуславливают изменения, возникающие непосредственно в процессе функционирования языка. Это, прежде всего, взаимодействие разных его элементов: уподобление («выравнивание») по аналогии, подгонка исключений под общее правило, сближение или взаимоотталкивание единиц, сходных в каком-то отношении, и т.д.

Разумеется, в разных частях языка, на разных его уровнях эти изменения принимают особый вид и протекают с различной скоростью. Легче всего продемонстрировать развитие языка на примере лексики: это самая «мобильная» его часть, принципиально незамкнутая (открытая) для новых единиц. Кроме того, лексика наиболее восприимчива, чувствительна к внешним влияниям. Вспомним, сколько новых слов пришло в русский язык за последние десятилетия: *наработка, электорат, эксклюзивный, тетрапак, накрутка, безнал, варёнки, клип, мигрант, заколебать...* (Наверное, не меньшее количество слов и ушло, только этот процесс не так заметен.) Многие слова изменили значение: *перестройка, боевик, борт, челнок, совок, конверсия, тащить, раскрутить, тёлка, достать* («Он меня достал»)... Примеры слов из разных сфер речи доказывают широкое распространение новшеств.

Иное дело — фонетика, морфология, синтаксис. Эти части языка менее «проницаемы», более устойчивы к влияниям извне. И сами изменения происходят здесь медленно и незаметно. Так, в русской фонетике наблюдается отверждение согласного [p'] перед заднеязычными [к], [г], [х]: на место произношений *це[p']ковь, ве[p']х, четве[p']г* приходят *церковь, верх, четверг* (с твердым согласным). Но этот процесс

длится не первое десятилетие, и по сей день кое-кто, особенно из людей старшего поколения, говорит «церьковь»... Вообще, изменения в языке осуществляются именно при смене поколений, нередко бывает, что в рамках одного и того же общества старшее поколение выбирает один вариант (*це[р']-ковь, пластинка, созвать двадцать двух студентов*), а младшее предпочитает другой (*церковь, диск, созвать двадцать два студента* и т.п.).

Далее, изменения в языке не происходят изолированно. Скорее наоборот: сдвиг в какой-то одной точке системы приводит к смещениям в другом месте, необязательно на том же самом языковом уровне. Так образуется целая цепочка, в которой результат предыдущего преобразования становится стимулом последующего.

Например, в древнерусском языке (XI—XIV вв.) категория числа имела три составляющие ее граммы: единственное, множественное и двойственное число. Двойственное число (латинское название — *dualis*) было наиболее важным для тех существительных, которые регулярно обозначали предметы *п а р н ы е*, существующие и в объективной действительности «по двое». В частности, это касается таких частей тела человека и животных, как глаза, бока, уши, руки, ноги, плечи, колени, рога и т.п. Естественно, что существительное *глаз* значительно чаще употреблялось в форме двойственного числа (*глаза*), чем в форме множественного (*глазы*). С XV в. дуалис постепенно отмирает (это соответствует тенденции к обобщению грамматических значений и строгости грамматических оппозиций: человек как бы начинает понимать, что ‘два’ — это тоже ‘много’), и множественное число поглощает собой двойственное. Однако для тех существительных, у которых дуалис был особенно активен (см. выше), его форма вытесняет собой форму множественного числа: *глаза* и т.п. начинают употребляться в значении множественного числа. На этом, однако, процесс не заканчивается. Поскольку образования типа *глаза, бока, рога* и т.п. были достаточно частыми, употребительными в текстах и соответственно активными в сознании носителя языка, они начинают влиять на сво-

их соседей по системе — и уже во времена Ломоносова некоторые существительные мужского рода образуют во множественном числе форму на *-а* вместо полагающейся им формы на *-и (-ы)*: *дома* вместо *домы*, *леса* вместо *лесаы*, *снега* вместо *снеги* и т.п. Сегодня форма на *-а* продолжает свое «наступление», она захватывает всё новые и новые территории. Мы уже привыкли к формам типа *холода, поезда, учителя, лагеря*... Но рядом с ними появляются и формы множественного числа на *-а* от существительных же несклоняемого рода (3-го склонения). Некоторые из них утверждаются нормой (например, *зеленя*), большинство же носит явно нелитературный, просторечный характер (*площадь, скорость, матеря*). Чем закончится этот процесс, трудно сказать. Но очевидно, что перед нами целая цепочка внутриязыковых влияний как в плане содержания, так и в плане выражения.

Такие причинно-следственные отношения могут связывать в истории языка и более крупные, более общие преобразования. В частности, на материале разных языков установлено, что совпадение падежных флексий (омонимия окончаний) может вести к сокращению числа падежей, а это, в свою очередь, приводит к застыванию порядка слов в предложении. Так, в истории английского языка принято различать три периода: древне-, средне- и новоанглийский. Древнеанглийский, или англосаксонский, язык (VII—XI вв.) — это язык синтетического строя с развитой системой флексий. Существительные здесь распадаются на три рода с многочисленными типами склонений и изменяются по четырем падежам. В среднеанглийский период (XII—XV вв.) в языке происходят значительные изменения: конечные безударные гласные редуцируются (сокращаются, исчезают), существительные утрачивают род, все разнообразие именного склонения сводится к нескольким основным типам. В то же время возрастает роль порядка слов и предлогов. В новоанглийский период (с XVI в. и по настоящее время) все эти черты анализа еще более усиливаются и развиваются. Понятно, что накопление частных изменений в конечном счете приводит к преобразованию языковой системы в целом — количество,

так сказать, переходит в качество. Не подлежит сомнению, например, что современный английский язык — это уже другой язык по сравнению с древнеанглийским.

То же самое мы можем утверждать применительно к истории русского языка. Для сегодняшнего читателя, скажем, «Слово о полку Игореве», памятник древнерусской литературы конца XII в., уже требует перевода на современный язык. Более того, существуют разные переводы и переложения данного памятника: В.А. Жуковского, А.Н. Майкова, К.Д. Бальмонта, Н.А. Заболоцкого, из наших современников — Д.С. Лихачева, И. Шкляревского и др. И дело тут не только в стремлении переводчиков максимально отразить художественный, эстетический эффект текста, но и в объективных языковых трудностях. В «Слове» немало так называемых «темных» мест, не вполне ясных даже для исследователей. А что уж говорить о рядовом носителе языка!

И все же, рассуждая об изменчивости языка, о его постоянном развитии, нельзя обойти молчанием еще одну проблему: становится ли язык при этом лучше? Существует ли в языке прогресс? В разные годы исследователи по-разному отвечали на этот вопрос. Однако в целом, если признавать за языком стихийный, ненаправленный характер развития, то и общей перспективы этой эволюции установить не удастся. Соответственно нельзя и утверждать, что одни языки имеют преимущество перед другими. Конечно, со временем в языке расширяется запас слов, формируются грамматические категории, разграничиваются функциональные сферы его применения и т.д., но это вовсе не значит, что данное «совершенство» было бы к месту ранее, в другую эпоху или в другом языке. Да, в сегодняшней жизни мы не смогли бы обходиться древнерусским языком. Нам не хватало бы названий для огромного количества реалий, нас не устраивала бы разветвленная система глагольных времен (да и то же двойственное число кажется совершенно ненужным!), нас, наверное, раздражали бы нечеткие (с сегодняшней точки зрения) способы выражения отношений между предложениями и т.д. Но кто осмелится утверждать, что наш современный русский

язык соответствовал бы потребностям древних русичей в XI или XIII вв.? Он был бы там так же плохо применим к системе тех реалий и тех понятий... Поэтому стоит повторить вслед за великим лингвистом И.А. Бодуэном де Кур-тенэ: «Крайне неуместно измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени... Наука не должна навязывать объекту чуждые ему категории и должна отыскивать в нем только то, что в нем живет, обуславливая его строй и состав» («Избранные труды по общему языкознанию»). А это означает, что каждый язык по-своему хорош, ибо он соответствует своей культурной и исторической обстановке, соответствует типу мышления данного народа, его потребностям общения.

36. Генеалогическая классификация языков

Еще до того, как возникла типологическая классификация языков (см. раздел 30), ученые пришли к выводу о необходимости сгруппировать языки в зависимости от их происхождения. Такую классификацию называют *генеалогической* (от слова *генеалогия*, т.е. ‘учение о происхождении, родословная’).

Сравнивая языки, люди давно находили между ними сходство. И далеко не всегда такое сходство было свойственно соседним языкам (что легко объяснимо: ведь представители разных народов контактируют между собой!). Но вот, скажем, в центре Европы живут венгры. Они говорят на венгерском языке — и этот язык совершенно не похож на другие, окружающие его, языки: словацкий, украинский, румынский, сербский, хорватский, немецкий! В то же время существует немало примеров, когда один и тот же язык распространяется по территории земного шара. Например, по-английски говорят в США (230 млн чел.), Великобритании (55 млн чел.), в Канаде (22 млн чел.), в Австралии

(15 млн чел.), в Ирландии (3,5 млн чел.), в Новой Зеландии (3,5 млн чел.), в ряде африканских стран...

От чего же зависит сходство или несходство языков между собой? Попробуем сравнить несколько слов современных славянских языков.

Русский	Белорусский	Болгарский	Польский	Чешский
солнце	сонца	слънце	słońce	slunce
брат	брат	брат	brat	bratr
три	тры	три	trzy	třty

Наверное, после таких примеров можно подумать, что славянские языки специально и изучать не надо: и без того все понятно! На деле же это не так: просто здесь выбраны слова, относящиеся к числу наиболее древних, исконных, общих...

В этом все дело: сравнение языков позволяет заглянуть в их историю. Сходство языков свидетельствует об их общем происхождении. Недаром одним из ключевых понятий и терминов в генеалогической классификации языков является *семья*: чем более сходны между собой языки, тем больше вероятность того, что они имели общего предка. Как и среди людей, среди языков могут быть родственники более близкие и менее близкие. Продолжим сравнения:

Латинский	Французский	Английский	Немецкий
sōl	soleil	sun	die Sonne
frāter	frère	brother	der Bruder
trēs	trois	three	drei

Сходство и здесь наличествует, хотя и не такое явное! По-видимому, все эти языки тоже родственны славянским (не говоря уже о том, что они родственны между собой), но вместе с тем это родство не столь близкое.

Подобные факты давно привлекали к себе внимание ученых. Но совершенно головокружительные открытия были сделаны в середине XVIII в., когда в Европе стали известны тексты, написанные на санскрите. С а н с к р и т — литературный язык древней Индии (на нем уже в первом тысячеле-

тии до н.э. существовала богатая литература, религиозная и светская). Английский востоковед В. Джонс, проработавший много лет в Индии, обратил внимание на то, что многие слова санскрита напоминают слова европейских языков. Действительно, сравним с приведенными выше параллелями: ‘солнце’ на санскрите svár, ‘брат’ — bhrātar, ‘три’ — trí... Но отсюда может вытекать только один вывод: что когда-то существовал язык, общий для предков современных европейских и индийских народов! Этот язык назвали праиндоевропейским. Сам В. Джонс, выступая с научным докладом в 1786 г., говорил: «Санскритский язык... имеет удивительную структуру, которая включает в себе столь близкое родство с греческим и латинским языками как в глагольных корнях, так и в грамматических формах, что оно не могло сложиться случайно; родство это так поразительно, что ни один филолог, который желал бы эти языки исследовать, не сможет не поверить, что все они возникли из одного общего источника, которого, может быть, уже не существует. Имеется сходное, хотя и не столь убедительное основание полагать, что также готский и кельтский языки, хотя они и смешаны с совсем другими диалектами, произошли от того же источника; к этой же семье языков можно было бы причислить и древнеперсидский язык». (Цит. по: Лоя Я.В. История лингвистических учений. — М., 1968. — С. 38.)

Попытки восстановить праязык, увлекшие лучшие филологические умы XVIII—XIX вв., привели к формированию первого научного метода языкознания (без чего оно не выделилось бы в самостоятельную науку). Это — сравнительно-исторический метод, т.е. система научно-исследовательских приемов, используемых при изучении родственных языков для восстановления картины исторического прошлого этих языков и закономерностей их развития. Сравнительно-исторический метод основан на идее родства языков и исторической преемственности языковых единиц и категорий. К основным, ключевым его понятиям относятся: праязык (иногда его называют также языком-основой),

реконструкция, т.е. восстановление древних, не зафиксированных в устной или письменной речи, форм и значений; архетип — так называют конкретную реконструированную форму, к которой возводятся более поздние. Поскольку архетип — единица в некотором смысле виртуальная, существующая только на бумаге и в воображении филологов, то ее отмечают особым значком — звездочкой (*), или астериском. Например, русское слово *город*, так же как белорусское *горад*, болгарское и сербское *град*, чешское *hrad*, польское *gród* (буква *ó* обозначает здесь звук [y]), восходят к праславянскому (т.е. общему для всех древних славян) *gordъ. Данному архетипу находят соответствия в литовском *gaĩdas*, албанском *garth*, английском *garden*, немецком *der Garten*, санскритском *gr̥h?* и т.п., что в конечном счете позволяет вывести праиндоевропейскую форму *ghordho-.

Применение сравнительно-исторического метода требует соблюдения некоторых условий. Во-первых, сравнивать следует лексику только наиболее древнюю, исконную. Хорошие результаты дает также сравнение грамматических форм с целью восстановления их предшественников: грамматика оказывается тоже весьма устойчивым компонентом языковой системы. Во-вторых, следует остерегаться случайных совпадений. И вообще, сходство сравниваемых единиц не обязательно должно быть буквальным, но оно должно быть регулярным. Так, если мы установили по ряду языков соотношение типа *город* — *град* — *gród* и т.д., восходящее к праславянскому *gordъ, то естественно ожидать соблюдения этих закономерностей также в других случаях, ср.: *порох* — *прах* — *proch...* (праслав. *porch), *корова* — *крава* — *krowa...* (праслав. *korva) и т. д.

У истоков сравнительно-исторического направления в лингвистике стояли выдающиеся филологи XIX в., почти одновременно и независимо друг от друга показавшие блестящие результаты применения этого метода. Немец Франц Бопп (1791—1867) в своей работе «О системе спряжения санскрита в сравнении со спряжением в греческом, латинском, персидском и германских языках» указывал на необхо-

димось системного сравнения грамматических форм. Датчанин Расмус Раск (1787—1832), занимаясь происхождением исландского языка, доказывал на фактическом материале родство германских, латинского, греческого, литовского и славянских языков. Якоб Гримм (1785—1863), один из братьев Гримм, известных нам по детским сказкам, исследовал с помощью сравнительно-исторического метода историю германских языков. Еще один великий немецкий филолог, Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835), продемонстрировал значение этого метода для изучения культуры и истории человечества. Он писал: «Язык и постигаемые через него цели человека вообще, род человеческий в его поступательном развитии и отдельные народы являются теми четырьмя объектами, которые в их взаимной связи и должны изучаться в сравнительном языкознании» («Избранные труды по языкознанию»).

Важнейшим результатом сравнительно-исторического метода явилось, конечно, не восстановление системы праязыка (хотя и такие попытки делались; ныне существуют, в частности, словари и грамматики индоевропейского праязыка и даже экспериментальные тексты, написанные на нем), а обогащение суммы знаний об истории человечества. Сведения о генезисе отдельных народов, их контактах и передвижениях, установление общих закономерностей языковой эволюции, наконец, создание генеалогической классификации языков — все это было бы невозможно без применения сравнительно-исторического метода.

Генеалогическая классификация подразумевает деление всех языков мира на огромные объединения — семьи. Таких семей насчитывается около двух десятков, самые известные среди них — индоевропейская, тюркская, уральская, кавказская, афразийская (семито-хамитская), китайско-тибетская, америндская и др.

Каждая семья, в свою очередь, делится на ветви, группы и подгруппы. В частности, в состав индоевропейской семьи входят:

индийская группа (хинди, урду, бенгали, панджаби, гуджарати, непали, цыганский и др.; из мертвых языков — ведийский, санскрит и др.);

иранская группа (персидский, дари, пушту, таджикский, курдский, осетинский и др.; из мертвых — древнеперсидский, авестийский, скифский и др.);

славянская группа (русский, украинский, белорусский, болгарский, македонский, сербский, хорватский, словенский, чешский, словацкий, польский, лужицкий; из мертвых — старославянский, полабский);

балтийская группа (литовский, латышский, из мертвых — прусский);

германская группа (датский, шведский, норвежский, исландский, английский, немецкий, фризский, нидерландский, идиш и др.; из мертвых — готский);

романская группа (французский, итальянский, испанский, португальский, каталанский, румынский, молдавский, ретороманский и др.; из мертвых — латинский);

кельтская группа (ирландский, шотландский, бретонский, валлийский; из мертвых — галльский и др.);

греческая группа (новогреческий и мертвый древнегреческий);

албанская группа (албанский);

армянская группа (армянский);

хеттская группа (мертвые хеттский и лувийский языки в Малой Азии);

тохарская группа (два мертвых тохарских языка в Западном Китае).

К тюркской языковой семье относятся, в частности, турецкий, азербайджанский, туркменский, татарский, башкирский, казахский, киргизский, узбекский, чувашский; из мертвых — болгарский, хазарский, половецкий и печенежский языки. Нередко тюркские языки объединяют вместе с монгольскими (монгольский, бурятский, калмыцкий) и тунгусо-маньчжурскими (эвенкийский, маньчжурский, нанайский и др.) в единую — алтайскую — языковую семью.

Уральские языки распадаются на финно-угорские и самодийские. К первым относятся финский, эстонский, карельский, вепсский, венгерский, мансийский, хантыйский (остяцкий), коми, удмуртский, марийский и др.; ко вторым — немецкий, селькупский и др.

К кавказским языкам (родство которых, впрочем, оспаривается многими лингвистами) относятся, в частности, абхазский, адыгейский, чеченский, ингушский, лезгинский, аварский, даргинский, лакский, мегрельский, грузинский, сванский и др.

Афразийская языковая семья включает в себя арабский, ассирийский, иврит, амхарский, хауса, бамана, суахили, конго и др.; из мертвых — аккадский (ассиро-вавилонский), древнееврейский, арамейский, финикийский, древнеегипетский, коптский и др.

Некоторые языки стоят вне семей: таковы японский и корейский.

Можно ли найти «мостики», родственные связи между различными языковыми семьями? Если обратиться к выражению важнейших и древнейших для человека понятий — таких, как названия ближайших родственников ('отец', 'мать'), частей тела ('рука', 'глаз'), основных природных явлений ('вода', 'солнце') и т.п., то определенное лексическое сходство можно обнаружить и между отдельными языковыми семьями. Ученые насчитывают сотни или даже тысячи общих для них морфем. Это дает основания говорить о макросемье, включающей в себя такие семьи, как индоевропейская, афразийская, кавказская, уральская, алтайская, дравидийская. Эту макросемью называют *ностратической*, от латинского *noster* 'наш'. По-видимому, 8—10 тыс. лет назад такое языковое объединение было реальностью.

37. Эволюция и взаимодействие языков

Языки различаются между собой прежде всего количеством людей, которые на них говорят. Есть языки-гиганты,

на которых общаются миллионы людей, живущих к тому же на разных континентах, а есть языки-карлики, обслуживающие всего лишь сотни или даже десятки человек. Из общего количества в 3,0—5,5 тыс. языков, существующих на земном шаре (цифра приблизительная), лишь несколько считаются мировыми, предназначенными для международного общения. Например, в Организации Объединенных Наций в качестве официальных приняты шесть языков: английский, французский, испанский, русский, китайский и арабский. Этого статуса они удостоены в силу своей распространенности в разных странах, а также с учетом вклада соответствующих народов в мировую цивилизацию. Объективно говоря, статус языка зависит не только от количества людей, говорящих на нем, или его авторитета в мире, но и от разнообразия выполняемых в обществе функций.

К примеру, есть языки, обслуживающие только устное бытовое общение. Ни научного текста, ни официального документа на таком языке не может быть произведено: в нем просто нет необходимых для этого слов. В силу своей бесписьменности такой язык, конечно, очень слабо представляет познавательную и номинативную функции (см. разделы 13—14), да и диапазон его эстетических возможностей весьма ограничен: если бы попробовать перевести на такой язык «Илиаду» или «Мастера и Маргариту», то текст (а вместе с ним и читатель), несомненно, много бы потерял.

С другой стороны, существуют языки, используемые в какой-то узкоспециальной «небытовой» сфере, — например, научной или религиозной. Такова, в частности, латынь. Сегодня этот язык еще используется католической церковью, знание латинской терминологии обязательно для медика или ботаника, но в повседневном общении латынь не употребляется — в этом смысле она мертва.

Языки, обладающие более или менее полным комплектом общественных функций и максимально широкие по сфере своего применения, считаются л и т е р а т у р н ы м и. Точнее, литературные языки выделяются и противопоставляются другим, нелитературным формам общенародного языка (про-

сторечию, жаргонам, территориальным и профессиональным диалектам) по целой совокупности признаков. Кроме уже упомянутого признака, который можно было бы назвать функциональной полноценностью, или полифункциональностью, литературного языка, это еще и следующее:

— наличие письменности. Литературный язык обязательно обладает своей письменной, книжной формой. Хотя это не мешает ему существовать и в устном виде. Например, публичные выступления — на собраниях и митингах, по радио и телевидению — обычно выдерживаются в рамках литературного языка;

— наличие четкой, зафиксированной нормы (см. раздел 16). Собственно говоря, использование языка всегда сопровождается ориентацией на определенный образец, эталон, так что любая речь в каком-то смысле нормирована. Но норма литературного языка, как наиболее универсальная, отражается и закрепляется в словарях, грамматиках, справочниках и т.п.;

— историческая опора на какой-то диалект, на какой-то местный вариант общенародного языка. Так, в основе современного русского литературного языка лежат московские говоры, в основе белорусского — группа минско-молодечненских говоров, в основе китайского литературного языка — пекинский диалект и т.д.;

— роль конкретной личности. Нередко у истоков литературного языка стоит, как уже говорилось, какой-то писатель, филолог, реформатор общественной или церковной жизни. Мы говорим, в частности: «Русский литературный язык начинается с Пушкина». И если развитие общенародного языка — это в целом стихийный процесс, то на литературном языке лежит некоторая «печать авторизованности» (а иногда говорят: сконструированности).

Итак, вырастая на базе какого-то отдельного диалекта или группы диалектов, литературный язык становится со временем представителем всего общенародного языка, его обработанной, отшлифованной и закреплённой формой. Функция литературного языка — объединять людей независимо от их

происхождения и положения в обществе, места жительства и профессии... К примеру, понятие ‘человек, просящий милостыню’ в русских диалектах выражается по-разному — с помощью слов *жебрак, жабрак, клянчуга, милостынец, милостяга, христарадник, просяк, убогий...* В просторечии в том же значении могут быть использованы слова *бомж, голодренец, ханыга*. На воровском жаргоне нищий называется *алюсник, богодул, богомол, бомбила, босота, кондуктор, кусочник, леаперд, мамка, могильщик, погорелец, рыцарь, складчик* и т.п. Но при всех этих особенностях и различиях существует литературное слово *нищий* (и его разговорный синоним *попрошайка*), которое понятно в сем без исключения носителям русского языка.

Правда, в разных странах и культурах положение литературного языка различно: иногда он сильнее, резче противопоставляется нелитературным формам общенародного языка (тому же просторечию, в частности), иногда эта дистанция меньше. Бывают языки с очень «чопорной», надменной нормой, а бывают — с «мягкой», демократичной. Это зависит от исторических условий, а также частично и от возраста литературного языка. Так, книжная норма современного белорусского языка заметно ближе к народным основам (в том числе диалектным вариантам и просторечию), чем, положим, норма русского, а тем более французского языка (в котором литературная речь отделена от нелитературной непроницаемым барьером).

Литературный язык — важное условие государственного устройства. Он не просто обеспечивает взаимопонимание людей, но и служит своего рода инструментом, необходимым для системы управления, образования, средств массовой информации и т.д. Именно поэтому *в школе учат нормам литературного языка*. По мысли А.М. Пешковского: «Там, где дети усиленно учатся говорить, там взрослые не теряют бесконечного количества времени на отыскивание в словесном потоке собеседника основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг

друга, там люди меньше судятся, потому что составляют более ясные контракты, и т.д. и т.д. Уменьше говорить — это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной машины и без которого она просто остановилась бы» (статья «Объективная и нормативная точка зрения на язык»).

Если же в границах одного государства сосуществуют несколько языков, то они, естественно, каким-то образом взаимодействуют, влияют друг на друга. Собственно, взаимодействовать языки могут и «поверх» государственных границ, но тогда их контакты сводятся главным образом к заимствованию слов. Если же несколько языков уживаются на территории одного государства, то последствия такого соседства могут быть самыми разными, и зависят они от многих факторов.

Прежде всего, водораздел может проходить по линии «литературный язык — нелитературный язык (диалект)». Понятно, что сферы употребления этих инструментов общения в государстве будут различаться: у литературного языка коммуникативные возможности безусловно шире. Но даже в том случае, если оба взаимодействующих языка являются литературными, они могут функционально различаться между собой по принципу «более высокий» (для официального общения, в служебной обстановке, в церкви и т.п.) — «более низкий» (для непринужденного общения, в домашней обстановке, в кругу друзей и знакомых). При этом за одним из языков (или за несколькими — в многонациональном государстве) может быть формально закреплен ранг о ф и ц и а л ь н о г о, т.е. применяемого для административного общения — в суде, армии, школе, в средствах массовой информации и т.д. Мало того, нередко различают еще официальный язык (используемый в данной провинции, штате, земле) и язык г о с у д а р с т в е н н ы й (объединяющий все нации и народности в рамках державы, выполняющий представительские функции в сношениях с другими государствами и т.п.).

В современном мире большинство государств — многонациональные, и везде языковая проблема решается по-разному. Вот некоторые примеры.

Население Финляндии на 91% состоит из финнов и лишь на 6% из шведов. Однако оба языка — и финский, и шведский — считаются официальными, на них издаются правительственные законы и указы, ведутся заседания парламента, осуществляется преподавание в школе. Не существует «швейцарского» языка: в Швейцарии говорят по-немецки, по-французски, по-итальянски и по-реторомански. Всем четырем языкам придан государственный статус (при том, что на ретороманском говорит всего 50 тыс. человек — менее 1% населения). В Каталонии (провинция Испании) каталанский язык является официальным, а испанский — официальным и государственным. В Парагвае официальным языком считается испанский, хотя владеет им немногим более половины населения. В повседневной жизни, в обиходных ситуациях используется язык местных индейцев гуарани — им владеет абсолютное большинство населения. Причем переход с языка на язык зависит подчас от весьма тонких обстоятельств. Так, в литературе приводятся примеры того, как мужчины-парагвайцы, ухаживая за женщинами, говорят с ними по-испански, а, женившись, переходят на гуарани (чего, мол, теперь-то церемониться)... В Словении официальный язык — словенский, но в пограничных областях официальными признаны также венгерский и итальянский.

Что же из этого следует? По-видимому, первый вывод, который вытекает из сказанного, — это то, что язык не является обязательным признаком нации. Точнее, условием существования нации не является наличие своего собственного языка. Многие народы и государства прекрасно развиваются, эксплуатируя чей-то «чужой» язык (разумеется, внося в него свою специфику). Например, на французском языке, кроме французов, говорят также бельгийцы, швейцарцы, канадцы, гаитяне, жители Монако и Люксембурга, а также многих стран Африки: Заира, Конго, Гвинеи, Мали, Сенегала, Бурунди и др. (там он является официальным языком).

Второй вывод: в оценке языковых ситуаций в многонациональном государстве необходимы чрезвычайная осторож-

ность, терпеливость и такт. Дело в том, что языковые процессы протекают медленно и сложно, реализуясь нередко через смену многих поколений. Поэтому в языке очень опасно декретировать, приказывать, устанавливать конкретные сроки. В то же время многоязычие в государстве редко бывает вполне уравновешенным, сбалансированным. И это понятно: у разных языков — разный престиж на мировой арене, разный культурный «вес»! Язык нации более многочисленной, с большими культурными традициями, объективно говоря, давит на язык нации «меньшей» и может в конце концов полностью его вытеснить. В этом свете, скажем, перспективы развития ретороманского языка в Швейцарии выглядят значительно хуже, чем немецкого или французского.

Вообще же языки не зря сравнивают с живым организмом: им свойственно не только развиваться и процветать, но и увядать, и умирать. Память человеческой цивилизации хранит сведения о многих м е р т в ы х языках, не употребляющихся ныне в повседневном общении. Смерть языка может наступить в силу одной из трех причин.

А *Язык переродился.* Это значит, что в результате накопившихся в нем изменений (грамматических, лексических, фонетических) он стал другим языком. Примером может служить древнегреческий язык, который уже в IV—III вв. до н.э. превращается в так называемое койне (смесь диалектов) и затем, через промежуточную форму «среднегреческого» периода, дает начало новогреческому, или современному греческому, языку (с XV в.).

Б *Язык распался,* расщепился на несколько языков-потомков. Примером может служить древняя латынь, которая в течение многих веков эволюционировала от «архаической» (III—I вв. до н.э.) через «классическую» (I в. до н.э.) до «вульгарной», или народной (III—IV вв. н.э.), положившей начало современным романским языкам: итальянскому, французскому, испанскому, румынскому, каталанскому и др.

В *Язык вытеснился,* заменился другим языком. Такова была судьба одного из славянских языков — полабского.

Полабяне, потомки племени древян, жили на западном берегу реки Эльбы, или Лабы (отсюда и название: «по-лабяне»). Их постоянными соседями были немцы, и немецкий язык составлял конкуренцию родному языку полабян. Судя по сохранившимся свидетельствам, еще в XVII в. полабский язык использовался в повседневном общении, однако постепенно, через смену поколений, полабяне полностью перешли на немецкий и ассимилировались, растворились в окружающей этнической среде.

В любом случае смерть языка — это процесс медленный, долгий, естественный. Поэтому кажутся бессмысленно-декларативными лозунги вроде «Не дадим умереть бесписьменным языкам!» или «Сохраним языки малых народностей!». Такие призывы имеют скорее филологическую ценность. Действительно, для науки каждый язык представляет интерес, и потому важно его зафиксировать, но никто не может запретить языку умереть.

Впрочем, науке известны и случаи возрождения мертвых языков. По крайней мере, таков уникальный пример с ивритом. В основе его лежит древний язык иудейских священных книг. Иврит был искусственно возрожден в XX в.; с образованием после Второй мировой войны государства Израиль он становится его государственным языком. (До тех пор евреи, рассеянные по всем странам света, говорили на различных языках, в том числе на языке идиш, возникшем на базе немецких диалектов.) Ныне иврит — живой, развитый (и продолжающий развиваться) литературный язык, успешно выполняющий свои многообразные функции. Другой, уже приводившийся пример, с латынью, свидетельствует о том, что даже мертвый язык (обладающий богатым культурным наследием) может довольно широко использоваться в разных специальных нуждах. В Европе еще в XVI—XVII вв. ученые писали по-латыни; на латинском языке написаны многие сочинения Спинозы, Ньютона, Ломоносова. Да и сегодня огромное количество латинских корней используется для образования новых терминов в самых различных отраслях знания...

Вообще язык требует к себе спокойного, взвешенного и внимательного отношения. Так, в истории разных обществ известны примеры крайнего пуризма*: стремления не допустить в свой язык вообще никаких слов-чужеземцев. Хотя, если вдуматься, вся история человечества предполагает культурный обмен и взаимообогащение народов — ну как тут обойтись без заимствований? Показательно, что огромная доля лексики современного русского языка, включая даже такие слова, как *изба*, *лошадь* или *картошка*, имеет не русское и даже не славянское происхождение. Ну и что? Разве русский язык стал хуже оттого, что рядом с исконно славянским *конем* в нем появилась арабских «кровей» *лошадь*?

Но и сегодня мы нередко слышим: «Русский язык в опасности, он умирает. Его пора заносить в Красную книгу!» О чем речь? О появлении огромного количества новых слов? О смещении стилей, о проникновении элементов просторечия на заповедную территорию литературной нормы? О сильном влиянии (особенно в лексике) английского языка? Все это действительно имеет место. Бурные политические и экономические преобразования в обществе приводят к резким, скачкообразным изменениям в языке. Такое уже было в России, в частности, после революции 1917 г. К.И. Чуковский, знакомый нам прежде всего по детским сказкам, но одновременно бывший блестящим литературоведом и тонким наблюдателем-лингвистом, в своей знаменитой «Чукоккале» (дневнике-альбоме, который он вел на даче в Куоккале) записал следующие неологизмы 1919—1924 гг.: *полседьмого, я пошел* ('я сейчас ухожу'), *до скорого, пока* ('до свидания'), *текущий момент, халтура, халтурить, пара минут, ничего подобного, факт* и т.п. Тогда эти выражения останавливали на себе внимание или даже вызывали внутренний протест. Сегодня они кажутся нам совершенно естественными — будто всегда существовали в языке. Вместе с тем некоторые слова и выражения из спис-

* *Пуризм* — борьба за чистоту языка, нередко принимающая уродливо-националистические формы. Термин восходит к лат. *purus* 'чистый'.

ка Чуковского канули в небытие: *максимка* (поезд), *гражданетка*, *подрынок* и др. Получается, что у языка хватило сил для саморегуляции и самоочищения, хотя не подлежит сомнению, что изменения в нем произошли значительные.

Ныне, как никогда ранее, популярны лозунги международной интеграции, культурного, экономического, политического единения народов мира (а особенно Европы). И это тоже находит свое отражение в языковых процессах, прежде всего в нашествии огромного количества англицизмов и американизмов. (Ср. хотя бы примеры типа *диск*, *слайд*, *хобби*, *дизайн*, *принтер*, *маркетинг*, *саммит*, *леггинсы*, *спикер*, *клип*, *имидж*, *импичмент*, *брокер*, *дринк*, *бренд*, *сэконд хэнд*, *шейпинг* и т.д.) Но не только русский язык оказывается в положении «заимствующего». Так же недовольны немцы и японцы, а французы были вынуждены даже ввести штрафы за необоснованное употребление англицизмов в публичной речи. Означает ли это, что разные языки накапливают в себе все большее количество английских элементов? В принципе да, но не будем забывать, что общее количество этих заимствований ничтожно по сравнению с исконной, «своей» лексикой. (Не говоря уже о фонетике или морфологии, которые вообще с трудом поддаются влиянию извне и обладают в данном смысле определенным иммунитетом.) Поэтому особых оснований для беспокойства нет: слишком велика инерция носителей языка и слишком хорош сам по себе каждый естественный язык, чтобы человек с легкостью мог от него отказаться. Поэтому же обосновательно предположение, что английский язык станет единым для народов мира.

В истории известны попытки создания искусственных языков, предназначенных для международного общения. Самый яркий пример такого рода — язык эсперанто (по-



Л. Заменгоф

латыни ‘надеющийся’). Он был создан в конце XIX в. варшавским врачом Людвигом Заменгофом. В соответствии со своим предназначением — объединять людей — эсперанто был задуман как язык максимально логичный (минимум словоизменения, никаких исключений и т.п.), а за его лексическую основу были приняты наиболее известные корни испанского, французского, английского и немецкого языков. С тех пор прошло более ста лет. На Земле существует разветвленная сеть обществ и кружков эсперантистов, издается многообразная литература (не только, кстати, переводная: есть и произведения, первоначально написанные на эсперанто!), эсперанто используется на международных конгрессах и конференциях. Можно сказать, детище Заменгофа сегодня объединяет людей — представителей разных народов. И все же важнейшей своей цели этот искусственный язык не достиг: он не смог заменить естественные языки. Почему? Может быть, в силу своей излишней «правильности», продуманности. А может быть, причина кроется все в той же человеческой инертности: международный язык, конечно, хорош, преимуществ у него много, да только где ему угнаться за родным языком, за которым стоит и голос матери, и первые сказки, и художественная литература, и целый культурный мир, — нужно ли от всего этого отказываться? От добра добра не ищут — гласит русская поговорка.

38. Языковые антиномии и парадоксы

Правила, по которым язык функционирует и развивается, в значительной степени определяются самой его природой: тем, что это — знаковая система, призванная выполнять в обществе многообразные функции и прежде всего быть средством коммуникации. Но в тех же самых изначальных свойствах языка (таких, как знаковость, системность, многофункциональность, общественный характер...) заложены глубинные, неразрешимые противоречия. Их называют **антиномиями** (от греч. *antinomia* ‘противоречие в законе’). Попробуем сис-

тематизировать некоторые важнейшие языковые антиномии, частично уже знакомые по предыдущим разделам.

Первая антиномия: противопоставление языка и речи. Мы говорим: язык — явление общественное, надъиндивидуальное, существующее в сознании целого коллектива (народа). Однако складывается язык из отдельных социолектов и идиолектов и реализуется в конкретных речевых актах, со всеми их индивидуальными особенностями (вспомним: кто-то шепелявит, а кто-то гнусавит, кто-то говорит *бу-мажник*, а кто-то пользуется названием *портмоне* и т.п.). Как же из всего этого многообразия получается нечто единое: язык народа? Не абстракция ли это? И можно ли считать, что вообще все, что мы встречаем в речи, есть реализация языка? Наверное, нет: ведь бывают какие-то сбои, случайные оговорки и т.п. А много ли вообще существует речевых явлений — слов, морфем, синтаксических конструкций и т.д., — свойственных всем без исключения носителям языка? Тоже, пожалуй, нет. Но что же тогда входит в язык? Как очертить его границы?

И потом, язык ведь не только надъиндивидуален (по отношению к личности), но еще и потенциален (по отношению ко времени). В нем заложено и то, что в реальности — на данный момент — отсутствует. Вот, скажем, есть в русском языке слово *американка*. Оно обозначает в первую очередь жительницу (уроженку, гражданку и т.п.) Америки. Кроме того, в разные периоды истории русского языка слово *американка* имело следующие значения: ‘определенного вида экипаж’, ‘особая печатная машина’, ‘сорт картофеля’, ‘сорт пшеницы’, ‘мастерская по срочному ремонту обуви или одежды’, ‘закусочная-быстро’ и т.д. На сегодняшний день какие-то из перечисленных значений стали уже неактуальными, вышли из употребления, но все они отражены в словаре! Более того, к приведенному списку можно было бы добавить еще ‘особый вид пари (на три исполняемых желания)’, ‘особый вид сорной травы’ и т.д. А если появится необходимость назвать новый вид лотереи или, допустим, детской коляски, каким-то образом связанный с Америкой, — то тоже не надо искать

для них нового названия: оно есть! Получается, что язык своими потенциями уже предусмотрел такую возможность, а вот реализуется ли она в речи — будет зависеть от многих обстоятельств. Итак: речь и язык в чем-то едины и неразрывны (между ними, в философском смысле, имеют место отношения явления и сущности), а в чем-то принципиально расходятся.

Вторая антиномия: внутренняя противоречивость знака, асимметрия двух его сторон: формы и значения. Их единство обеспечивает тождество знака (в том числе, скажем, слова). В то же время план содержания знака и план его выражения могут постепенно «сползать» по отношению друг к другу; знак при этом меняет свою форму (вплоть до синонимии, см. раздел 9) или свое значение (вплоть до омонимии).

Например, слово *meat* в английском языке когда-то означало вообще ‘еда’, а теперь означает ‘мясо’; кроме того, у него развивается новое значение: ‘содержание’ (по-английски можно сказать: *meaty book* ‘содержательная книга’). Слово осталось вроде бы тем же самым, но его значение изменилось. (А о том, что у него изменился не только план содержания, но и план выражения, мы можем судить хотя бы по современному произношению [mi:t], отошедшему от написания: вот оно, проявление традиционного принципа орфографии!) Знак постоянно развивается! Другой пример. Мы говорим по-русски о ком-то: *любопытный человек*. Это значит: человек проявляет к чему-то интерес. Но тут же мы говорим о чем-то: *любопытный факт*. Это значит: факт вызывает у кого-то интерес. Получается, что слово *любопытный* выступает в двух разных значениях, и знак оказывается то ли равен, то ли не равен самому себе. Неразрешимое противоречие!

Еще древнегреческий философ Демокрит (IV в. до н.э.) находил в языке четыре вида «неправильностей». Первая из них: многие слова имеют по несколько значений; вторая: многие вещи имеют по несколько названий; третья: некоторые вещи не имеют названий; четвертая: со временем одно

название сменяется другим. Понятно, что первые три «алогичности» (их современные названия — многозначность, или омонимия; синонимия; лексические лакуны) характеризуют языковой знак с позиций синхронической лингвистики. Четвертая же «алогичность», фиксирующая асимметрию знака, «сползание» его плана выражения по отношению к плану содержания, обнаруживается при диахроническом подходе.

Третья антиномия: соотношение системности и асистемности в языке. Язык, как уже определено, — система или даже система систем (в последнем случае под отдельными системами понимаются фонология, морфология, лексика и т.д.). На практике это означает, что все его элементы взаимосвязаны и взаимно обусловлены (см. раздел 24 и др.), все его оппозиции достаточно строгие и отчетливы (см. разделы 29, 31 и др.), а отдельные подсистемы в рамках целого подчиняются друг другу, образуя стройную иерархию... Именно стремлением еще больше «упрочить» систему, заполнить случайно оказавшиеся пустыми клетки, подчинить исключения действию общего правила объясняются многие внутриязыковые изменения. Примерами может служить образование в разговорной речи форм вроде *победю* (1-е лицо единственного числа глагола *победить*), *человеки* (вместо *люди*), *опёнки* (вместо *опята*), *секёт* (вместо *сечет*) и т.п. И тем не менее в каждый момент в языке сохраняется огромное количество исключений и разного рода «неправильностей». (Например, число исключений в грамматике современного русского языка намного превышает число правил — и русский язык в данном плане отнюдь не исключение...)

Более того, «улучшение» системы в одном месте может тут же приводить к ее «ухудшению» на соседнем участке. К примеру, новообразование *секёт* становится в общий ряд с формами *секу*, *секут*... Вроде бы это хорошо: формальное тождество корневой морфемы (*сек-*) становится более явным. Но при этом, во-первых, все равно сохраняется чередование с <ч> в формах типа *сечь*, *сечка* и т.п., а во-вторых, глагол *сечь* тем самым выпадает из общего ряда глаголов, для которых чередование *к/ч* остается в соответствующих формах акту-

альным, — ср.: *пеку — печёшь, толку — толчёшь, привлеку — привлечёшь* и т.п.

Другой пример. Разговорная конструкция *оплачивать за проезд* (с точки зрения нормативной грамматики, это безусловная ошибка) возникает по аналогии с конструкциями *платя за что-то, расплачиваться за что-то* и т.п. Опять-таки — хорошо: осуществляется принцип «одно значение — одна форма». Но в то же время появление словосочетания *оплачивать за проезд* нарушает другое правило: многие глаголы, присоединяя префикс *о-*, становятся при этом переходными, т.е. получают право управлять прямым дополнением, ср.: *бежать вокруг дома*, но: *обежать дом, работать над документом*, но: *обработать документ* и т.п. Вот в этот-то ряд и должен был бы попасть глагол *оплачивать: платить за проезд*, но: *оплачивать проезд*. Так что улучшение, упрочение системы происходит, можно сказать, по принципу «нос вытащишь — хвост увязнет»...

Четвертая антиномия: *у з у с / н о р м а*. Узус — это речевая практика, совокупность фактов речи; иными словами, это то, как говорят. Норма же — свод правил, диктующих, как надо говорить. Ранее отмечалось (см. раздел 16), что эта антиномия лежит в основе противопоставления описательного и нормативного языкознания и что любое сознательное вмешательство человека в язык (декретирование, регулирование, запреты...) дорого обходятся обществу. Поэтому — при всей необходимости и неизбежности нормы — она должна вводиться и изменяться продуманно, осторожно и терпеливо. Фактически норма — это всегда предпочтение одного варианта другому. И если филолог выбирает и рекомендует вариант *обеими руками*, а не *обоими руками, соскучился по вам*, а не *соскучился по вас, где бы ты ни был*, а не *где бы ты не был* и т.п., то он должен быть уверен в том, что он у г а д а л, предсказал тенденцию развития языка...

Пятая антиномия: *к о н к у р е н ц и я я з ы к о в ы х ф у н к ц и й*. Язык многофункционален (см. разделы 11—15), и отдельные его функции — коммуникативная, регулятивная, эмоционально-экспрессивная, магическая и др. — не только

дополняют друг друга, но и в какой-то мере конкурируют друг с другом. Это значит, что для человека вопрос «что сказать?» (коммуникативная и познавательная функции) нередко за-слоняется вопросом «как сказать?» (эстетическая и эмоцио-нально-экспрессивная функции) или «кому и зачем сказать?» (регулятивная функция). На практике это проявляется, на-пример, в стремлении обывателя «говорить красиво», кото-рое нередко приводит к коммуникативным недоразумениям. Французский писатель XVII в. Жан де Лабрюйер писал: «О чем ты говоришь, Аций? Как ты сказал? Не понимаю, повто-ри, пожалуйста, еще раз. Нет, решительно не понимаю... Ага, кажется, я все-таки догадался: ты хочешь поведать мне, что сегодня холодно. Но почему бы не сказать: «Сегодня холод-но»?.. «Но, — возражаешь ты, — это слишком просто и ясно, так мог бы сказать всякий»... («Характеры»).

Наиболее же явно «несовместимость» отдельных языко-вых функций выступает в текстах, специализирующихся на отражении какой-то одной стороны человеческой культуры, — в частности, текстах поэтических. Так, вряд ли стоит требо-вать разъяснения, какая информация заключена в следую-щих строках из стихотворения О. Мандельштама:

Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту,
Три чёрта было — ты четвертый,
Последний чудный чёрт в цвету. —

они хороши и без этого, у них иная цель: не коммуникатив-ная, а эстетическая! (Добавлю: в истории русской поэзии су-ществовало целое течение, которое обозначало свое творчество как «заумь»; в мировой литературе представлены и другие направле-ния — например, так называемая поэзия абсурда, — которые со-знательно отказываются от возможностей рациональной, т.е. осмысленной, интерпретации текста.)

Другие случаи проявления данной антиномии — закреп-ленные в языке наивно-понятийные классификации, вроде того, что паук — насекомое или арахис — орешки (где номи-нативная функция вступает в противоречие с функцией по-

знавательной), политические лозунги, которые, возможно, заворачивают слушателя своей декларативностью, пафосом, но совсем не обязательно несут новую информацию (тем самым магическая функция выступает против коммуникативной), и т.п.

Шестая антиномия: вторичность / автономность языка. Язык по своей природе вторичен, произведен от мира явлений. Это означает не только то, что сама материя языка — звук — позаимствована человеком у природы, но и то, что язык вторичен в плане содержания. Для того чтобы удовлетворять коммуникативные и познавательные потребности общества, язык должен с максимальной полнотой отражать объективную действительность. Однако в то же время мы видим, что внутренняя структура языка чрезвычайно своеобразна, его классификации самобытны (они не повторяют системы объективной действительности), его грамматические категории (род, падеж и т.п.) нередко замыкаются на самом языке, да и названия вещам язык дает избирательно, в соответствии с их практической ценностью (см. примеры лакун в лексике в разделах 14, 24 и др.). Получается, что язык не так уж и зависим от мира реальных. Он может даже в чем-то сам влиять на ход событий, когда, например, явление, возникая в человеческом воображении, получает свое название в языке и лишь затем воплощается в жизнь...

В предыдущих разделах отмечались также многообразные частные языковые парадоксы. Указывалось, например, что в сознании носителя языка слово может быть — в одно и то же время — мотивировано и немотивировано, а его морфемная структура нередко допускает двоякое (или тройное и т.д.) членение. Далее, семантико-синтаксические категории типа «субъект» или «объект» тоже оказываются нечеткими, размытыми. Действительно, язык имеет право на свое видение мира, на свои «причуды» и «капризы», и никакими логическими доводами этого не объяснить. Рассмотрим это еще на одном примере.

В разных языках имеются имена существительные, выступающие только в форме множественного числа, так назы-

ваемые *pluralia tantum* (лат. ‘только множественные’). К ним относятся в первую очередь обозначения предметов, состоящих объективно из двух или большего количества составных частей, ср. рус. *сани, брюки, ножницы, каракули, помои, хлопоты...* Действительно, предмет здесь представлен как бы изначально *р а с ч л е н е н н ы м*, множественным в своей природе. Но самое удивительное в том, что другие языки, можно сказать, в упор не замечают этой расчлененности. Так, по-болгарски *сани, брюки, ножницы* называются *шейна́, панталон, ножица*: там это один, обычный, нерасчлененный предмет, существительное стоит в единственном числе и лишь при необходимости (если будет идти речь о нескольких таких предметах) получит число множественное. Точно так же в белорусском языке подчеркивается расчлененность таких реалий, как решетка (по-белорусски *кράты*), лестница (по-белорусски *усходы*), кладбище (по-белорусски *могілкі*)... А польский язык замечает, что скрипка состоит из многих частей; там этот предмет называется *skrzypce* (*скшыпце*) — это существительное плюралиа тантум, такое же, как, скажем, в русском языке *гусли*. Теоретически можно понять: решетка — это много прутьев, лестница — много ступеней, скрипка — много струн... Но это, так сказать, объяснение задним числом, подгонка под готовый ответ. В реальном же русскоязычном сознании скрипка — не более расчлененный объект, чем барабан или флейта. Вот гусли, те — да... Получается, что каждый язык сам решает, что ему у в и д е т ь расчлененным, а что — целостным, монолитным. И все это означает: у языка — свой мир.

Своеобразие языка проявляется не только в лексических классификациях, грамматических категориях, синтаксических моделях-образцах и т.п., но также в особенностях построения диалога, создания целого текста. Тут мы сталкиваемся с седьмой антиномией: *г о в о р я щ и й / с л ы ш а ю щ и й*. Это значит, что в действие вступают такие факторы, как личность отправителя и личность получателя текста, обстановка общения (контекст), цели коммуникации, правила этикета, даже отводимое на разговор время и т.д. Но совокупное

действие всех этих факторов приводит к новым противоречиям и новым парадоксам. Текст приобретает дополнительную степень сложности.

Дело в том, что говорящий и слушающий — два участника речевого акта, звенья одной цепи. В чем-то они единомышленники: в нормальном случае — в стремлении понять друг друга. Но в чем-то они антагонисты; у каждого свои интересы, за каждым стоит свой опыт, свое видение мира. В значительной степени противоположны и механизмы их речевой деятельности: говорящий идет от содержания (замысла) к форме, а слушающий — от воспринимаемой формы к содержанию, к смыслу (хотя, по сути, его действия также активны: он пытается «забежать вперед», угадать мысль). Говорящий живет в мире синонимии: ему нужно из функционально близких средств выражения выбрать самое подходящее. Для слушающего же первостепенная проблема — это омонимия: он должен отбраковать все неподходящие значения и выбрать одно, единственно верное...

Отсюда следует, в частности, что, анализируя готовый текст (будь то реплика случайного прохожего на улице или целое литературное произведение), мы всегда должны задаваться вопросом: а что, собственно, хотел сказать говорящий? Ведь он мог иметь в виду одно, а произнести (или написать) совершенно иное. Вспомним, как комментировал Малыш из сказки А. Линдгрена о Малыше и Карлсоне свою нелюбовь к цветной капусте: «Вы же сами прекрасно понимаете, что, когда я говорю: «Лучше умереть, чем есть капусту», я хочу сказать: «Нет, спасибо»... Но взрослый человек говорит не то, что думает, не только тогда, когда хочет ввести собеседника в заблуждение (т.е. лжет) или же когда, соблюдая правила этикета, боится его обидеть, напугать и т.п. Человек может посредством текста выразить нечто «совершенно иное» по сравнению с тем, что буквально означает данный текст, и делает это потому, что так велит ему язык. Точнее сказать, правила языка позволяют преобразовать текст «до неузнаваемости» и при этом рассчитывать на то, что слушающий правильно все воспримет и поймет.

Вот простой пример, диалог в учреждении:

— А где Петров?

— Сейчас придет.

За внешней обыденностью и незамысловатостью этих фраз можно усмотреть целый комплекс неправильностей или странностей. В самом деле: спрашивающего интересует Петров, которого нет на месте. При этом вопрос задается в «пространственном» плане: «А где Петров?» Ответ же дается во временном плане: «Сейчас придет». По существу же подразумевается вообще причина («По чему Петрова нет на месте?»). Если бы попытаться «восстановить» данный диалог с максимальной полнотой, то он выглядел бы примерно так:

— Петров должен быть на месте. На месте его нет. (Я доволен.) В чем дело?

— Да, его нет. Он куда-то вышел. Но это не страшно (не сердитесь), он скоро будет здесь.

Другой пример. Разговаривают две женщины.

— У вас дети есть?

— Нет, я не замужем.

Конечно, вторая женщина могла бы ответить просто «Нет» (ее ведь никто не спрашивал о замужестве!). Но она хочет, с одной стороны, «оправдать» свою бездетность (видимо, возраст ее предполагал бы уже наличие детей), а с другой стороны, не упускает случая подчеркнуть свои моральные принципы («Я считаю, что детей можно иметь только в браке, а я не замужем, поэтому...» и т.д.). Можно сказать, что слушающий здесь «увидел» в вопросе больше, чем в него вложил говорящий.

Получается, что отдельные, сами собой подразумевающиеся фрагменты текста — слова и даже предложения — в речи иногда опускаются; другие же фрагменты могут принимать «не свое» значение или иную, измененную форму. Подобные сокращения и преобразования, «вынесение за скобки» части текста совершенно естественны для диалогической речи. Здесь действительно может встречаться всё: недомолвки и перифразы (т.е. не прямые, описательные наименования), игра словами и литературные ассоциации... И все это, разумеется, добавляет свою долю сложности в функционирова-

ние и без того сложного механизма языка. Но человек овладевает этим непростым механизмом, привыкает и к дополнительным сложностям диалогического общения, привыкает настолько, что вообще почти не замечает в своей жизни языка — того удивительного феномена, который и сделал его Человеком. Долг же филолога — постоянно об этом помнить и напоминать нефилологам, поэтому уместно привести здесь строки из стихотворения Давида Самойлова:

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Попробуйте определить, по каким причинам — внутриязыковым или внеязыковым — появились в современном русском языке следующие слова.

Плейер, слайд, автоответчик, подписант, СНГ, СПИД, тусовка.

2. В современной русской речи можно встретить формы *учителя* и *учители*, *директора* и *директоры*, *шофера* и *шофёры*... Как можно объяснить эту конкуренцию? Равнозначны ли данные формы? Которая из них, по-вашему, предпочтительней?

3. Вопрос не только по лингвистике, но и по истории: почему среди мировых языков, принятых в Организации Объединенных Наций, нет немецкого или японского?

4. Ниже приводится ряд названий одного и того же предмета на воровском жаргоне. Попробуйте установить, что это за предмет: какое наименование соответствует ему в русском литературном языке? На основании чего вы сделали свое заключение?

Боковня, бугай, воробей, киса, кожа, кожан, кожанка, кожевич, кожняк, кожуха, кувшин с водой, лапотник, лопа-

та, лопатина, лопатка, поросенок, порт, порт-пресс, портуха, тафель, тожан, тувель, чмень, шишка, шмель.

5. Термин *инспирация* состоит из морфем латинского происхождения. Привлекая для сравнения другие, знакомые вам слова (например: *ингаляция, инъекция, инкрустация; спирометр, спиритизм* и т.д.), попробуйте определить значения морфем *ин-* и *-спир-* и перевести данное слово на русский язык.
6. Сравните значения приведенных ниже слов и определите значения префиксов латинского происхождения *ре-, транс-, де-*; при анализе можно привлекать и другие известные вам слова с данными морфемами.
- а) Ревизия, регресс, реконструкция, репродукция, реанимация.
- б) Транскрипция, трансформация, транспорт, трансконтинентальный, трансплантация.
- в) Депортация, деблокировать, дешифровать, демонтаж, дегазация.
7. Попробуйте перевести на русский язык диалог, взятый из учебника языка эсперанто. Какие корни знакомы вам по русскому или другим языкам? Как можно охарактеризовать словоизменение существительного и глагола в этом искусственном языке?
- Ĉu vi deziras trinki kafon? Kafo estas bongusta kaj utila.
— Ne, dankon!
— Kial ne?
— Mi deziras trinki varmegan teon.
— Kun sukero?
— Ne, sen sukero. Kun citrono. Kaj vi?
— Mi preferas kafon.
— Nigran?
— Ne, kun lakto.
— Mi ne trinkas lakton.
8. Местоимения *все* и *никто* — антонимы. А можете ли вы представить языковую ситуацию, в которой они оказались бы синонимичными? Придумайте такое высказывание.
9. Найдите в следующем русском тексте все слова иноязычного происхождения. Какие признаки помогают вам определить их как заимствованные?

Мы с коллегой зашли в кафе. В меню было: на первое — борщ, суп харчо и бульон с гренками; на второе — антрекот с гарниром, пицца, омлет и овощное рагу; на десерт — желе и мусс. Из напитков — чай, кофе, кока-кола, спрайт.

10. Как объяснить, почему некоторые названия настольных игр в русском языке имеют только форму множественного числа (*шахматы, шашки*), а другие, наоборот, только единственного (*лото, домино*)?

11. Дайте объяснение следующим фактам, встречающимся в русской разговорной речи.

Махаю (вместо *машу*), *с дочерьми* (вместо *дочерями*), *ухами* (вместо *ушами*), *грузинов* (вместо *грузин*), *мечт* (родительный падеж множественного числа от *мечта*), *моги* (повелительное наклонение от глагола *мочь*).

Как вы считаете: «улучшают» или «ухудшают» эти новообразования общую систему?

12. В стихотворении А.С. Пушкина «Зимняя дорога» читаем:

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадаютя одне.

Что значит здесь *вёрсты*? Что значит *одне*? Мог ли Пушкин сказать про вёрсты — *одни*?

13. Ответьте: какие исторические изменения произошли в следующих русских словах, если известно, что они родственны другим русским словам (приводимым в скобках): *мещанин* (место), *кудесник* (чудо), *кольчуга* (кольцо), *ожерелье* (горло), *точка* (тыкать), *кладбище* (класть), *дуло* (дуть), *грыжа* (грызть)?

14. Русские слова *квинтет* и *пунш* родственны: они восходят к праиндоевропейскому **renkʰt* ‘пять, пятый’. Какими косвенными доказательствами это можно было бы подтвердить?

15. Допустим, вы предположили, что русские слова *пир*, *пицца* и *пиво* восходят к одному и тому же корню-источнику. Каким образом следовало бы искать доказательств этой догадки?

16. Даны слова итальянского языка: *la fabbrica, curioso, puro, tecnico, la tragedia, unire, lo gnomo, la famiglia, finire, il cioccolato*.

Попробуйте, не обращаясь к словарю, определить, что они значат. Как объяснить сходство некоторых итальянских слов с русскими словами?

17. Попробуйте восстановить обстановку, в которой естественно звучали бы следующие мини-диалоги:

«У вас спички есть?» — «Не курю».

«Вы уже ложитесь?» — «Читайте, мне не мешает».

«Вокзал в эту сторону, не знаете?» — «Я и сам нездешний».

«Вы будете кофе или чай?» — «А вы?»

Найдите в данных диалогах примеры нарушения логических оснований общения и попытайтесь объяснить причины этих нарушений.

18. Ниже приводится ряд русских высказываний, казалось бы, совершенно однотипных по своей синтаксической структуре:

У тебя часы есть?

У тебя карандаш есть?

У тебя брат есть?

У тебя совесть есть?

Однако коммуникативные предпосылки и цели данных фраз заметно различаются. Попробуйте восстановить более широкий контекст, в который входят данные высказывания, и их предполагаемый результат (т.е. ответную реакцию слушающего).

19. Основываясь на правилах сочетаемости русских букв, расшифруйте приведенный ниже текст. Правила дешифровки просты: каждой латинской букве должна соответствовать одна и та же буква русского алфавита. Пунктуация оставлена без изменений.

Arurytk änäs t onos, adat t ikit! Ek unxbacik zbätic aöd akikf, zriruso ärun tait j vvröb, äruipköt, ikiunat, aekjetzt t i.a.

20. Еще одна задача с зашифрованным текстом (см. предыдущую задачу). Правила здесь те же, что и в предыдущей, только буквенные соответствия другие. Дешифруйте текст.

To klymbu jorub kechenbouly k dafts. Te roj kwio peztby koziatb, uoj lahstoo dohbtao rohekomb oo cemezaus.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ О КРУПНЕЙШИХ УЧЕНЫХ-ФИЛОЛОГАХ, УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ

Апресян Юрий Дереникович (род. 1930) — российский языковед, исследующий проблемы лексической семантики. Вместе с А.К. Жолковским и И.А. Мельчуком стоял у истоков разработки лингвистической модели «Смысл—Текст». Автор ряда словарей русского языка — толковых, двуязычных, синонимических. Из других публикаций: «Экспериментальное исследование семантики русского глагола» (1967), «Лексическая семантика: Синонимические средства языка» (1974).

Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975) — литературовед и мыслитель, автор ряда оригинальных концепций: диалогической структуры текста, полифонии романа, карнавальной, или народно-смеховой, культуры и др. Среди наиболее известных работ М.М. Бахтина — книги «Проблемы творчества Достоевского» (1-е изд. — 1929) и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1-е изд. — 1965).

Блумфилд Леонард (1887—1949) — крупнейший американский языковед, основатель дескриптивной школы в лингвистике. Занимался морфологической структурой германских языков, языками американских индейцев, теорией языкознания. Капитальный труд Л. Блумфилда «Язык» — переведен на русский язык (М., 1968).

Бодуэн де Куртене Ян Игнацы Нечислав (в России — Иван Александрович, 1845—1929) — один из основателей современного языкознания. Родился и умер в Польше, но большую часть жизни провел в России; читал лекции в Казанском, Петербур-

гском, Дерптском (ныне Тарту, Эстония) университетах. Сочетал дар мыслителя, педагога и публициста. Один из создателей теории фонем, автор работ по сравнительно-историческому языкознанию и индоевропеистике, исследователь славянских диалектов и истории славянских языков. Был сторонником социологического и психологического подхода к языку. Избранные его работы представлены в двухтомнике «Избранные труды по общему языкознанию» (М., 1963).

Вандриес Жозеф (1875—1960) — специалист по кельтскому, классическому и общему языкознанию. Представитель французской социологической школы в лингвистике. Важнейший его теоретический труд «Язык» вышел первым изданием в 1921 г. (русский перевод — 1937).

Виноградов Виктор Владимирович (1895—1969) — крупнейший языковед, автор фундаментальных работ по истории русского литературного языка, лексикологии и фразеологии, грамматике русского языка, по языку художественной литературы и т.д. Велики также организаторские заслуги В.В. Виноградова: под его редакцией вышла, в частности, академическая «Грамматика русского языка» в двух томах (1952—1954). Самый известный труд В.В. Виноградова — книга «Русский язык (Грамматическое учение о слове)» (1-е изд. — 1947).

Выготский Лев Семенович (1896—1934) — выдающийся психолог, создатель культурно-исторической теории в психологии. Автор исследований по высшим психическим функциям и психологии искусства. Занимался также экспериментальной психологией и дефектологией, методикой обучения и литературной критикой. Среди важнейших его работ — монография «Мышление и речь» (1-е изд. — 1934), предвещающая многие положения современной психолингвистики.

Гумбольдт Вильгельм фон (1767—1835) — выдающийся немецкий ученый, политик, общественный деятель. Его работы заложили базу современного понимания языка. Ученый, в частности, считал язык не мертвым продуктом, а деятельностью, он утверждал, что язык носит системный характер. Значительное место в концепции В. Гумбольдта занимает соотношение языка и духа народа: в языке, по Гумбольдту, заложено определенное мировоззрение, и как само возникновение человека, так

и его духовное развитие тесно связаны с языком. Важнейшие лингвистические работы ученого переведены на русский язык: см., в частности: *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. — М., 1984.

Карцевский Сергей Осипович (1884—1955) — русский языковед, работавший в Москве, а затем в Страсбурге, Праге и Женеве. Продолжал и развивал идеи Ф. де Соссюра. Интересовался теорией знака, применением структурных методов к описанию русской грамматики. Главная работа — «Система русского глагола» впервые издана на французском языке в Праге в 1927 г.

Кнорозов Юрий Валентинович (1922—1999) — этнограф и языковед, автор исследований по этнографии Центральной Америки, расшифровке письменности индейцев майя, семиотике и сравнительно-историческому языкознанию.

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — литературовед, историк культуры, общественный деятель. Основные его труды лежат в области истории древнерусской литературы: «Поэтика древнерусской литературы» (1967), «Пути изучения древнерусской литературы и письменности» (1970) и др. Одна из ранних работ Д.С. Лихачева была посвящена воровскому жаргону.

Лотман Юрий Михайлович (1922—1992) — литературовед, структуралист, основатель Тартуской школы семиотики. Среди важнейших его работ — книги «Структура художественного текста» (1970), «Анализ поэтического текста» (1972), «Статьи по типологии культуры» (1970, 1973), «Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий» (1980) и др.

Мартине Андре (1908—1999) — французский языковед, представитель функциональной школы. Исследовал проблемы фонологии, морфологии, соотношения синхронии и диахронии в языке. Русский перевод его «Основ лингвистики» опубликован в серии «Новое в лингвистике», вып. 3. (М., 1963).

Ожегов Сергей Иванович (1900—1964) — языковед, основные работы которого относятся к сфере лексикологии и лексикографии. Самый известный труд С.И. Ожегова — однотомный толковый «Словарь русского языка», вышедший первым изданием в 1949 г. и с тех пор многократно переиздававшийся.

Панов Михаил Викторович (1920—2001) — языковед, продолжатель идей Московской фонологической школы. Основные публикации — в области русской фонетики, словоизменения и словообразования русского языка: «Русская фонетика» (М., 1967) и др. Стиль работ М.В. Панова чрезвычайно ярок, они написаны доступно и увлекательно. Школьникам адресована его научно-популярная книга о русской орфографии под названием «И все-таки она хорошая!» (М., 1964).

Пешковский Александр Матвеевич (1878—1933) — языковед, занимавшийся проблемами грамматики (особенно синтаксиса и интонации) и методики преподавания языка. Обладая талантом доступно излагать сложные грамматические идеи, А.М. Пешковский много сделал для сближения научной и школьной грамматики. Основной его труд — «Русский синтаксис в научном освещении» многократно переиздавался (1-е изд. — 1914, 7-е изд. — 1956).

Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) — крупнейшая фигура в украинской, русской и мировой филологической науке XIX в., представитель психологического направления в лингвистике. Главное в его работах — изучение языковых фактов в исторической перспективе. Научные интересы А.А. Потебни были очень широки: это проблемы семасиологии и этимологии, философия языка и теория литературы, фольклор и этнография славянских народов. Главные лингвистические работы ученого — книга «Мысль и язык» (1-е изд. — 1862) и четырехтомный труд «Из записок по русской грамматике» (1-е изд. — 1874).

Пропп Владимир Яковлевич (1895—1970) — русский филолог, профессор Ленинградского университета, занимался теорией и историей фольклора. Самая известная его работа — «Морфология сказки» (1928) переведена на многие языки мира и считается образцом применения семиотического подхода к литературному произведению.

Соссюр Фердинанд де (1857—1913) — знаменитый швейцарский языковед, основатель структурной лингвистики. Работал в Париже и в Женеве. При жизни опубликовал немного работ, однако написанный еще в студенческие годы «Мемуар о перво-

начальной системе гласных индоевропейских языков» принес ему европейскую известность. В 1907—1911 гг. читает в Женевском университете курс общего языкознания, который после смерти ученого был восстановлен его учениками (по конспектам и стенограммам) и опубликован в 1916 г. (первый русский перевод: «Курс общей лингвистики» — 1933). Этой книге суждено было оказать огромное влияние на дальнейшее развитие науки о языке.

Сепир Эдвард (1884—1939) — американский лингвист, основатель антропологического направления в лингвистике, или этнолингвистику. В центре его научных интересов была связь языковых единиц с мыслительными структурами и культурными традициями. Вместе с Б.Л. Уорфом сформулировал теорию лингвистической относительности. Важнейший труд Сепира — «Язык (Введение в изучение речи)» написан в 1926 г.

Трубецкой Николай Сергеевич (1890—1938) — русский лингвист, работал в Москве, Ростове, затем — в Софии, Вене. Один из основателей Пражского лингвистического кружка. Книга Н.С. Трубецкого «Основы фонологии» (1939, на нем. языке; русский перевод — 1960) заложила фундамент новой лингвистической дисциплины. Ученый занимался также грамматикой церковнославянского языка, морфологией русского языка, древним полабским языком.

Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943) — писатель, теоретик и историк литературы. Вместе с В.Б. Шкловским и Б.М. Эйхенбаумом принадлежал к так называемой формальной школе в литературоведении и к группе ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка). Важнейшая теоретическая работа — «Проблема стихотворного языка» (1-е изд. — 1924).

Уорф Бенжамен Ли (1897—1941) — американский лингвист, развивавший идеи этнолингвистики. Занимался языками американских индейцев, проблемами соотношения языка и культуры, языка и мышления. Вместе со своим учителем Эдвардом Сепиром сформулировал теорию лингвистической относительности (или «гипотезу Сепира—Уорфа»), согласно которой человеческое поведение в значительной степени определяется языком. Некоторые статьи Б.Л. Уорфа в переводе на русский язык см. в сб. «Новое в лингвистике», вып. 1 (М., 1960).

Хомский (Чомски, Chomsky) Ноам (род.1928) — американский лингвист и общественный деятель. Первоначально занимался изучением иврита и германских языков. Начиная с 50-х гг. XX в. разрабатывал новую лингвистическую теорию — порождающей (генеративной) грамматики, которая к настоящему времени получила признание и широкое распространение в мире. Из публикаций на русском языке: «Аспекты теории синтаксиса» (1972), «Язык и мышление» (1972).

Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — писатель, литературовед, переводчик. Автор всем известных произведений для детей («Мойдодыр», «Муха-Цокотуха» и др.) и серьезных литературоведческих исследований («Мастерство Некрасова», 1952). Русскому языку посвящена его книга «Живой как жизнь», развитию речи ребенка — многократно переиздававшаяся «От двух до пяти».

Шкловский Виктор Борисович (1893—1984) — литературовед и писатель, один из создателей «Общества изучения поэтического языка» (ОПОЯЗа). Разрабатывал принципы формальной школы в литературоведении, рассматривая литературное произведение как конструкцию, складывающуюся из суммы «приемов»: работы «О теории прозы» (1-е изд. — 1925), «Метод писательского мастерства» (1928) и др.

Щерба Лев Владимирович (1880—1944) — крупнейший русский лингвист XX в. Занимался проблемами фонетики, грамматики, лексикологии. Внес значительный вклад в разработку теории фонем (в книге «Русские гласные в качественном и количественном отношении», 1912). Был одним из пионеров применения экспериментальных методов в лингвистике. Оставил замечательные образцы лексикографической (словарной) работы: фрагмент «Словаря русского языка», редактирование «Русско-французского словаря».

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959) — литературовед. Принадлежал, вместе с Ю.Н. Тыняновым и В.Б. Шкловским, к группе ОПОЯЗ и формальной школе (одна из знаменитых работ этого периода — статья «Как сделана «Шинель» Гоголя»). В трудах, посвященных творчеству Лермонтова, Некрасова, Ахматовой, изучал связи между ритмом и синтаксисом в рус-

ской поэзии. Позже Б.М. Эйхенбаум — один из наиболее глубоких исследователей творчества Льва Толстого.

Якобсон Роман Осипович (1896—1982) — русский и американский языковед (с 1921 г. жил за границей), один из основателей Московского и Пражского лингвистических кружков. Занимался чрезвычайно широким кругом проблем, в том числе вопросами фонологии и морфологии, нарушениями речи и развитием детского языка, соотношением синхронии и диахронии в языке, поэтикой и теорией литературы и т.д. На русском языке см., в частности: *Якобсон Р. Избранные работы.* — М., 1985.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная литература

- Маслов Ю. С.* Введение в языкознание. 2-е изд. М.: Высш. школа, 1987.
- Реформатский А. А.* Введение в языковедение. 5-е изд. М.: Аспект-Пресс, 1999.

Дополнительная учебная литература

- Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. — М.: Советская Энциклопедия, 1969.
- Введение в языкознание: Хрестоматия / Сост. Б.Ю. Норман и Н.А. Павленко. 2-е изд. — Минск: Вышэйшая школа, 1984.
- 200 задач по языковедению и математике / Сост. Б.К. Городецкий, В.В. Раскин. — М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Журинский А.Н.* Лингвистика в задачах. Условия, решения, комментарии. — М.: Индрик, 1995.
- Звегинцев В.А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. 3-е изд. — М.: Просвещение, 1964. — Ч. 1; 1965. — Ч. 2.
- Лоя Я.В.* История лингвистических учений (Материалы к курсу лекций). — М.: Высш. школа, 1968.
- Норман Б.Ю.* Сборник задач по введению в языкознание. — Минск: Вышэйшая школа, 1989.
- Рождественский Ю.В.* Лекции по общему языкознанию. — М.: Высш. школа, 1990.
- Степанов Ю.С.* Основы общего языкознания. — М.: Просвещение, 1975.
- Хрестоматия по курсу «Введение в языкознание» // Сост.: Блинов А.В., Богатырева И.И., Мурат В.П., Рапова Г.И. — М.: Изд-во МГУ, 1998.

Научно-популярная литература

- Гельб И.Е.* Опыт изучения письма (Основы грамматиологии). — М.: Радуга, 1982.
- Горелов И.Н.* Разговор с компьютером: психолингвистический аспект проблемы. — М.: Наука, 1987.
- Иванов Вяч.Вс.* Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. — М.: Сов. радио, 1978.
- Кондратов А.* Звуки и знаки. 2-е изд. — М.: Знание, 1978.
- Леонтьев А.А.* Возникновение и первоначальное развитие языка. — М.: Изд-во АН СССР, 1963.
- Откупщиков Ю.В.* К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. 2-е изд. — М.: Просвещение, 1973.
- Панов Е.Н.* Знаки, символы, языки. — М.: Знание, 1983.
- Степанов Ю.В.* Семиотика. — М.: Наука, 1971.
- Успенский Л.В.* Слово о словах: Ты и твое имя. — Л.: Лениздат, 1962 (и другие издания).
- Фолсом Ф.* Книга о языке. — М.: Прогресс, 1974.
- Чуковский К.И.* Живой как жизнь: О русском языке. — М.: Дет. лит., 1982 (и другие издания).
- Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М.В. Панов. — М.: Педагогика, 1984.
- Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык. 2-е изд. — М.: Аванта+, 1999. — Т. 10.
- Якушин Б.В.* Гипотезы о происхождении языка. — М.: Наука, 1984.

Научная литература

- Блумфилд Л.* Язык. — М.: Прогресс, 1968.
- Бодуэн де Куртене И.А.* Избранные труды по общему языкознанию. — М.: Изд-во АН СССР. 1963. Т. 1—2.
- Бюлер К.* Теория языка: Репрезентативная функция языка. — М.: Прогресс, 1993.
- Вандриес Ж.* Язык: Лингвистическое введение в историю. — М.: УРСС, 2001.
- Виноградов В.В.* Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М.: Высш. школа, 1972 (и другие издания).
- Выготский Л.С.* Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. — М.: Педагогика, 1982. Т. 2.

- Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1984.
- Есперсен О.* Философия грамматики. — М.: Иностр. лит., 1958.
- Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Новое в лингвистике. М.: Прогресс 1960—1990. Вып. 1—25 (с 8-го выпуска серия называется «Новое в зарубежной лингвистике»).
- Пауль Г.* Принципы истории языка. — М.: Иностр. лит., 1960.
- Пешковский А.М.* Избранные труды. — М.: Учпедгиз, 1959.
- Пешковский А.М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. — М.: Учпедгиз, 1956.
- Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М.: Прогресс, 1993.
- Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1977.
- Трубецкой Н.С.* Основы фонологии. 2-е изд. — М.: Аспект-Пресс, 2000.
- Щерба Л.В.* Языковая система и речевая деятельность. — Л.: Наука, 1974.
- Якобсон Р.* Избранные работы. — М.: Прогресс, 1985.
- Якубинский Л.П.* Избранные работы: Язык и его функционирование. — М.: Наука, 1986.

Учебное издание

Борис Юстинович Норман

**ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
ВВОДНЫЙ КУРС**

Учебное пособие

Подписано в печать 17.03.2003. Формат 60 × 88/16. Печать офсетная
Усл. печ. л. 18,1. Уч.-изд. л. 17,5.
Тираж 3000 экз. Заказ . Изд. № 660

ИД № 04826 от 24.05.2001 г.
ООО «Флинта», 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, комн. 332
Тел./факс: 334-82-65; тел. 336-03-11. E-mail: flinta@mail.ru, flinta@flinta.ru,
Web Site: www.flinta.ru

ЛР № 020297 от 23.06.1997 г.
Издательство «Наука», 117997, ГСП-7, Москва В-485, ул. Профсоюзная, д. 90